Библиотека зарубежной классики

Анри Барбюс

Огонь



АНРИ БАРБЮС

•

ОГОНЬ
(Дневник взвода)

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1984

84. 4 Фр
Б 24

Перевод с французского В. Парнаха

Предисловие М. Горького

Иллюстрации художника А. Яцкевича

Барбюс А.

Б 24 Огонь (Дневник взвода): Пер. с франц. В. Парнаха /Предисл. М. Горького; Ил. А. Яцкевича.— М.: Правда, 1984.— 320 с., ил.

Роман «Огонь» французского писателя и общественного деятеля Анри Барбюса (1873—1935) вскрывает истинные причины и бичует виновников развязывания первой мировой войны. Автор показывает, как просыпается сознание солдат— будущих участников революционного движения.

Б $\frac{4703000000}{080\ (02)— 84}$ Без объявл.— 84 84. 4 Фр

Текст печатается по изданию: Барбюс А. Огонь. Ясность. Правдивые повести.— М.: Художественная литература, 1967.

ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

В этой книге, простой и беспощадно правдивой, рассказано о том, как люди разных наций, но одинаково разумные, истребляют друг друга, разрушают вековые плоды своего каторжного и великолепного труда, превращая в кучи мусора храмы, дворцы, дома, уничтожая дотла города, деревни, виноградники, как они испортили сотни тысяч десятин земли, прекрасно возделанной их предками и ныне надолго засоренной осколками железа и отравленной гнилым мясом безвинно убитых людей.

Занимаясь этой безумной работой самоистребления и уничтожения культуры, они, люди, способные разумно рассуждать обо всем, что раздражает их кожу и нервы, волнует их сердца и умы, молятся богу, молятся искренно и, как описывает это один из героев книги, молятся «идиотски одинаково», после чего снова начинают дикую работу самоубийства, так же «идиотски одинаково». На стр. 251 читатель найдет

[1] Печатается по тексту: Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1953. В тексте М. Горького указание на страницы дано по книге: Барбюс А. В огне. М., 1935, перевод И. Е. Спивака. Текст А. Барбюса цитируется М. Горьким в том же переводе.— *Ред.*

эту картину богослужения немцев и французов, одинаково искренно верующих, что в кровавом и подлом деле войны «с нами бог».

И они же затем говорят: «Богу — наплевать на нас!» И они же, герои, великомученики, братоубийцы, спрашивают друг друга:

«— Но, все-таки, ак же он смеет, этот бог, позволять всем одинаково думать, что он—с ними, а не с другими?»

Мысля трогательно, просто, как дети, — в общем же «идиотски одинаково»,— эти люди, проливая кровь друг друга, говорят:

«— Если бы существовал бог, добрый и милосердный,— холода не было бы!»

Но, рассуждая так ясно, эти великие страстотерпцы снова идут убивать друг друга.

Зачем?

Почему?

Они и это знают, — они сами говорят о себе:

«— Ах, все мы неплохие люди, но—такие жалкие и несчастные. И при этом мы глупы, слишком глупы!»

И, сознавая это, они продолжают позорное, преступное дело разрушения.

Капрал Бертран знает больше других, он говорит языком мудреца.

«— Будущее! — воскликнул он вдруг тоном пророка.— Какими глазами станут впоследствии смотреть на наши подвиги, о которых даже мы сами, совершающие их, не знаем, следует ли сравнивать их с делами героев Плутарха и Корнеля, или же с подвигами апашей?.. И, однако, смотри! Есть же одно лицо, один образ, поднявшийся над войной, который вечно будет сверкать красотою и мужеством!

Опершись на палку, склонившись к нему, я слушал, впивая в себя эти слова, раздавшиеся в безмолвии ночи, из этих, почти всегда безмолвных уст. Ясным голосом он выкрикнул:

— Либкнехт!

И поднялся, не разжимая скрещенных рук. Его прекрасное лицо, хранившее серьезность выражения статуи, склонилось на грудь. Но вскоре он снова поднял голову и повторил:

— Будущее! Будущее! Дело будущего — загладить это настоящее, стереть его из памяти людей, как нечто отвратительное и позорное. И, однако, это настоящее

необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армиям, позор ремеслу солдата, превращающему людей поочередно то в безмозглые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но это — слишком правда; правда для вечности, но еще не для нас. Это будет правдой, когда ее начертают среди других истин, постичь которые мы сумеем лишь позже, когда очистится дух наш. Мы, затерянные здесь изгнанники, еще далеки от этой эпохи.

Он как-то особенно звучно рассмеялся и задумчиво продолжал:

— Как-то раз я сказал им, что верю в пророчества, только для того, чтобы приободрить их и заставить идти вперед».

Но, говоря так, спокойный, мужественный человек, уважаемый всеми людьми своего взвода, ведет их на бессмысленную бойню и умирает на грязном поле, среди гниющих трупов.

Во всем этом ярко и насмешливо горит убийственное противоречие, унижающее человека до степени безвольного инструмента, до какой-то отвратительной машины, созданной злой и темной силой на служение ее дьявольским целям.

И близки, и милы душе эти несчастные герои, но, поистине, они кажутся прокаженными, носящими в себе самих навеки непримиримое противоречие разума и воли. Кажется, что разум их уже настолько окреп и силен, что в состоянии остановить эту отвратительную бойню, прекратить мировое преступление, но... воли нет у них, и, понимая всю гадость убийства, отрицая его в душе, они все-таки идут убивать, разрушать и умирать в крови и грязи.

«— Битвы производятся нашими руками, — говорят они. — Мы служим материалом для войны. Она состоит вся только из плоти и душ простых солдат. Это мы нагромождаем трупы на равнинах и наполняем реки кровью, все мы, хотя каждый из нас невидим и молчалив, ибо слишком велико наше число. Опустевшие города, разоренные села и деревни — это пустыни, лишившиеся нас или оставшиеся после нас. Да, все это мы — и только мы!

— Война — это народы. Без них не было бы ничего, кроме разве перебранки издалека. Но войну решают не они, а те, которые правят.

— Народы борются теперь, чтобы избавиться от этих правителей.

— В таком случае выходит, что мы работаем также и для пруссаков?

— Будем надеяться, что и для них,— согласился один из страдальцев.

— Народы — это ничто, а они должны быть всем,— проговорил в этот момент человек, вопрошающе глядевший на меня; он повторил неведомую для него историческую фразу, которой уже больше века, но придал ей, наконец, ее великий, всемирный смысл.

И этот несчастный, стоя на четвереньках в грязи, поднял свое лицо прокаженного и жадно заглянул вперед, в бесконечность».

Что он увидит там?

Мы верим, что он увидит своих потомков свободными, разумными и сильными волей.

Эту страшную и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично переживший весь ужас войны, все ее безумие. Это не парадная книга гениального Льва Толстого, гений которого созерцал войну в далеком прошлом; это не жалобное сочинение Берты Сутнер «Долой войну»,— сочинение, написанное с добрым намерением, но неспособное никого ни в чем ни убедить, ни разубедить.

Это — книга простая, исполненная пророческого гнева, это — первая книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с необоримою силою правды. В ней нет изображений, романтизирующих войну, раскрашивающих ее грязно-кровавый ужас во все цвета радуги.

Барбюс написал будни войны, он изобразил войну как работу, тяжелую и грязную работу взаимного истребления ни в чем не повинных людей, не повинных ни в чем, кроме глупости. В его книге нет поэтически и героически раскрашенных картинок сражений, нет описаний мужества отдельных солдат,— книга Барбюса насыщена суровой поэзией правды, она изображает мужество народа, мужество сотен тысяч миллионов людей, обреченных на смерть и уничтожение великим провокатором народов — капиталом. Этот Дьявол, совершенно реальный, неутомимо действующий среди нас, это он главный герой книги Барбюса. Ослепив

миллионы простаков ложным блеском идей и учений, убивающих волю, отравив их ядом жадности, зависти, своекорыстия, он согнал миллионы их на плодородные поля Франции, и там они в течение четырех лет разрушают в прах все, созданное трудом многих столетий, еще раз показывая самим себе, что злейший враг человека—его безволие и неразумие.

Барбюс глубже, чем кто-либо из писателей до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения.

Каждая страница его книги — удар железного молота правды по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в общем зовутся войной. Мрачная книга его страшна своей беспощадной правдой, но всюду во мраке изображаемого им сверкают огоньки нового сознания,— и эти огоньки, мы верим, скоро разгорятся во всемирное пламя очищения земли от грязи, крови, лжи и лицемерия, созданных Дьяволом Капитала. Люди, о которых говорит Барбюс, уже начинают смело отрицать власть бога над человеком, и это верный признак, что скоро они почувствуют со стыдом и гневом, как преступна и отвратительна власть человека над подобным себе.

Мы живем в трагические дни, нам невыносимо тяжело, но мы живем накануне возрождения всех добрых сил человека к свободному творчеству и труду. Это — правда, и она должна утешить нас, увеличить наши силы, придать нам бодрость.

Предшествующее было написано за 15 лет до наших дней, в трагический год голода, в год конца победоносной войны голодных пролетариев, рабочих и крестьян, против богато вооруженных капиталистами Европы армий русских фабрикантов и помещиков и против посланных европейскими лавочниками — в помощь своим братьям по жиру и духу — войск, среди которых был даже отряд кавалерии на ослах.

За полтора десятка лет пролетариат царской России и ее колоний непрерывным, чудотворным

трудом превратил обширную безграмотную страну полунищих крестьян и полудикой жадной мелкой буржуазии в мощный социалистический братский союз народов.

Ныне капиталисты Европы снова затевают войну, основная цель которой—нападение на Союз Социалистических Советов. Для того, чтоб начать эту войну, капиталистам необходимо единство. Наиболее наглая и очумевшая группа их предполагает достичь единства по примеру Наполеона: побить своих соседей и, схватив побежденных за шиворот, двинуть их против государства социалистического. План простой и ясный, этот план и заставил меня вспомнить об ослах.

Позорнейшая роль ослов в бойне 14—18 гг. характеризуется, как известно, поведением вождей немецкой социал-демократии, русских меньшевиков, эс-эров и многих прочих вождей той мелкой буржуазии, из которой капиталисты пятнадцать лет фабрикуют фашистов.

Мне кажется, что социалистически-революционная ценность работы Барбюса и других—сродных ему по духу—литераторов особенно хорошо и ясно видна именно с этой выше намеченной точки зрения. Его книга—одна из первых, которые за пятнадцать лет отрезвили многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское движение, все более широко растущее в наши дни, должно признать Барбюса одним из первейших своих основоположников.

М. Горький

11 сентября 1935 г.

ОГОНЬ
(Дневник взвода)

Памяти товарищей,
павших рядом со мной под Круи
и на высоте 119
А. Б.

I

ВИДЕНИЕ

Лицом к вершинам Дан-дю-Миди, Эгюий-Верт и Монблана, на галерее санатория, в ряд лежат люди; из-под одеял виднеются исхудалые бескровные лица; глаза лихорадочно блестят.

Эта застекленная терраса дворца-госпиталя одиноко возвышается над миром.

Красные, зеленые, коричневые, белые одеяла из тонкой шерсти не шевелятся. На шезлонгах царит молчание. Кто-то кашлянул. Изредка слышится только шелест мерно переворачиваемых страниц книги или вопрос и ответ осторожно перешептывающихся соседей, или иногда на балюстраде хлопает крыльями дерзкая ворона, которая отбилась от стай, рассыпающихся бусами черного жемчуга в прозрачном небе.

Молчание здесь — закон. К тому же, эти богатые, независимые люди, съехавшиеся сюда со всех концов света, пораженные одним и тем же недугом, отвыкли говорить. Они ушли в себя и думают только о своей жизни и смерти.

На галерее появляется служанка; она вся в белом и двигается бесшумно. Она раздает газеты.

— Кончено! — говорит тот, кто первый развернул газету.— Война объявлена!

Хотя все давно готовы к этому известию, оно потрясает: ведь все чувствуют его безмерное значение.

Эти умные, образованные люди, умудренные страданием и раздумьем, отрешенные от жизни, далекие от других людей, словно уже принадлежа будущему, глядят вдаль, в непонятную страну, живых и сумасшедших.

— Это преступление со стороны Австрии! — говорит австриец.

— Или Англии,— говорит англичанин.

— Надеюсь, что Германия будет побеждена,— говорит немец.

* * *

Они опять ложатся под одеяла, лицом к вершинам и небу. Но, несмотря на чистоту воздуха, тишина полна принесенной вестью.

Война!

Некоторые нарушают молчание и вполголоса повторяют это слово, размышляя о том, что наступает величайшее событие нашего времени, а может быть, и всех времен.

Эта весть вызывает в сияющей природе какой-то смутный сумрачный мираж.

Среди спокойных просторов долины, оживляемой розовеющими деревнями и бархатистыми пастбищами, среди великолепных гор, под черными зубцами елей и белыми зубцами вечных снегов возникает движение толп.

Везде кишат полчища. По полям, волна за волной, они несутся в атаку и застывают на месте; дома выпотрошены, как люди, и города — как дома; деревни представляют раздробленной белизной, словно упав с неба на землю; страшные груды мертвецов и раненых меняют вид равнин.

Каждый народ, пожираемый со всех сторон резней, беспрестанно вырывает из своих недр все новых солдат, полных сил и крови; в реку смерти вливаются живые притоки.

На севере, на юге, на западе, повсюду идут бои. Куда ни повернешься — везде война.

Кто-то из этих бледных провидцев приподнимается на локте, называет и подсчитывает сегодняшних и грядущих участников войны: тридцать миллионов солдат. Другой, ошеломленный зрелищем войны, бормочет:

— Бьются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия.

— Не надо бы...— глухим голосом говорит первый в ряду.

Другой возражает:

— Начинается опять французская революция.

— Берегитесь, монархи! — шепотом возвещает третий.

— Может быть, это последняя война,— прибавляет четвертый.

Молчание. Несколько человек, еще бледные от трагедии бессонной ночи, покачивают головой.

— Прекратить войны! Да разве это мыслимо? Прекратить войны! Язва мира неисцелима!

Кто-то кашляет. И под солнцем, среди пышных лугов, где лоснятся гладкие коровы, опять воцаряется великая тишина; черные леса, зеленые поля и голубые дали заслоняют видение и гасят отсвет огня, от которого загорается и рушится старый мир. В бесконечной тишине замирает гул ненависти и страдания черной вселенной. Собеседники, один за другим, опять уходят в себя, озабоченные тайной своих легких и спасением своего тела.

Но когда в долину нисходит вечер, на вершинах Монблана разражается гроза.

В такие ненастные вечера выходить запрещается: даже до большой веранды — в гавань, куда укрылись больные,— долетают последние порывы ветра.

Пожираемые внутренней язвой, смертельно раненные люди созерцают переворот стихий; от ударов грома над горами приподнимаются тучи, расстилавшиеся, как море, и с каждым ударом в сумраке словно вздымается огненный и дымный столп; бледные, изможденные зрители следят за орлами, кружащими в небе и взирающими на землю сквозь клубы туманов.

— Прекратить войны! Прекратить грозу!

Но, достигнув грани живого мира, освободившись от страстей, от приобретенных понятий, от власти традиций, прозрев, умирающие сознают простоту бытия и видят великие возможности.

Последний в ряду восклицает:

— Внизу что-то ползет!

— Да... что-то живое.

— Как будто растения...

— Как будто люди.

И вот в зловещих отсветах грозы, под черными взлохмаченными тучами, нависшими над землей, как злые духи, открывается какая-то широкая лиловая равнина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки; они цепляются за землю, они обезображены, как чудовищные утопленники. Чудится, что это солдаты. Изрезанная длинными параллельными каналами, истекающая потоками, изрытая ямами, полными воды, равнина непомерна, и погибающим нет числа... Но тридцать миллионов рабов, преступно брошенных друг на друга в войну, в эту грязь, поднимают головы, и на их человеческих лицах, наконец, появляется выражение воли. В руках этих рабов будущее, и ясно, что старый мир обновится только благодаря союзу, который когда-нибудь заключат те, чье число и страдания бесконечны.

II

В ЗЕМЛЕ

Большое бледное небо переполнено раскатами грома: при каждом взрыве, от ударов рыжей молнии, одновременно взвивается огненный столп в уходящую ночь и дымный столп в бледный рассвет.

Там, высоко-высоко, далеко-далеко, кружит стая страшных, мощно, прерывисто дышащих птиц: они глядят на землю; их слышно, но не видно.

Земля! При свете медлительной, безысходной зари открывается огромная, залитая водой пустыня. В лужах и воронках по воде пробегает рябь от колючего предутреннего ветерка; на этих полях бесплодия, изрезанных рытвинами, в скудном мерцании поблескивают, как стальные рельсы, колеи дорог, проложенных ногами солдат и ночными обозами; из грязи торчат сломанные колья, вывихнутые рогатки, перекрещенные наподобие буквы X; спутанные, скрученные мотки, целые заросли проволоки. Везде илистые отмели и лужи; словно непомерная, серая, кое-где затонувшая холстина колышется на море. Дождь перестал, но все мокро, влажно, вымыто, вымокло, затоплено, и даже белесый свет как будто течет.



Обозначаются длинные извилистые рвы, где сгущается осадок ночи. Это — окопы. Дно устлано слоем грязи, от которой при каждом движении приходится с хлюпаньем отдирать ноги; вокруг каждого убежища скверно пахнет мочой. Если наклониться к боковым норам, они тоже смердят, как зловонные рты.

Из этих горизонтальных колодцев вылезают тени; движутся чудовищными бесформенными громадами, топчутся и рычат, словно медведи. Это — мы.

Мы закутаны, как жители арктических стран. Шерсть, брезент, одеяла обволакивают нас, странно округляют и торчат во все стороны. Кое-кто потягивается, зевает во весь рот. Различаешь лица, красные или лиловатые, испещренные грязью, заросшие нестриженными бородами, запачканные небритой щетиной; словно светом ночников, они чуть озарены слипшимися, заспанными глазами.

Трах! Тах! Тах! Ббац! Ружейные выстрелы, канонада. Над нами везде треск или грохот — продолжительные раскаты или отдельные удары. Черная огненная гроза не стихает никогда, никогда. Уже больше пятнадцати месяцев, уже пятьсот дней в этом уголке мира перестрелка и бомбардировка идут непрестанно: с утра до вечера и с вечера до утра. Мы погребены в недрах поля вечной битвы; но словно тиканье домашних часов в былые времена — в почти легендарном прошлом — этот грохот слышишь, только когда прислушаешься.

Из-под земли показывается пухлая детская мордочка с воспаленными веками, с такими красными скулами, точно на них наклеили ромбы из красной бумаги; открывается один глаз, оба глаза: это — Паради. Его щеки испещрены полосами: это отпечатались складки парусины, под которой он спал, укрывшись с головой.

Он обводит нас взглядом своих маленьких глазок, замечает меня, кивает головой и говорит:

— Ну вот, прошла еще одна ночь!

— Да, а сколько нам еще предстоит таких ночей?

Он воздевает к небу пухлые руки. С трудом он извлек себя из землянки, и вот он уже рядом со мной. Он споткнулся о какую-то кучу; она оказалась человеком, который сидит в полутьме на земле, остервенело чешется и тяжело вздыхает. Паради уходит, шлепая по лужам, ковыляя, как пингвин, среди потопа.

* * *

Мало-помалу из недр земли вылезают люди. В углах сгущается тень; эти человеческие массы приходят в движение, дробятся... Людей узнаешь одного за другим.

Вот появляется человек; голова у него закутана в одеяло, словно в капюшон. Дикарь, или, верней, палатка дикаря! Он прогуливается, покачиваясь справа налево. Вблизи, в плотной оправе вязаной шерсти, можно различить квадратное желтое, йодистое лицо в черноватых пятнах: перебитый нос, раскосые китайские глаза и жесткие мокрые усы, похожие на щетку.

— А-а, вот Вольпат! Как дела, Фирмен?

— Дела, дела, как сажа бела! — отвечает Вольпат.

Он говорит с трудом, протяжно, хриплым голосом. Кашляет.

— На этот раз мне каюк. Слышал ночью атаку? Ну и жарили они! Основательная поливка!

Он сопит и вытирает рукавом вогнутый нос. Запускает руку за пазуху под шинель и куртку, нащупывает тело и начинает чесаться.

— На свечке я сжег штук тридцать «блондинок»,— ворчит он.— В большой землянке, у подземного прохода, их тьма-тьмущая, прямо кишмя кишат! Я видел, как они шныряют по соломе, вот как я сейчас вижу тебя.

— А кто ходил в атаку? Боши?

— Боши, и мы тоже. Это было у Вими́. Контратака. Ты не слыхал?

— Нет,— отвечает за меня толстяк Ламюз, человек-бык.— Я храпел вовсю. Ведь прошлой ночью я был на работах.

— А я слыхал,— объявляет маленький бретонец Бике.— Я плохо спал; вернее, совсем не спал. У меня своя собственная землянка. Да вот, поглядите, вот она, паскуда!

Он показывает на ямку у самой поверхности земли; здесь на кучке навоза только-только может улечься один человек!

— Ну и никудышная квартира! — восклицает он, покачивая маленькой, словно недоделанной, головой,— я почти и не дрых; уже засыпал, да помешали... проснулся... Не от шума, а от запаха. Сменяли сто двадцать

девятый полк. Да-а, все эти парни шагали у самой моей морды. Я и проснулся: так ударило в нос.

Мне это знакомо. Я часто просыпался в окопах от густой вони, которая тянется за проходящим отрядом.

— Эх, кабы это убивало вшей! — говорит Тирет.

— Наоборот, это их подзадоривает,— замечает Ламюз.— Чем больше смердишь, тем больше их у тебя заводится.

— И хорошо еще,— продолжает Бике,— что они меня разбудили своей вонью! Вот я сейчас рассказывал этому толстобрюхому: продрал глаза как раз вовремя; успел схватить свой брезент (я им закрываю мою дыру); какой-то сукин сын уже собирался его спереть.

— В сто двадцать девятом полку все как есть сволочи!

В глубине, у наших ног, сидит на корточках человек, при утреннем свете его трудно разглядеть; он обеими руками хватается за свои одеяния, скребется и чешется. Это дядюшка Блер.

Он мигает узкими глазками; его лицо покрыто слоем пыли. Над беззубым ртом торчат толстыми желтоватыми комками усы. Руки чудовищно черны; они так грязны, словно обросли волосами, а ладони покрыты жесткой серой корой. От этой скрюченной фигуры пахнет старой кастрюлей.

Он усердно чешется и в то же время болтает с долговязым Барком, который стоит, наклонясь к нему.

— Дома я не такой грязный и черный,— говорит Блер.

— Н-да, бедняга, дома ты, наверно, белей! — замечает Барк.

— Твое счастье,— подзадоривает Тирет,— а то бы твоя женка народила от тебя негритят!

Блер сердится. Хмурит брови (его лоб совсем почернел от грязи).

— Чего ты лезешь? А хотя б и так? На то и война. А ты, чучело гороховое, ты думаешь, на войне у тебя не изменился фасад и повадки? Да погляди на себя, обезьянья харя, погань неумытая! Эка, понес околесицу! Бывают же такие дурни!

Он проводит рукой по темной коре, покрывающей его лицо; после стольких дождей она оказалась несмываемой.

— Да и если я такой, каков я есть, значит, я так хочу. Прежде всего у меня нет зубов. Лекарь уже давно сказал мне: «У тебя больше нет ни одного зуба. Этого слишком мало. На первой же остановке ступай, говорит, в естаматологический кабинет».

— Томатологический,— поправляет Барк.

— Стоматологический,— устанавливает Бертран.

— А я не пошел: не хотел,— продолжает Блер,— хоть лечат и задаром.

— Почему же не пошел?

— Да так, неохота возиться,— отвечает он.

— Ты сущий повар,— говорит Барк.— Тебе бы надо заделаться поваром.

— Я и сам так думаю,— простодушно соглашается Блер.

Все смеются. Черный человек обижен. Он встает.

— У меня от вас брюхо заболело,— презрительно отчеканивает он.— Пойду в нужник.

Когда его черный силуэт исчез, собеседники лишний раз повторяют старую истину, что на фронте грязнее всех повара.

— Если увидишь чумазого парня с грязным рылом и в грязной одежде, такого, что прикоснуться к нему можно только щипцами, так и знай: наверняка повар! И чем грязней, тем он верней повар.

— Истинная правда! — подтверждает Мартро.

— А-а, вот Тирлуар! Эй, Тирлуар!

Тирлуар подходит, озабоченный, поглядывая туда-сюда; он бледен, как хлор; худая шея пляшет в слишком широком и жестком воротнике шинели. У него острый подбородок; верхние зубы выступают вперед; резкие морщины с глубоко забившейся в них грязью у рта кажутся намордником. По обыкновению он взбешен и, как всегда, бранится:

— У меня ночью свистнули сумку!

— Это сто двадцать девятый полк! А где ты ее держал?

Он показывает на штык, воткнутый в стенку, у входа в прикрытие.

— Здесь висела, вот на этой зубочистке.

— Растяпа! — хором восклицают собеседники.— Сам людям подставил! Да ты что, рехнулся?

— Экая досада! — стонет Тирлуар.

Вдруг его охватывает гнев: его лицо передергивается, кулаки сжимаются, словно узлы веревки. Он ими потрясает.

— Эх, попадись мне этот стервец! Да я бы ему морду разбил, выпотрошил бы ему брюхо, да я бы... Ведь у меня в сумке лежал непочатый кусок сыра. Пойти еще поискать, что ли!

Он растирает себе живот кулаком короткими взмахами, словно ударяя по струнам; он держится с чувством собственного достоинства; его лицо искажается гневом; похожий на больного, закутанного в халат, он уходит в утреннюю мглу. Его ругань доносится даже издали; наконец он исчезает.

— Вот балда! — говорит кто-то.

Все хихикают.

— Он свихнулся и спятил, — объявляет Мартро, по обыкновению усиливая мысль сочетанием двух однозначных слов.

* * *

— Эй, братишка, погляди, — говорит явившийся Тюлак,— погляди-ка!

Тюлак великолепен. На нем казакин лимонно-желтого цвета, сшитый из непромокаемого спального мешка. Тюлак проделал в нем дыру для головы и поверх этого футляра надел ремни и пояс. Он рослый, костлявый, решительный. На ходу он вытягивает шею и косит глазами. Он что-то держит в руке.

— Вот, нашел сегодня, когда копал ночью землю в конце Нового хода: мы меняли прогнивший настил. Хорошая штуковина, мне сразу понравилась. Это топор старинного образца.

Действительно, «топор старинного образца»: заостренный камень с рукояткой из побуревшей кости. Настоящее доисторическое орудие.

— Его удобно держать,— говорит Тюлак, помахивая своей находкой.— Да, недурно придумано. Лучше сделано, чем наши топорики военного образца. Словом, сног-

сшибательно! На, погляди-ка!.. А-а? Отдай. Он мне пригодится. Увидишь...

Он потрясает этим топором четвертичного периода и сам кажется питекантропом, наряженным в лохмотья, укрывшимся в недрах земли.

* * *

Один за другим подходят солдаты из отделения Бертрана и собираются у поворота траншеи. В этом месте она немного шире, чем в той части, где тянется ровно: там, чтобы разминуться, надо прижаться к грязной стенке и упереться животом в живот товарища.

Наша рота в резерве; она занимает окопы второй линии. Здесь нет сторожевой службы. Ночью нас посылают на передовую на земляные работы, но, пока светло, нам нечего делать. Нас свалили в одну кучу; мы словно прикованы локоть к локтю; нам остается только как-нибудь убить время до вечера.

Дневной свет наконец пробился в бесконечные трещины, избороздившие эту местность; он добирается до наших нор. Печальный свет севера! Здесь даже небо тесное и грязное, словно отягченное дымом и смрадом заводов. При этом тусклом освещении разнородные наряды жителей нашего дна предстают во всем своем убожестве среди огромной безысходной нищеты, породившей их. Но ведь здесь ружейные выстрелы кажутся однообразным тиканьем часов, а пушечные залпы— урчанием кота; ведь великая драма, которую мы разыгрываем, тянется слишком долго, и больше не удивляешься своему виду и наряду, придуманному нами для защиты от дождя, льющегося сверху, от грязи, проникающей снизу, от бесконечного холода, пребывающего всюду.

Звериные шкуры, одеяла, парусина, вязаные шлемы, суконные и меховые шапки, шарфы, накрученные на шею или повязанные, как чалмы; фуфайки и сверхфуфайки, сверходеяния и головные уборы из клеенчатых, просмоленных, прорезиненных капюшонов, черных или всех (полинявших) цветов радуги, покрывают этих людей, скрывают форменную одежду почти так же, как кожу, и расширяют тело и голову до огромных размеров. Один на-

пялил на спину квадратную клеенку с большими белыми и красными клетками, найденную где-то на стоянке в столовой,— это Пепен; его узнаешь уже издали скорей по этой арлекиновой вывеске, чем по его бледному бандитскому лицу. Вот оттопыривается манишка Барка, вырезанная из стеганого одеяла, когда-то розового, а теперь бурого от пыли и дождя. Вот огромный Ламюз — разрушенная башня с остатками афиш. Вот маленький Эдор: кираса из чертовой кожи придает ему вид жука с глянцевитой спинкой; и среди них всех, как Великий вождь, блистает оранжевым нагрудником Тюлак.

Каска придает некоторое единообразие головам всех этих людей. Да и то! Одни надевают ее на кепи, как Бике; другие — на вязаный шлем, как Кадийяк, третьи — на шапку, как Барк,— и это усложняет наряд и создает разнообразие.

А наши ноги!.. Только что, согнувшись в три погибели, я спустился в нашу землянку — низкий тесный погреб, отдающий сыростью и плесенью; здесь натыкаешься на пустые банки из-под консервов и грязные тряпки; здесь валялись два длинных спящих свертка, а в углу, при свете огарка, какая-то тень, стоя на коленях, рылась в сумке... Вылезая через прямоугольное отверстие, я увидел ноги. Они торчали отовсюду, горизонтально, вертикально или наклонно, вытянутые, согнутые, сплетенные, они мешали пройти; все их проклинали; это была многообразная и многоцветная коллекция: гетры и краги, черные и желтые, высокие и низкие, из кожи, из плотной парусины, из какой-то непромокаемой ткани; обмотки — синие, голубые, черные, серые, цвета хаки, коричневые... Один только Вольпат все еще носит короткие краги времен мобилизации; Мениль Андре уже две недели щеголяет в чулках из грубой зеленой шерсти. А Тирета всегда узнаешь по серым в белую полоску суконным обмоткам, вырезанным из штатских брюк, висевших черт знает где в начале войны... У Мартро обмотки разного цвета: ему не удалось найти два одинаковых изношенных и грязных куска шинели, чтобы разрезать их на полосы. У некоторых солдат ноги обернуты в тряпки, даже в газеты, обмотаны спиралями веревок или даже телефонными проводами (это практичней). Пепен ослепляет товарищей и прохожих рыжими крагами, которые он снял с мертвеца. Барк считает себя (ну и

надоедает же он иногда!) изворотливым парнем, мастером на выдумки: он обмотал гетры марлей; эти белые икры, вязаная шапка, белеющая из-под каски, и клок рыжих волос на лбу придают ему клоунский вид. Потерло́ вот уже месяц ходит в сапогах немецкого солдата, в отличных, почти новых сапогах, подбитых подковками. Их дал ему на хранение Карон, когда был ранен в руку и эвакуирован. А сам Карон снял их с баварского пулеметчика, убитого на Пилонской дороге. Помню, как наш Карон рассказывал об этом:

— Да, милый мой, лежит парень задом в яме, весь согнулся, глазеет в небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки и хочет сказать: «Бери, пожалуйста!» — «Что ж, ладно!» — говорю. Зато сколько хлопот было стащить с него эти чёботы; и повозился же я! Добрых полчаса пришлось тянуть, поворачивать, дергать, накажи меня бог: ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались. Ну, я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях, штаны порвались и — трах! — в каждой руке у меня по сапогу, полному каши. Пришлось опорожнить их, выбросить из них ноги.

— Ну, брат, врешь!

— Спроси у самокатчика Этерпа! Он мне помогал: мы запускали руки в сапог и вытаскивали оттуда кости, куски мяса и носков. Зато какие сапоги! Гляди! Стоило потрудиться!

...И вот, пока не вернется Карон, Потерло вместо него носит сапоги, которые не успел износить баварский пулеметчик.

Так по мере сил, разумения, энергии, возможности и смелости каждый изворачивается, стараясь бороться с чудовищными невзгодами. Каждый показывает себя и словно говорит: «Вот все, что я сумел, смог, посмел сделать в страшной беде, в которую попал».

Мениль Жозеф дремлет, Блер зевает. Мартро уставился в одну точку и курит. Ламюз чешется, как горилла, а Эдор — как мартышка. Вольпат кашляет и ворчит: «Я подохну». Мениль Андре вынул зеркальце и гребенку и холит свою шикарную каштановую бороду, словно редкостное растение. Однообразная тишина то тут, то там прерывается приступами неистовой деятельности,

вызываемой повсеместным, неизбежным, заразительным присутствием паразитов.

Барк — парень наблюдательный; он обводит всех взглядом, вынимает изо рта трубку, плюет, подмигивает и говорит:

— Ну и не похожи мы друг на друга!

— А с чего нам быть похожими? — отвечает Ламюз.— Это было бы чудом.

* * *

Наш возраст? Мы все разного возраста. Наш полк — резервный; его последовательно пополняли подкрепления,— то кадровые части, то ополченцы. В нашем полувзводе есть запасные из ополчения, новобранцы и солдаты среднего возраста. Фуйяду сорок лет, Блер мог бы быть отцом Бике, новичка призыва тринадцатого года. Капрал называет Мартро «дедушкой» или «старым шматком», смотря по тому, шутит он или говорит серьезно. Мениль Жозеф, если бы не война, остался бы в казарме. Забавное зрелище, когда нас ведет сержант Вижиль, славный мальчуган с пушком над губой; на днях, на стоянке, он прыгал через веревочку с ребятами. В нашей разношерстной компании, в этой семье без семьи, у очага без очага, объединены три поколения; они живут, ждут, цепенеют, словно бесформенные истуканы, словно дорожные столбы.

Откуда мы? Из разных областей. Мы явились отовсюду. Я смотрю на соседей: вот Потерло, углекоп из шахты Калонн; он розовый; брови у него соломенно-желтые, глаза васильковые; для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую на огромную синюю миску; вот Фуйяд, лодочник из Сетта; у него темные блестящие, как у черта, глаза и длинное худое лицо мушкетера. Действительно, они не похожи друг на друга, как день и ночь.

Кокон, тощий, поджарый, в очках, с лицом, изъеденным испарениями больших городов, тоже резко отличается от Бике, неотесанного, серолицего бретонца с квадратной челюстью, тяжелой, как булыжник; Андре Мениль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай, с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату,

толстяка, у которого щеки и затылок вроде ростбифа. Жаргон долговязого Барка, исходившего весь Париж, смешивается с почти бельгийским певучим говором северян, попавших к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием овернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, притягивающие друг друга...

Я еще помню первую фразу весельчака Тирета,— представившись, он сказал: «Ребята, я из Клиши-ла-Гаренн! А вы чем можете похвастать?» — и первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной: «Они с меня смеются, потому что я с Морвана...»

Чем мы занимались? Да чем хотите. Кем мы были в ныне отмененные времена, когда у нас еще было какое-то место в жизни, когда судьба еще не забросила нас в эти норы, где нас поливает дождь и картечь? Большей частью земледельцами и рабочими. Ламюз — батраком, Паради — возчиком; у Кадийяка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на остром черепе, словно купол колокольни, есть своя земля. Дядя Блер был фермером в Бри. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, словно кур, на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Тирлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы дю Трон, а добродушный бледный Эдор — кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта; его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов: как известно, Эдору не везет. Мениль Андре, еще довольно опрятный и причесанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами; его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги; далеко, в Лионе, очкастый Кокон, человек-цифра, облачившись в черную блузу, весь в ржавчине, хлопотал за конторкой скобяной лавки, а Бекюв Адольф и Потерло с самой зари при свете тусклой лампочки, своей единственной звезды, добывали уголь в шахтах на севере.

Есть и другие; чем они занимались, не упомнишь; их смешиваешь одного с другим: есть деревенские бродячие мастера на все руки, не говоря уже о подозрительном Пепене: у него, наверно, не было никакого ремесла. (Мы только знаем, что три месяца тому назад, после выздоровления в лазарете, он женился... чтобы получить пособие, установленное для жен мобилизованных.)

Среди нас нет людей свободных профессий. Учителя обыкновенно — унтер-офицеры или санитары. Брат марист — старший санитар при полевом госпитале; тенор — ординарец-самокатчик при военном враче; адвокат — секретарь полковника; рантье — капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. Среди нас нет таких. Все мы — настоящие солдаты; в этой войне почти нет интеллигентов — артистов, художников или богачей, подвергающихся опасности на передовой; они попадаются редко или только в тех случаях, когда носят офицерское кепи.

Да, правда, все мы разные.

И все-таки мы друг на друга похожи.

Несмотря на различие в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, несмотря на все пропасти, разделявшие нас,— мы в общих чертах одинаковы. Под одной и той же грубой оболочкой мы скрываем или обнаруживаем одни и те же нравы, одни и те же привычки, один и тот же упрощенный характер людей, вернувшихся в первобытное состояние.

Одна и та же речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная, как соусом, словообразованиями, объединяет всех нас в единую толпу, которая уже давно стекается со всех концов Франции на северо-восток.

Связанные общей непоправимой судьбой, сведенные к одному уровню, вовлеченные вопреки своей воле в эту авантюру, мы все больше уподобляемся друг другу. Страшная теснота совместной жизни нас гнетет, стирает наши особенности. Это какая-то роковая зараза. Солдаты кажутся похожими один на другого, и, чтобы заметить это сходство, даже не надо смотреть на них издали: на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по равнине.

* * *

Ждем. Надоедает сидеть; встаешь. Суставы вытягиваются и потрескивают, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно ружья, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать.

На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания.

Сейчас мы ждем супа. Потом будем ждать писем. Но всему свое время: когда поедим супу, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого.

Голод и жажда — сильные чувства; они мощно действуют на душевное состояние моих сотоварищей. Суп запаздывает, и они начинают злиться и жаловаться. Потребность в пище и питье выражается ворчанием:

— Время уже восемь. Куда это запропастились харчи?

— А мне как раз со вчерашнего дня, с двенадцати часов жрать хочется,— буркает Ламюз. Его глаза увлажняются от голода, а щеки багровеют, словно их мазнули краской.

С каждой минутой недовольство растет.

— Плюме, наверно, опрокинул себе в глотку мою флягу вина, да еще и другие; нализался и где-нибудь свалился пьяный.

— Определенно и наверняка,— подтверждает Мартро.

— Мерзавцы! Вши проклятые, эти нестроевые! — рычит Тирлуар.— Ну и поганое отродье! Все до одного пропойцы и бездельники! Лодырничают по целым дням в тылу и не могут даже поспеть вовремя. Эх, был бы я хозяином, послал бы я их всех в окопы на наше место, пришлось бы им попотеть! Прежде всего я бы приказал: каждый во взводе по очереди будет поваром. Конечно, кто хочет... и тогда...

— А я уверен,— орет Кокон,— что это сукин сын Пепер задерживает других. Он делает это назло, да и не может утром продрать глаза, бедняга! Он должен проспать непременно десять часов в своей блошатой постели! А то этому барину целый день будет лень рукой шевельнуть!

— Я б им показал! — ворчит Ламюз.— Будь я там, они б у меня живо повскакали с постели! Я бы двинул их сапогом по башке, схватил бы их за ноги...

— На днях,— продолжает Кокон,— я высчитал: он ухлопал семь часов сорок семь минут, чтобы добраться сюда с тридцать первого пункта. А на это пяти часов за глаза довольно.

Кокон — человек-цифра. У него страсть, жадность к точным числам. По любому поводу он старается добыть статистические данные, собирает их, как терпеливый муравей, и преподносит их всем, кто хочет его послушать. Когда он пускает в ход цифры, словно оружие, его сухонькое личико — сочетание углов и треугольников с двойным кольцом очков — искажается злобой.

Он становится на ступеньку для стрельбы, оставшуюся с тех времен, когда здесь была передовая, и яростно смотрит поверх бруствера. При свете косых холодных лучей поблескивают стекла его очков, и капля, висящая на кончике носа, сверкает, как алмаз.

— А Пепер?! Ну и ненасытная утроба! Прямо не верится, сколько кило жратвы он набивает себе в брюхо за один только день!

Дядя Блер «кипит» в своем углу. Его седоватые свисающие усищи, похожие на костяную гребенку, дрожат.

— Знаешь? Там на кухне все они дрянцо на дрянце. Их зовут: «На черта, Ни черта, Ни хрена и Компания».

— Форменное дерьмо,— убежденно говорит Эдор и вздыхает. Он лежит на земле с полуоткрытым ртом; у него вид мученика; тусклым взглядом он следит за Пепеном, который снует взад и вперед, словно гиена.

Негодование против опаздывающих все возрастает. Тирлуар-«ругатель» изощряется вовсю. Он сел на своего конька и чувствует себя в своей стихии. Он подзадоривает товарищей:

— Добро б еще дали что-нибудь вкусное. А то ведь опять угостят какой-нибудь пакостью.

— Эх, ребята, а какую падаль дали нам вчера. Нечего сказать... Куски камня! Это у них называется бифштексом? Скорее старая подметка. У-ух! Я сказал ребятам: «Осторожней! Жуйте медленней, а то сломаете клы-

ки: может быть, сапожник забыл вынуть оттуда гвозди!»

В другое время эта шутка Тирета, если не ошибаюсь, бывшего устроителя кинематографических гастролей, нас бы рассмешила, но сейчас все слишком взбешены, и она вызывает только общий ропот.

— А чтобы мы не жаловались, что жратва слишком жесткая, дадут, бывало, вместо мяса чего-нибудь мягкого; безвкусную губку, пластырь. Жуешь, словно кружку воды пьешь, вот и все.

— Да, это,— говорит Ламюз,— неосновательная пища; не держится в брюхе. Думаешь, насытился, а на деле у тебя в ящике пусто. Вот мало-помалу и подыхаешь: пухнешь с голоду.

— Следующий раз,— в бешенстве восклицает Бике,— я добьюсь разрешения поговорить с начальником, я скажу: «Капитан!..»

— А я,— говорит Барк,— объявлюсь хворым и скажу: «Господин лекарь...»

— Жалуйся или нет, все одно ничего не выйдет. Они сговорились выжать все соки из солдата.

— Говорят тебе, они хотят нас доконать!

— А водка?! Мы имеем право получать в окопах водку,— ведь это проголосовали где-то; не знаю где, не знаю когда,— но знаю, что мы торчим здесь вот уже три дня, и три дня нам ее только сулят.

— Эх, беда!

* * *

— Несут! — объявляет солдат, стороживший на повороте.

— Наконец-то!

Буря жалоб и упреков сразу стихает, как по волшебству. Бешенство внезапно сменяется удовлетворением.

Трое нестроевых, запыхавшись, обливаясь потом, ставят на землю фляги, бидон из-под керосина, два брезентовых ведра и кладут круглые хлебы, нанизанные на палку. Прислоняются к стенке траншеи и вытирают лицо платком или рукавом. Кокон с улыбкой подходит к Пеперу и вдруг, забыв, что осыпал его заочно ругательствами, протягивает руку к одному из бидонов, целая

коллекция которых привязана к поясу Пепера, наподобие спасательного круга.

— Что ж нам дадут пожевать?

— Да вот это,— уклончиво отвечает помощник Пепера.

Он по опыту знает, что объявлять заранее меню — значит вызывать горькое разочарование.

И, еще отдуваясь, он начинает жаловаться на длинный, трудный путь, который сейчас пришлось проделать:

— Ну и народу везде! Видимо-невидимо! Яблоку некуда упасть! Прямо арабский базар! Чтоб протолкаться, приходилось сплющиваться в листик папиросной бумаги... А еще говорят: «Служит на кухне, значит «окопался»... Так вот, по мне, уж в тысячу раз лучше торчать вместе с ротой в окопах, быть в дозоре или на работах, чем заниматься вот этим ремеслом два раза в сутки, да еще ночью!

Паради приподнял крышки бидонов и осмотрел содержимое.

— Бобы на постном масле, суп и кофеек. Вот и все.

— Черт их дери! А видно? — орет Тюлак.

Он созывает товарищей.

— Эй, ребята! Погляди-ка! Безобразие! И вина уже не дают!

Жаждущие сбегаются со всех сторон.

— Тьфу ты, хреновина! — восклицают они, возмущенные до глубины души.

— А в ведре-то что? — ворчит нестроевой, еще весь красный и потный, тыча ногой в ведро.

— Н-да,— говорит Паради.— Ошибка вышла, вино есть.

— Эх ты, раззява! — говорит нестроевой, пожимая плечами, и смотрит на него с невыразимым презрением.— Надень очки, чертова кукла, если не видишь как следует!

И прибавляет:

— По четвертинке на человека... Может быть, чуть-чуть поменьше: меня толкнул какой-то олух в Лесном проходе, вот и пролилось несколько капель... Эх,— спешит он прибавить, повышая голос,— не будь я так нагружен, дал бы ему пинка в зад! Но он смылся на всех парах, скотина!



Несмотря на это решительное утверждение, он сам осторожно сматывается; его осыпают проклятиями, сомневаются в его честности и умеренности: всем обидно, что паек уменьшился.

Все набрасываются на пищу и начинают есть стоя, или на коленях, или присев на корточки, или примостившись на бидоне или на ранце, вытащенном из ямы, где они спят, или повалившись прямо на землю, уткнувшись спиной в грязь, мешая проходить, вызывая ругань и огрызаясь. Если не считать этой перебранки и обычных словечек, которыми они изредка перекидываются, все молчат; они слишком заняты поглощением пищи; рот и подбородок у них вымазаны маслом, как ружейные затворы.

Они довольны.

Как только работа челюстей приостанавливается, все начинают отпускать сальные шутки. Все наперебой орут, чтобы вставить свое словечко. Даже Фарфаде, щуплый служащий из мэрии, улыбается, а ведь первое время он держался среди нас так благопристойно и одевался так опрятно, что его принимали за иностранца или выздоравливающего. Расплывается в улыбке и красномордый Ламюз; его рот похож на помидор; его радость источает слезы; расцветает, как розовый пион, лицо Потерло; дрожат от удовольствия морщины Блера; он встал, вытянул шею и движется всем коротким тощим тельцем, которое как бы служит придатком к огромным свисающим усам; проясняется даже сморщенная жалкая мордочка Кокона.

* * *

— А кофей! Подогреть бы его, а? — спрашивает Бекюв.

— На чем? Дуть на него, что ли?

Бекюв, любитель горячего кофе, говорит:

— Дайте, уж я это сварганю. Подумаешь, большое дело! Соорудите только печурку и решетку из штыковых ножен. Я уж знаю, где найти дрова. Наколю щепок ножом: хватит, чтоб разогреть котелок. Увидите!

Он идет за дровами.

В ожидании кофе все свертывают папиросы или набивают трубки.

Вынимают кисеты. У некоторых кожаные или резиновые кисеты, купленные у торговца. Но таких мало. Бике вытаскивает табак из носка, завязанного веревочкой. Большинство пользуется мешочком от противогазовой маски, сделанным из непромокаемой ткани: в нем отлично можно хранить табак для курева. А некоторые просто-напросто выскребывают курево из кармана шинели.

Собравшись в кружок, курильщики харкают у самого входа в землянку, где помещается бо̀льшая часть полувзвода, и слюной, желтой от никотина, загаживают то место, куда упираются руками и коленями, когда влезают или вылезают.

Но кому какое дело до таких мелочей?

* * *

Мартро получил письмо от жены. Речь зашла о продуктах.

— Моя хозяйка мне написала,— говорит Мартро.— Знаете, сколько теперь стоит у нас хорошая, жирная живая свинья?

...Внезапно обсуждение экономического вопроса превращается в яростный спор между Пепеном и Тюлаком. Они обмениваются увесистыми отборными ругательствами.

В заключение один говорит другому:

— Да наплевать мне на то, что ты скажешь или не скажешь! Заткнись!

— Заткнусь, если захочу, балда!

— А вот я тебе заткну глотку кулаком!

— Кому? Кому? Мне?

— А ну, а ну!

Они брызжут слюной, скрежещут зубами и наступают друг на друга. Тюлак сжимает свой доисторический топор, его косые глаза мечут молнии. Пепен, бледный, зеленоглазый, с хулиганской мордой, явно подумывает о своем ноже.

Они пронзают друг друга взглядами и рвут на части словами. Вдруг между ними появляется миротворная рука величиной с голову ребенка и налитое кровью лицо: это Ламюз.

— Ладно, ладно! Не станете же вы калечить друг друга! Так не годится!

Другие тоже вмешиваются, и противников разнимают. Из-за спин товарищей они все еще бросают друг на друга свирепые взгляды.

Пепен пережевывает остатки ругательств и желчно, неистово кричит:

— Жулик, хулиган, разбойник! Погоди, я тебе это припомню!

А Тюлак говорит стоящему рядом солдату:

— Этакая гнида! Нет, каково? Видал? Знаешь, право слово: здесь приходится иметь дело со всякой швалью. Как будто знаешь человека, а все-таки не знаешь. Но если этот хочет меня испугать, нарвется! Погоди, на днях я тебя отделаю, увидишь!

Между тем беседа возобновляется и заглушает последние отголоски ссоры.

— И так вот каждый день! — говорит Паради.— Вчера Плезанс хотел дать в морду Фюмексу, уж не знаю за что, из-за каких-то пилюль опиума. То один, то другой грозится кого-нибудь укокошить. Здесь все звереют, ведь мы и живем, как звери.

— Народ несерьезный! — замечает Ламюз.— Прямо дети.

— А еще взрослые!

* * *

Время идет. Сквозь туманы, окутывающие землю, пробилось немного больше света. Но погода по-прежнему пасмурная, и вот-вот пойдет дождь. Водяной пар расползается клочьями и оседает. Моросит. Ветер снова приносит тяжелые, набухшие влагой облака, и его медлительность приводит нас в отчаяние. От тумана и капель воды тускнеет все, даже тугие кумачовые щеки Ламюза, даже оранжевый панцирь Тюлака, и гаснет в нашей груди радость, которой преисполнила нас еда. Пространство сужается. Над землей, над этим полем смерти, нависает поле печали — небо.

Мы торчим здесь и бездельничаем. Трудно будет убить время, дотянуть до конца дня. Дрожим от холода, переходим с места на место, топчемся, словно скот в загоне.

Кокон объясняет соседу расположение сети наших траншей. Он видел общий план и произвел вычисления. В месте расположения нашего полка пятнадцать линий французских окопов; из них одни брошены, заросли травой и почти сровнялись с землей; другие глубоки и битком набиты людьми. Эти параллельные линии соединяются бесчисленными ходами, которые извиваются и запутываются, как старые улицы. Сеть окопов еще гуще, чем мы думаем, живя в них. На двадцать пять километров фронта одной армии приходится тысяча километров окопов, ходов сообщения и других укрытий. А французская армия состоит из десяти армий. Значит, около десяти тысяч километров окопов с французской стороны и столько же с немецкой... А французский фронт составляет приблизительно восьмую часть всего фронта войны на земном шаре.

Так говорит Кокон и в заключение обращается к соседу:

— Видишь, как мало мы значим во всем этом...

У Барка бескровное лицо, как у всех бедняков из парижских предместий, козлиная рыжая бородка и хохолок на лбу в виде запятой; он опускает голову.

— Правда, как подумаешь, что один солдат и даже несколько — ничто, даже меньше, чем ничто, вдруг почувствуешь себя совсем затерянным, затонувшим, словно капелька в этом океане людей и вещей.

Барк вздыхает и замолкает, и в тишине слышится отрывок рассказываемой вполголоса истории:

— ...Он привел двух коней. Вдруг дз-з-з! Снаряд! Остался только один конь...

— Скучно,— говорит Вольпат.

— Ничего, держимся,— бормочет Барк.

— Приходится,— прибавляет Паради.

— А зачем? — с сомнением спрашивает Мартро.

— Да так: нужно.

— Нужно,— повторяет Ламюз.

— Нет, причина есть,— говорит Кокон.— Вернее, много причин.

— Заткнись! Лучше б их не было, раз приходится держаться.

— А все-таки,— глухо говорит Блер, никогда не упуская случая повторить свою любимую фразу,— они хотят нас доконать.

— Сначала,— говорит Тирет,— я думал о том, о сем, размышлял, высчитывал; теперь я больше ни о чем не думаю.

— Я тоже.

— Я тоже.

— А я никогда и не пробовал.

— Да ты не такой дурень, как кажешься! — говорит Мениль Андре пронзительным насмешливым голосом.

Собеседник втайне польщен; он поясняет свою мысль:

— Первым делом — ты не можешь ничего знать.

— Надо знать только одно: у нас, на нашей земле, засели боши, и надо выкинуть их вон и как можно скорей,— говорит капрал Бертран.

— Да, да, пусть убираются к чертовой матери! Спору нет! Чего там! Не стоит ломать себе башку и думать о другом. Только это уж слишком долго тянется.

— Эх, чтоб их черти драли! — восклицает Фуйяд.— Действительно, долго.

— А я,— говорит Барк,— я больше не ворчу. Сначала я ворчал на всех, на тыловиков, на штатских, на местных жителей, на «окопавшихся». Да, я ворчал, но это было в начале войны, я был молод. Теперь я рассуждаю здраво.

— Здраво рассуждать — это терпеть; как есть, так и ладно!

— Еще бы! Иначе спятишь. И так мы обалдели. Верно я говорю, Фирмен?

Вольпат в знак согласия убежденно кивает головой; он сплевывает и внимательно разглядывает свой плевок.

— Ясное дело! — говорит Барк.

— Тут не стоит доискиваться. Надо жить изо дня в день, если можно, даже из часа в час.

— Правильно, образина! Надо делать, что прикажут, пока не разрешат убираться по домам.

— Н-да,— позевывая, говорит Мениль Жозеф.

Загорелые, обветренные, запыленные лица выражают одобрение; все молчат. Это явно чувство людей, которые полтора года назад явились со всех концов страны и собрались на границе. Это отказ понимать происходящее и отказ быть самим собой; это надежда не умереть и борьба за то, чтобы прожить как можно лучше.

— Приходится делать, что велят, да, но надо выкручиваться,— говорит Барк и, медленно прохаживаясь взад и вперед, месит грязь.

* * *

— Конечно, надо,— подтверждает Тюлак.— А если ты не выкрутишься сам, за тебя этого не сделает никто. Будь благонадежен!

— Еще не родился такой человек, который бы позаботился о другом.

— На войне каждый за себя!

— Ну, конечно!

Молчание. И вот среди всех лишений эти люди вызывают сладостные образы прошлого.

— А как в Суассоне одно время хорошо жилось! — говорит Барк.

— Эх, черт!

В глазах появляется отсвет потерянного рая; он озаряет лица, посиневшие от холода.

— Не житье, а масленица! — мечтательно вздыхает Тирлуар; он перестает чесаться и смотрит вдаль, поверх насыпи.

— Эх, накажи меня бог, весь город почти опустел и, в общем, был в нашем распоряжении! Дома, постели!..

— И шкафы!

— И погреба!

У Ламюза даже слезы выступили на глазах, расцвело все лицо и защемило сердце.

— А вы долго там оставались? — спрашивает Кадийяк, который прибыл сюда позже с подкреплениями из Оверни.

— Несколько месяцев...

Почти утихшая беседа оживает при этих воспоминаниях о временах изобилия.

Паради говорит, словно во сне:

— Наши солдаты шныряли по дворам; бывало, возвращаются на постой, под мышкой у них по кролику, а к поясу кругом привешены куры: «позаимствовали» у какого-нибудь старикана или старухи, которых никогда в глаза не видели и не увидят.

Все вспоминают позабытый вкус цыпленка и кролика.

— Случалось кое за что и платить. Денежки тоже плясали. В ту пору мы были богаты.

— В лавках оставляли сотни тысяч франков!

— Мильоны! Каждый день так швыряли деньгами, что и представить себе не можешь. Сущий праздник, как в сказке!

— Верь не верь,— говорит Блер Кадийяку,— но при всем этом богатстве везде, где мы только ни проходили, трудней всего было достать топливо. Приходилось его искать, находить, покупать. Эх, старина, пришлось нам побегать за топливом!

— А мы стояли там, где нестроевая рота. Поваром был толстяк Мартен Сезар. Вот был мастер добывать дрова!

— Да, молодец! Чего там, он знал свое дело.

— У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля; а у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово.

— Можно сказать, он иной раз даже перебарщивал. Первый раз, когда я его увидел на кухне, знаешь, чем он растапливал печку для варева? Скрипкой,— он нашел ее где-то в доме.

— Все-таки безобразие,— говорит Мениль Андре.— Скрипка хоть не очень-то полезная вещь, а все-таки...

— Иной раз он пускал в ход бильярдные кии. Нашему Зизи едва-едва удалось спереть один кий, чтобы смастерить себе палку. Все остальное пошло в огонь. Потом потихоньку отправили туда же и кресла из красного дерева. Он их рубил и распиливал по ночам, чтоб какой-нибудь начальник не заметил.

— Ну и пройдоха! — говорит Пепен.— А мы пустили в ход старую мебель; нам хватило ее на две недели.

— То-то у нас ничего и нет! Надо сварить суп — ни черта: ни дров, ни угля. После раздачи стоишь дурак-дураком перед кучей дерьмовой говядины, а ребята над тобой смеются, да еще потом обругают. Как же быть?

— Такое уж ремесло! Мы не виноваты.

— А начальники не ругались, когда кто-нибудь хапал?

— Они сами тащили, да еще как! Демезон! Помнишь, какую штуку выкинул лейтенант Вирвен? Высадил топором дверь винного погреба! Один наш солдат увидел, ну, лейтенант подарил ему эту дверь на растопку, чтобы парень не разболтал.

— А бедняга Саладен, офицер по продовольственной части? Его встретили в сумерки: выходит из подвала, а в каждой руке по две бутылки белого вина. Будто кормилица с четырьмя сопляками. Ну, его накрыли; ему пришлось спуститься обратно в эту бутылочную шахту и раздать всем по бутылке. А вот капрал Бертран — строгих правил: не захотел пить. Помнишь, отрыва чертова?

— А где теперь тот повар, что всегда добывает топливо? — спрашивает Кадийяк.

— Помер. В его котел попал «чемодан». Сам Мартен не был ранен, он умер от потрясения, когда увидел, что его макароны задрали ноги и полетели вверх тормашками. Лекарь сказал: *«Пазмы* сердца». У него было слабое сердце; он был силен только по части дров. Похоронили его честь честью. Гроб сделали из паркета; плитки сколотили гвоздями, на которых висели картины; вбили кирпичом. Когда повара несли на кладбище, я думал: «Его счастье, что он умер: ведь если б он это видел, он никогда не простил бы себе, что не додумался пустить на растопку паркет». Этакий ловкач!

— Наш брат солдат выкручивается, как может; на товарища ему наплевать. Скажем, ты отвиливаешь от работы в наряде, или хватаешь кусок получше, или занимаешь местечко поудобней, а от этого другим плохо приходится,— философствует Вольпат.

— Я часто выкручивался, чтоб не идти в окопы,— говорит Ламюз,— и не помню уж, сколько раз мне удавалось отвертеться. Сознаюсь. Но когда ребята в опасности, я не отлыниваю, не выкручиваюсь. Тут я забываю, что я военный, забываю все. Тут для меня только люди, и я действую. Зато в других случаях я думаю о собственной шкуре.

Это не пустые слова: Ламюз — мастер по части уви-

ливания; тем не менее он спас жизнь многим раненым, подобрав их под обстрелом.

Он объясняет это без хвастовства:

— Мы все лежали в траве. Боши здорово палили. Трах-тах-тах! Бац, бац!.. Дззз, дззз!.. Вижу: несколько ребят ранено, я встаю, хоть мне и кричат: «Ложись!» Не могу ж я их оставить. Да в этом и нет никакой заслуги: я не мог поступить по-другому.

Почти за всеми солдатами из нашего взвода числятся высокие воинские подвиги, у каждого кресты за храбрость.

— А я не спасал французов, зато хватал бошей,— говорит Бике.

Во время майских атак он бросился вперед; он исчез и вернулся с четырьмя немцами.

— А я их убивал,— говорит Тюлак.

Два месяца тому назад он уложил в ряд перед взятой траншеей девять немцев.

— Но больше всего я ненавижу их офицеров.

— А-а, сволочи!

Этот крик вырвался у всех сразу, из глубины души.

— Эх, старина,— говорит Тирлуар,— вот толкуют, что немцы — погань. А я не знаю, правда это или и тут нас морочат; может быть, их солдаты такие же люди, как и мы.

— Наверно, такие же люди, как мы,— говорит Эдор.

— Как сказать! — кричит Кокон.

— Во всяком случае, нельзя знать точно, каковы солдаты,— продолжает Тирлуар,— зато уж немецкие офицеры!.. Ну, это не люди, а чудовища. Это особая погань, верно тебе говорю, старина. Можно сказать: это микробы войны. Ты бы поглядел на них вблизи: ходят — точно аршин проглотили, долговязые, тощие, будто гвозди, а головы у них телячьи.

— А у многих змеиные.

— Я раз как-то возвращался из наряда,— продолжает Тирлуар,— и встретил пленного. Вот падаль! Это был прусский полковник, говорят, с княжеской короной и золотым гербом на ремнях. Пока его вели по траншее, он все орал: как смел кто-то задеть его по дороге! И на всех он смотрел сверху вниз. Я сказал про себя: «Ну, погоди, голубушка, ты у меня попляшешь!» Я выждал

удобную минуту, изловчился и со всей силы дал ему пинка в зад. Так он, знаешь, повалился на землю и чуть не задохся.

— Задохся?

— Да, со злости: он понял, что случилось,—а именно, что по его офицерской, дворянской заднице саданул простым сапогом, подбитым гвоздями, простой солдат. Он завыл, как баба, и забился, как припадочный.

— Я не злой,— говорит Блер.— У меня дети, и мне жалко резать дома даже свинью знакомую, но этакого гада я б охотно пырнул штыком — у-ух! — прямо в пузо!

— Я тоже!

— Да еще не забудьте,— говорит Пепен,— что у них серебряные каски и пистолеты, за которые всегда можно выручить сотню монет, и призматические бинокли, которым цены нет. Эх, беда! Сколько я упустил удобных случаев в начале войны! В ту пору я был балдой. Так мне и надо! Но будьте благонадежны, уж я добуду серебряную каску. Слушай, накажи меня бог, а когда-нибудь добуду. Я хочу не только шкуру, но и добро Вильгельмова золотопогонника. Будьте благонадежны: я сумею это раздобыть до конца войны!

— А ты думаешь, война кончится? — спрашивает кто-то.

— А то нет? — отвечает другой.

* * *

Вдруг справа от нас поднимается шум; появляется толпа людей; темные фигуры перемешаны с цветными.

— В чем дело?

Бике идет на разведку; скоро он возвращается, указывает большим пальцем через плечо на пеструю толпу и говорит:

— Эй, ребята, поглядите! Публика!

— Публика?

— Ну да. Господа. «Шпаки» со штабными.

— Штатские! Только бы они выстояли!

Это сакраментальная фраза. Она вызывает смех, хотя ее слышали уже сотни раз; справедливо или нет, солдат придает ей другой смысл и считает ее насмешкой над своей жизнью, полной лишений и опасностей.

Подходят две важные особы, две важные особы в пальто, с тростью в руке; и третий в охотничьем костюме, в шляпе с перышком; в руке у него полевой бинокль.

За штатскими идут, указывая им дорогу, два офицера в светло-голубых мундирах, на которых блестят рыжие или черные лакированные портупеи.

На рукаве у капитана сверкает шелковая повязка с вышитыми золотыми молниями; он предлагает посетителям взобраться на ступеньку для стрельбы у старой бойницы, чтобы поглядеть. Господин в дорожном костюме влезает, опираясь на зонтик.

— Видел? — спрашивает Барк.— Ни дать, ни взять начальник станции, разрядился и показывает вагон первого класса на Северном вокзале богатому охотнику в день открытия охоты: «Пожалуйте, садитесь, господин помещик!» Знаешь, когда господа из высшего общества, одетые с иголочки, щеголяют ремнями и побрякушками, и валяют дурака, и пускают пыль в глаза своим снаряжением... Охотники на мелкого зверя!

Три-четыре солдата, у которых обмундирование было не в порядке, исчезают под землей. Остальные не двигаются, застывают; даже их трубки потухли; слышатся только обрывки беседы офицеров и гостей.

— Это окопные туристы,— вполголоса говорит Барк и громче прибавляет: — Им говорят: «Пожалуйте сюда, медам и месье!»

— Заткнись! — шепчет Фарфаде, опасаясь, как бы горластый Барк не привлек внимание этих важных господ.

Кое-кто из них поворачивает голову в нашу сторону От этой кучки отделяется какой-то господин в мягкой шляпе и развевающемся галстуке. У него седая бородка; он похож на художника. За ним идет другой — очкастый, чернобородый, в белом галстуке, в черном пальто и черном котелке.

— А-а-а! Вот они, наши «пуалю»! — восклицает первый.— Это настоящие «пуалю»!

Он подходит к нам робко, как к диким зверям в зоологическом саду, и подает руку ближайшему солдату, но довольно неловко, словно протягивает кусок хлеба слону.

— Э-э-э, да они пьют кофе,— замечает он.

— У нас говорят «сок»,— поправляет человек-соро́ка.

— Вкусно, друзья мои?

Солдат тоже оробел от этой странной экзотической встречи; он что-то бормочет, хихикает и краснеет, а господин в штатском мямлит: «Э-э-э!»

Он кивает головой и пятится назад.

— Очень хорошо, очень хорошо, друзья мои! Вы молодцы!

Среди серых штатских костюмов яркие военные мундиры расцветают, словно герани и гортензии на темной клумбе. И вот гости удаляются в направлении, противоположном тому, откуда они пришли. Слышно, как офицер говорит: «Господа журналисты, нам еще многое предстоит осмотреть!»

Когда блестящее общество исчезает из виду, мы переглядываемся. Солдаты, скрывшиеся в норах, постепенно вылезают на поверхность земли. Люди приходят в себя и пожимают плечами.

— Это — газетные писаки,— говорит Тирет.

— Газетые писаки?

— Ну да, те самые птицы, что высиживают газеты. Ты что, не понимаешь, голова садовая? Чтобы писать в газетах, нужны борзописцы.

— Значит, это они морочат нам голову? — спрашивает Мартро.

Барк делает вид, что держит под носом газету, и намеренно фальцетом начинает декламировать.

«Кронпринц рехнулся, после того как его убили в начале войны, а пока у него всевозможные болезни. Вильгельм умрет сегодня вечером и сызнова умрет завтра. У немцев нет больше снарядов; они лопают дерево; по самым точным вычислениям, они смогут продержаться только до конца этой недели. Мы с ними справимся, как только захотим, не снимая ружья с плеча. Если мы и подождем еще несколько дней, то только потому, что нам неохота отказаться от окопной жизни; ведь в окопах так хорошо: там есть вода, газ, душ на всех этажах! Единственное неудобство — зимой там жарковато... Ну, а эти австрийцы уже давно не держатся: только притворяются...» Так пишут уже пятнадцать месяцев, и редактор говорит своим писакам: «Эй, ребята, ну-ка, поднажмите! Постарайтесь состряпать это в два счета и

размазать на четыре белые страницы: их надо загадить!»

— Правильно! — говорит Фуйяд.

— Ты что смеешься, капрал? Разве это неправда?

— Кое-что правда, но вы, ребятки, загибаете, и если бы пришлось отказаться от газет, вы бы первые заскулили. Небось, когда приносят газеты, вы все кричите: «Мне! Мне!»

— А что тебе до всего этого? — восклицает Блер.— Ты вот ругаешь газеты, а ты поступай, как я: не думай о них!

— Да, да, надоело! Переверни страницу, ослиная морда!

Беседа прервана, внимание отвлекается. Четверо солдат составляют партию в «манилью»; они будут играть, пока не стемнеет. Вольпат старается поймать листик папиросной бумаги, который улетел у него из рук и кружится и порхает на ветру, над стеной траншеи, как мотылек.

Кокон и Тирет вспоминают казарму. От военной службы в их душе осталось неизгладимое впечатление, это неистощимый источник всегда готовых, неувядаемых воспоминаний; лет десять, пятнадцать, двадцать солдаты черпают из него темы для разговоров... Они воюют уже полтора года, а все еще говорят о казарме.

Я слышу часть разговора и угадываю остальное. Ведь эти старые служаки повторяют одни и те же анекдоты: рассказчик когда-то метким и смелым словом заткнул глотку злонамеренному начальнику. Он говорил решительно, громко, резко. До меня доносятся обрывки этого рассказа:

— ...Ты думаешь, я испугался, когда Неней мне это отмочил? Ничуть не бывало, старина. Все ребята притихли, а я один громко сказал: «Господин унтер, говорю, может быть, это так и есть, но...» (Следует фраза которой я не расслышал.) Да, да, знаешь, я так и брякнул. Он и бровью не повел. «Ладно, ладно»,— говорит,— и смылся, и с тех пор он всегда был шелковый.

— У меня то же самое вышло с Додором, знаешь унтером тринадцатого полка, когда кончался срок моей службы. Вот была скотина! Теперь он сторож в Пантеоне. Он меня, страшное дело, как терпеть не мог! Так вот...

И каждый выкладывает свой запас исторических слов. Все они как на подбор, каждый говорит: «Я не такой, как другие!»

* * *

— Почта!

Подходит рослый широкоплечий парень с толстыми икрами, одетый тщательно и щеголевато, как жандарм. Он дурно настроен. Получен новый приказ, и теперь каждый день приходится носить почту в штаб полка. Он возмущается этим распоряжением, как будто оно направлено исключительно против него.

Но, не переставая возмущаться, он мимоходом, по привычке, болтает то с одним, то с другим солдатом и созывает капралов, чтобы передать им почту. Несмотря на свое недовольство, он делится всеми имеющимися у него новостями. Развязывая пачку писем, он распределяет запас устных известий.

Прежде всего он сообщает, что в новом приказе черным по белому написано: «Запрещается носить на шинели капюшон».

— Слышишь? — спрашивает у Тирлуара Тирет.— Придется тебе выбросить твой шикарный капюшон.

— Черта с два! Это меня не касается. Этот номер не пройдет! — отвечает владелец капюшона: дело идет не только об удобстве, задето и самолюбие.

— Это приказ командующего армией!

— Тогда пусть главнокомандующий запретит дождь. Знать ничего не желаю. И слышать не хочу.

Вообще приказами, даже не такими необычными, как этот, солдаты возмущаются... прежде чем их выполнить.

— Еще приказано,— прибавляет почтарь,— стричь бороду. И патлы. Под машинку, наголо!

— Типун тебе на язык! — говорит Барк: приказ непосредственно угрожает его хохолку.— Не на такого напал! Этому не бывать! Накось, выкуси!

— А мне-то что! Подчиняйся или нет, мне на это наплевать.

Вместе с точными писанными известиями пришли и другие, поважней, но зато неопределенные и сказочные: будто бы дивизию сменят и пошлют на отдых в Марокко, а может быть, в Египет.

— Да ну? Э-э!.. О-о!.. А-а!!!

Все слушают. Поддаются соблазну новизны и чуда.

Однако кто-то спрашивает:

— А кто тебе сказал?

Почтарь называет источник своих сведений:

— Фельдфебель из отряда ополченцев; он работает при ГШК.

— Где?

— При Главном штабе корпуса... Да и не он один это говорит. Знаешь, еще парень, не помню, как его звать: что-то вроде Галля, но не Галль. Кто-то из его родни, не помню уж, какая-то шишка. Он знает.

— Ну и как?..

Солдаты окружили этого сказочника и смотрят на него голодным взглядом.

— Так в Египет, говоришь, поедем?.. Не знаю такого. Знаю только, что там были фараоны в те времена, когда я мальчишкой ходил в школу. Но с тех пор...

— В Египет!..

Эта мысль внезапно овладевает воображением.

— Нет, лучше не надо! — восклицает Блер.— Я страдаю морской болезнью, блюю... Ну, да ничего, морская болезнь быстро проходит... Только вот что скажет моя хозяйка?

— Не беда! Привыкнет! Там улицы кишмя кишат неграми и большими птицами, как у нас воробьями.

— А ведь мы должны были отправиться в Эльзас?

— Да,— отвечает почтальон.— В Казначействе некоторые так и думают.

— Что ж, это дело подходящее!

...Но здравый смысл и опыт берут верх и гонят мечту. Уж сколько раз твердили, что нас пошлют далеко, и столько раз мы этому верили, и столько раз это не сбывалось! Мы вдруг как будто просыпались после сна.

— Все это брехня! Нас слишком часто охмуряли. Не очень-то верь и не порть себе кровь.

Солдаты опять расходятся по своим углам; у некоторых в руке легкая, но важная ноша — письмо.

— Эх, надо написать,— говорит Тирлуар,— недели не могу прожить, чтобы не написать домой. Ничего не поделаешь!

— Я тоже,— говорит Эдор,— я должен написать женке.

— Здорова твоя Мариетта?

— Да, да. С ней все в порядке.

Некоторые уже примостились для писания. Барк стоит, разложив бумагу на записной книжке в углублении стены: на него словно нашло вдохновение. Он пишет, пишет, согнувшись, с остановившимся взглядом, поглощенный своим делом, словно скачущий всадник.

У Ламюза нет воображения; он сел, положил на колени пачку бумаги, послюнил карандаш и перечитывает последние полученные им письма: он не знает, что написать еще, кроме того, что уже написал, но упорно хочет сказать что-то новое.

От маленького Эдора веет нежной чувствительностью; он скрючился в земляной нише. Он держит в руке карандаш, сосредоточился и, не отрываясь, смотрит на бумагу; он мечтательно глядит, вглядывается, что-то видит, его озаряет другое небо. Взгляд Эдора устремлен туда. Эдор словно разросся в великана и достигает родных мест...

Именно в эти часы люди в окопах становятся опять, в лучшем смысле слова, такими, какими были когда-то. Многие предаются воспоминаниям и опять заводят речь о еде.

Под грубой оболочкой начинают биться сердца; люди невольно бормочут слова любви, вызывают в памяти былой свет, былые радости: летнее утро, когда в свежей зелени сада сияет белизной сельский дом или когда в полях на ветру медлительно и сильно колышутся хлеба и рядом беглой женственной дрожью вздрагивают овсы; или зимний вечер, стол, сидящих женщин и их нежность и ласковую лампу, и тихий свет ее жизни, и ее одежду — абажур.

Между тем Блер принимается за начатое кольцо: он надел еще бесформенный алюминиевый кружок на круглый кусочек дерева и обтачивает его напильником. Он усердно работает, изо всех сил думает: на его лбу обозначаются две морщины. Иногда он останавливается, выпрямляется и ласково смотрит на свое изделие, словно оно тоже глядит на него.

— Понимаешь? — сказал он мне однажды о другом кольце.— Дело не в том, хорошо это вышло или скверно. Главное, я сам это сделал для жены, понимаешь? Когда меня одолевала тоска и лень, я глядел на эту карточку (он показал фотографию толстой женщины), и тогда мне опять становилось легко работать над этим кольцом. Можно сказать, мы сделали его вместе, понимаешь? Можно сказать, кольцо было мне добрым товарищем, и я с ним простился, когда отправил его моей хозяйке.

Теперь он вытачивает новое кольцо. С медным ободком. Блер работает рьяно. Он вкладывает в эту работу всю душу и хочет как можно лучше выразить свое чувство; у него своя каллиграфия.

Почтительно склоняясь над легкими, убогими «драгоценностями», такими маленькими, что большая огрубевшая рука не может их удержать и роняет, эти люди, сидящие в голых ямах, кажутся еще более дикими, еще более первобытными, но вместе с тем и более человечными, чем в любом другом облике.

Невольно возникает мысль о первом изобретателе, праотце художников, который пытался придать долговечным материалам образ всего, что он видел, и вдохнуть в них душу всего, что чувствовал.

* * *

— Идут! Идут! — возвещает шустрый Бике, исполняющий в нашей части траншеи обязанности швейцара.— Их целая куча!

Действительно, появляется туго затянутый, наглухо застегнутый унтер и, помахивая ножнами от сабли, кричит:

— А ну, проваливай! Говорят вам, проваливай! Чего вы тут околачиваетесь? Живо! Чтоб я вас больше не видел в проходе!

Все нехотя отходят. Некоторые, в сторонке, медленно, постепенно погружаются в землю.

Идет рота ополченцев, присланная сюда для земляных работ по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломами, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги.

Мы их разглядываем. Они проходят один за другим, исчезают. Это скрюченные старички с пепельными

щеками или толстяки, страдающие одышкой, затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели; пуговиц не хватает; сукно потертое, дырявое.

Наши зубоскалы, Барк и Тирет, прижавшись к стене, рассматривают их сначала молча. Потом начинают улыбаться.

— Парад метельщиков! — говорит Тирет.

— Посмеемся! — возвещает Барк.

Кое-кто из старичков забавен. Вот у этого, что плетется в шеренге, плечи покатые, как у бутылки; у него очень узкая грудь и тощие ноги, и все-таки он пузатый.

Барк не выдерживает:

— Эй ты, барон Дюбидон!

— Ну и пальтецо! — замечает Тирет, заметив человека, у которого вся шинель в разноцветных заплатах. Он окликает ветерана:

— Эй, дядя с образчиками!.. Эй ты, послушай!

Тот оборачивается и глядит на Тирета, разинув рот.

— Дяденька, послушай, будь любезен, дай мне адрес твоего лондонского портного!

Человек с поношенным, морщинистым лицом хихикает. Услышав оклик Барка, он останавливается, но поток людей, идущих за ним, сейчас же уносит его дальше.

Проходит несколько менее замечательных фигур, и вдруг появляется новая жертва для шутников. На красной жесткой шее растет что-то вроде грязной бараньей шерсти. Колени согнуты, тело подалось вперед, спина колесом; этот ополченец еле держится на ногах.

— Глянь,— орет Тирет, указывая на него пальцем,— вот знаменитый человек-гармошка! На ярмарке вы бы платили, чтобы поглазеть на него. А здесь — задаром.

Ополченец вполголоса ругается. Кругом хохочут. Этого достаточно, чтобы подзадорить остряков; желание вставить свое словцо и позабавить нетребовательную публику побуждает их вышучивать старых товарищей по оружию, которые трудятся днем и ночью на окраинах великой войны, подготовляя и приводя в порядок поля битв.

В издевке принимают участие и другие зрители. Сами жалкие, они глумятся над людьми, еще более жалкими.

— Погляди-ка на этого! А вон тот!

— Нет, полюбуйся на того низкозадого: у него зад по земле волочится! Эх ты, недоносок! Не достать тебе до неба! Эй!

— А этот верзила! Конца-краю ему нет! Вот так небоскреб! Это человек сто́ящий! Да, ты человек стоящий, старина!

«Стоящий человек» идет мелкими шажками; он держит кирку прямо перед собой, как свечу; у него искаженное лицо, весь он скрючился от «прострела».

— Эй, дедушка, хочешь два су? — спрашивает Барк, хлопая его по плечу, когда тот проходит совсем близко.

Оскорбленный ополченец ворчит:

— Ах ты чертов шалопай!

Тогда Барк пронзительным голосом кричит:

— Ну, ты поаккуратней, старый слюнтяй, лохань с дерьмом!

Ополченец резко поворачивается и в бешенстве что-то бормочет.

— Э-э,— смеясь, кричит Барк,— да он и сердиться умеет, рухлядь. Он и драться готов, скажите, пожалуйста! Его можно было бы испугаться, будь ему хотя бы на шестьдесят лет меньше!

— И если бы он не нахлестался,— без всякого основания прибавляет Пепен, уже отыскивая взглядом другие жертвы.

Показывается впалая грудь последнего старика, и вскоре исчезает его сутулая спина.

Шествие ветеранов, изможденных, измаранных окопной грязью, заканчивается; зрители, эти мрачные троглодиты, наполовину вылезшие из своих зловонных пещер, провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами.

А время идет; небо тускнеет, предметы чернеют; вечер примешивается к слепой судьбе и вливает грусть в темную невежественную душу людей, заживо погребенных в окопах.

В сумерках раздается топот, гул и говор,— это прокладывает себе дорогу новый отряд.

— Марокканцы!

Они проходят. Коричневые, желтые, бурые лица; редкие или густые курчавые бороды; зеленовато-желтые шинели; грязные каски с изображением полумесяца вместо нашего значка — гранаты. Лица, широкие или, наоборот, угловатые и заостренные, блестят, как новенькие медные монеты; глаза сверкают, как шарики из слоновой кости и оникса. Время от времени в шеренге выделяется черная, словно уголь, рожа рослого сенегальского стрелка. За ротой несут красный флажок с изображением зеленой руки.

На них глядят молча. Их никто не задевает. Они внушают почтение и даже некоторый страх.

Между тем африканцы кажутся веселыми и оживленными. Они, конечно, идут в окопы первой линии. Это их обычное место; их появление — признак предстоящей атаки. Они созданы для наступления.

— Они да еще семидесятипятимиллиметровки! Можно сказать, им надо поставить свечку! В трудные дни марокканскую дивизию всегда посылали вперед!

— Они не могут шагать в ногу с нами. Они идут слишком быстро. Их уж не остановишь...

Это черные, коричневые, бронзовые черти; некоторые из них суровы; они молчаливы, страшны, словно капканы. Другие смеются; их смех звенит, как странная музыка экзотических инструментов; сверкает оскал зубов.

Зрители пускаются в рассказы о свойствах этих «арапов»: об их неистовстве в атаках, их страсти к штыковым боям, их беспощадности. Повторяют истории, которые марокканцы охотно рассказывают сами, и все почти в тех же выражениях и с одинаковыми жестами: «Немец поднимает руки: «Камрад! камрад!» — «Нет, не камрад!» И мимически изображают штыковой удар: как штык всаживают в живот сверху и вытаскивают снизу, подпирая ногой.

Один из стрелков, проходя мимо нас, слышит, о чем мы говорим. Он смотрит на нас, улыбается во весь рот и повторяет, отрицательно качая головой: «Нет, не камрад, никогда не камрад, никогда! Рубить башка!»

— Они и впрямь другой породы; и кожа у них точно просмоленная парусина,— говорит Барк, хотя он и

сам далеко не робкого десятка.— На отдыхе им скучно. Они только и ждут, чтоб начальник положил часы в карман и скомандовал: «Вперед!»

— Что и говорить, это и есть настоящие солдаты!

— А мы не солдаты, мы — люди,— говорит толстяк Ламюз.

Темнеет, и все-таки эти верные ясные слова озаряют лица тех, кто ждет здесь по целым дням, кто ждет здесь месяцами.

Это — люди, заурядные, ничем не примечательные люди, внезапно вырванные из привычной для них жизни. В массе своей они невежественны, равнодушны, близоруки, полны здравого смысла, который иногда им изменяет; они склонны идти, куда велят, делать, что прикажут, выносливы в работе и способны долго терпеть.

Это простые люди, которых еще больше упростили; здесь поневоле усиливаются их главные инстинкты: инстинкт самосохранения, себялюбие, стойкая надежда выжить, удовольствие поесть, попить и поспать.

Но иногда из мрака и тишины их великих человеческих душ вырываются глубокие вздохи, крики страдания...

Стемнело; почти ничего не видно; сначала глухо, где-то вдали, потом все звучней раздается команда:

— Второй полувзвод! Стройсь!

Мы строимся. Начинается перекличка.

— Пошли! — говорит капрал.

Цепь приходит в движение. Перед складом инструментов остановка, топтание на месте. Каждого нагружают лопатой или киркой. В темноте их раздает какой-то унтер.

— Тебе — лопата. Проходи! Тебе — тоже лопата, тебе — кирка! Ну, живо! Валяй!

Все идут через проход, перпендикулярный траншее, прямо вперед, к подвижной границе, к новой, живой, страшной границе.

Слышится прерывистое мощное дыхание: в небе невидимый самолет описывает большие круги, спускаясь все ниже, и гул его заполняет пространство. Впереди, справа, слева — везде раздаются раскаты грома, и в темноте сверкают короткие яркие вспышки.

III

СМЕНА

Сероватая заря с трудом отделяется от еще бесформенной черноты. Между отлогой дорогой, которая справа ведет вниз из мрака, и темной тучей леса Алле, где слышишь, но не видишь, как приготовляются к отправке и отходят боевые обозы,— простирается поле.

Мы, солдаты 6-го батальона, пришли сюда к концу ночи. Мы составили ружья в козлы и, озаренные тусклым светом, увязая в грязи, окутанные туманом, стоим синеватыми кучками или одинокими призраками; стоим и ждем; все смотрят на дорогу, которая ведет туда, вниз. Мы ждем остальную часть полка: 5-й батальон, который занимал первую линию окопов и выступил после нас...

Вдруг глухой гул...

— Вот они!

На западе показывается какая-то большая черная толпа; она надвигается, словно ночь, на сумерки дороги.

Наконец-то! Кончилась проклятая смена, которая началась вчера в шесть часов вечера и продолжалась всю ночь. Последний солдат вышел из последней траншеи.

На этот раз пребывание в окопах было ужасно. Впереди была восемнадцатая рота. Она сильно пострадала: восемнадцать убитых и около пятидесяти раненых; за четыре дня из каждых трех солдат выбыло по одному, а ведь атаки не было — только бомбардировка.

Мы это знаем, и по мере того как приближается истерзанный батальон, мы шлепаем по грязи и, узнавая друг друга, наклоняемся и говорим:

— Восемнадцатая рота!.. Каково, а?

При этом каждый думает: «Если так будет продолжаться, что станется с нами со всеми? Что будет со мной?»

Семнадцатая, девятнадцатая и двадцатая роты подходят одна за другой и составляют ружья.

— Вот и восемнадцатая!

Она приходит позже всех: она была на передовой, и ее сменили последней.

День чуть прояснился; показался белесый свет.

Впереди — капитан, ротный командир. Он с трудом

идет по дороге, опираясь на палку: он был когда-то ранен на Марне; боль усиливается от ревматизма и еще от душевного страдания. Он надел капюшон, опустил голову и как будто идет за гробом; видно, что он задумался и действительно идет в похоронной процессии.

Вот и рота.

Ее ряды расстроены. У нас сжимается сердце. В этом шествии батальона восемнадцатая рота явно короче трех остальных.

Я выхожу на дорогу и иду навстречу солдатам восемнадцатой. Уцелевшие люди пожелтели от глины и пыли: они как будто окрашены в цвет хаки. Сукно затвердело от присохшей рыжей грязи; полы шинели, словно концы досок, хлопают по желтой коре, которая покрывает колени. Лица исхудалые, землистые; глаза расширились и лихорадочно блестят. От пыли и грязи стало еще больше морщин.

Среди этих солдат, возвращающихся «оттуда», поднявшихся с ужасного дна, стоит оглушительный шум. Они говорят все сразу, наперебой, очень громко, размахивают руками, смеются и поют.

Можно подумать, что на дорогу высыпала праздничная толпа.

Вот второй взвод; во главе идет долговязый лейтенант, затянутый в шинель, похожую на свернутый зонтик. Я следую за солдатами, пускаю в ход локти и проталкиваюсь к отделению Маршаля; эта часть пострадала больше всех; из одиннадцати товарищей, не разлучавшихся целых полтора года, уцелело только три человека, включая капрала Маршаля.

Капрал меня увидел. Он радостно вскрикивает и улыбается во весь рот; он ослабляет свой ружейный ремень и протягивает мне обе руки.

— Эй, друг, как живешь? Как дела?

Я отвожу взгляд и почти шепотом спрашиваю:

— Бедняга, значит, круто пришлось?

Он сразу мрачнеет.

— Да, старина, на этот раз было страшное дело... Барбье убит.

— Да, мне говорили... Барбье!..

— В субботу, в одиннадцать часов вечера. Верхнюю часть спины у него отхватило снарядом, словно бритвой отрезало,— говорит Маршаль.— Бессу осколком пробило живот и желудок. Бартелеми и Бобез ранены в голову и шею. Всю ночь пришлось бегать по траншее, чтоб укрыться от ураганного огня. Малыш Годфруа — ты его знаешь? — ему выдрало внутренности, вся кровь вытекла сразу, как из опрокинутой лохани; он был такой маленький, а сколько крови в нем было, прямо диву даешься: в траншее хлынул целый ручей, по крайней мере в пятьдесят метров! Куньяру осколками искрошило ноги. Когда его подняли, он еще дышал. Это было на сторожевом посту. Я был вместе с ними. Но когда упал этот снаряд, меня там не было: я пошел в окопы спросить, который час. Я оставил на посту ружье, а когда вернулся, смотрю: его согнуло пополам, ствол скрутило, как штопор, а часть приклада превратилась в опилки. Так пахло свежей кровью, что меня затошнило.

— А Монден тоже, да?

— Его на следующее утро, значит, вчера в землянке; ее разрушил «чемодан». Монден лежал: ему раздробило грудь. А говорили тебе о Франко? Он был рядом с Монденом. Обвалом ему перешибло позвоночник. Когда его отрыли и усадили на землю, он заговорил; он наклонил голову набок, сказал: «Помираю»,— и помер. С ним был еще Вижиль; на теле ничего не было, но голову расплющило в лепешку; большая, широченная,— вот такая! Он лежал плашмя на земле, черный, его нельзя было узнать; словно это была его тень, тень, какую иногда видишь, когда ходишь с фонарем ночью.

— Вижиль! Да ведь он был призыва тринадцатого года, совсем мальчуган! А Монден и Франко, такие славные ребята, хоть и с нашивками!.. Вот и нет еще двух хороших товарищей!

— Да,— говорит Маршаль.

Но его уже окружает целая орава товарищей; его окликают и дергают со всех сторон. Он отбивается, отвечает на их шутки, и все толкаются и смеются.

Я перевожу взгляд с одного на другого; лица весе-

лые и, хотя искажены усталостью и покрыты корой грязи, выражают торжество.

Да чего там! Если бы на передовых позициях солдатам давали вино, я бы сказал: «Они все пьяны!»

Я приглядываюсь к одному из уцелевших солдат; он что-то лихо напевает и шагает в такт, как гусары в песенке; это барабанщик Вандерборн.

— Эй, Вандерборн! Да ты, кажется, доволен?

Вандерборн, обычно спокойный, сдержанный, кричит:

— Мой черед еще не пришел! Видишь: вот он — я!

И с сумасшедшим видом он размахнулся и хлопнул меня по плечу.

Понимаю...

Если эти люди, несмотря ни на что, счастливы, выйдя из ада, то именно потому, что они оттуда вышли. Они вернулись, они спасены! Еще раз смерть их пощадила. По установленному порядку, каждая рота идет на передовые позиции раз в шесть недель! Шесть недель! На войне у солдат, и в важных и в незначительных делах, детская психология: они никогда не заглядывают далеко вперед. Они думают только о завтрашнем дне, живут изо дня в день. Сегодня каждый из этих людей уверен, что хоть еще немножко, а поживет!

Вот почему, несмотря на чудовищную усталость и на свежую кровь, которой они забрызганы, и на гибель братьев, вырванных из их рядов, несмотря на все, вопреки себе самим, они рады, что уцелели, они торжествуют, наслаждаясь тем, что еще стоят на ногах.

IV

ВОЛЬПАТ И ФУЙЯД

Мы пришли на стоянку, кто-то крикнул:

— А где же Вольпат?

— А Фуйяд? Где они?

Их забрал и увел на передовую 5-й батальон. Мы должны были встретиться с ними на стоянке. Их нет. Два человека из нашего взвода пропали.

— Эх, распроклятая жизнь! Вот что значит давать людей! — зарычал сержант.

Доложили капитану; он разразился бранью и сказал:

— Мне эти люди нужны! Найти их немедленно! Ступайте!

Капрал Бертран вызвал Фарфаде и меня из амбара где мы уже легли и засыпали:

— Надо пойти искать Вольпата и Фуйяда!

Мы вскочили и отправились, охваченные тревогой. Два товарища, взятые 5-м батальоном, попали в эту адскую смену. Кто знает, где они и что с ними стало!

...Мы опять поднимаемся по откосу. Мы идем по той же дороге, но в обратном направлении, по той же длинной дороге, по которой шли с самой зари. Хотя мы взяли с собой только винтовки, мы чувствуем себя усталыми, сонными, скованными среди печальной равнины, под затуманенным небом. Вскоре Фарфаде начинает тяжело дышать. Сначала он немного говорил, но от усталости замолчал. Он храбр, но хрупок и за всю свою прежнюю жизнь не научился пользоваться ногами; с времен своей первой исповеди он сидел в канцелярии мэрии, между печью и старыми пыльными папками, и только писал бумаги.

В ту минуту, когда мы выходим из лесу и, скользя, увязая в грязи, вступаем в зону ходов сообщения, впереди показываются две тени. Подходят два солдата: видны округлые очертания вещевых мешков и стволы ружей. Двойной колыхающийся призрак обозначается явственней.

— Это они!

У одной тени большая белая перевязанная голова.

— Раненый! Да это Вольпат!

Мы бежим к товарищам. Наши сапоги, хлюпая, увязают в грязи; в подсумках от тряски позвякивают патроны.

Тени останавливаются и ждут нас.

— Наконец-то! — кричит Вольпат.

— Ты ранен, друг?

— Что? — спрашивает он.

Сквозь плотную повязку он ничего не слышит. Приходится кричать. Мы подходим, кричим. Тогда он отвечает:

— Это ничего!.. Мы возвращаемся из той дыры, куда пятый батальон посадил нас в четверг.

— Вы с тех пор и оставались там? —орет Фарфаде. Его визгливый, почти женский голос хорошо доходит даже до перевязанных ушей Вольпата.

— Ну да,— отвечает Фуйяд.— Черт бы их побрал! Ты думаешь, мы улетели на крылышках или — еще чище — ушли на своих на двоих без приказания?

Оба садятся на землю. Лицо Вольпата выделяется желтовато-черным пятном; голова, обмотанная холщовыми тряпками, завязанными на макушке в большой узел, кажется кучей грязного белья.

— Бедняги! Про вас забыли!

— Да! — восклицает Фуйяд.— Забыли. Четыре дня и четыре ночи в яме, под градом пуль! И, кроме того, воняло дерьмом.

— Еще бы! — говорит Вольпат.— Это тебе не обычный пост: пошел в смену и вернулся. Этот пост — попросту воронка, похожая на всякую другую воронку от снаряда. В четверг нам сказали: «Стойте здесь и стреляйте безостановочно!» Вот что нам сказали. На следующий день к нам сунул нос парень-связист из пятого батальона. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает. «Да вот стреляем; нам приказано стрелять, мы и стреляем. Раз приказано, значит, так и нужно; мы ждем, чтобы нам приказали делать что-нибудь другое». Парень смылся; у него был не очень-то храбрый вид, он никак не мог привыкнуть к пальбе. Он говорил нам: «Будьте начеку!»

— У нас на двоих,— говорит Фуйяд,— была одна буханка хлеба, ведро вина (его нам дали в восемнадцатой роте) и целый ящик патронов. Мы палили и попивали винцо. Из осторожности мы приберегли несколько патронов и краюху хлеба; но вина не оставили ни капли.

— И плохо сделали,— говорит Вольпат,— пить хочется. Ребята, есть у вас чем промочить глотку?

— У меня осталось с четвертинку,— отвечает Фарфаде.

— Дай ему! — говорит Фуйяд, указывая на Вольпата.— Ведь он потерял много крови. А мне только пить хочется.

Вольпата трясет, и среди тряпок, намотанных на голову, его раскосые глаза лихорадочно блестят.

— Э-эх, хорошо! — выпив, говорит он.

— А ведь мы словили двух бошей,— прибавляет он, выливая (как этого требует вежливость) последние капли вина из фляги Фарфаде.— Они ползли по равнине и сослепу попали в нашу дыру, как кроты в ловушку. Дурачье! Мы их сцапали. Ну, вот. Мы стреляли тридцать шесть часов подряд, так что у нас больше не оставалось запаса. Тогда мы зарядили наши «хлопушки» последними патронами и стали ждать, не отходя от этих увальней-бошей. Парень-связист, верно, забыл сказать в своей части, что мы сидим в этой яме. А вы у себя в шестом батальоне забыли вытребовать нас обратно; восемнадцатая рота про нас тоже забыла. Мы ведь были не на обычном посту, где смена происходит в определенное время, как в карауле; я уж думал, что нам придется торчать там до самого возвращения полка. В конце концов нас открыли санитаришки из двести четвертого полка: они рыскали по равнине, подбирали раненых. Они о нас сообщили. Тогда нам было приказано убираться немедленно. Мы снарядились, посмеиваясь: хорошее «немедленно», нечего сказать! Мы развязали бошам ноги, повели их, сдали в двести четвертый полк и вот пришли сюда. По дороге мы даже подобрали сержанта: он укрылся в яме и боялся выйти. Мы его выругали; это его подбодрило; он нас поблагодарил; его зовут Сасердот.

— А твоя рана, браток?

— Да я ранен в уши. Недалеко взорвался «чемодан». Как бахнет! Моя голова, можно сказать, проскочила между осколками, а вот ушам досталось.

— Если бы ты видел,— говорит Фуйяд,— оба уха висят, как лохмотья, прямо глядеть противно. У нас было с собой два бинта, а «помощники смерти» дали нам еще один. Он и обмотал башку тремя.

— Ну, давайте ваши пожитки! Идем!

Мы с Фарфаде делим между собою ношу Вольпата. Фуйяд, мрачный от жажды, ворчит и упрямо не хочет отдавать винтовку и снаряжение.

Мы медленно трогаемся в путь. Всегда забавно идти не в строю; это случается так редко, что удивляешься, и бывает приятно. Нас всех бодрит дыхание свободы. Мы идем по полю, словно ради удовольствия.

— Прогуливаемся! — гордо заявляет Вольпат.

Мы подходим к повороту на вершине откоса. Вольпат предается радужным надеждам.

— Да, старина, в конце концов у меня хорошая рана. Меня эвакуируют. Непременно!

Он моргает глазами; они поблескивают среди накрученных белых бинтов, красноватых с обеих сторон.

Внизу, в деревне, часы бьют десять.

— Плевать мне на время! — говорит Вольпат.— Больше мне до него дела нет.

Он начинает болтать. Его слегка лихорадит; он говорит оживленней и быстрей, чем обычно, с удовольствием замедляя шаг.

— Мне, как пить дать, привяжут к шинели красный ярлык и пошлют в тыл. Меня поведет вежливый господин и скажет: «Пожалуйте сюда, теперь поверните сюда... Так... Бедняга!..» Потом полевой лазарет, санитарный поезд; дамочки из Красного Креста всю дорогу будут за мной ухаживать, как за Жюлем Крапле; потом лазарет в глубоком тылу. Койки с белыми простынями; посреди палаты гудит печь; люди, обязанные заниматься нами; казенные шлепанцы и ночной столик: мебель! А в больших госпиталях! Вот где хорошо кормят! Там мне будут подавать вкусные обеды; там я буду принимать ванны, брать все, что дают. И сласти! Не придется из-за них драться до крови. Ни черта не придется делать: положу руки поверх одеяла, и они будут лежать, как дорогие вещи, как игрушки! А ногам под одеялом будет тепло-тепло; они будут греться сверху донизу, накаляться добела, а пальцы расцветут, как букеты фиалок...

Вольпат останавливается, роется в карманах, вынимает свои знаменитые суассонские ножницы и что-то еще.

— Погляди! Видел?

Это фотография его жены и двух сыновей; он мне ее уже не раз показывал. Я смотрю и одобряю.

— Меня отправят подлечиться,— говорит Вольпат,— и пока мои уши будут прирастать, жена и малыши будут глядеть на меня, а я — на них. И пока уши будут расти, как салат,— война подойдет к концу... Ну, русские поднажмут... Мало ли что может быть...

Он убаюкивает себя этим мурлыканьем, тешит счастливыми предсказаниями, думает вслух, уже как бы отделившись от нас и празднуя свое особое счастье.

— Разбойник! — кричит Фуйяд.— Ну и повезло ж тебе, чертов разбойник.

Да и как ему не завидовать? Он уедет на целый месяц, а то и на два, а то и на три месяца, и на это время, вместо того чтобы бедствовать и подвергаться опасности, превратится в рантье!

— Сначала,— говорит Фарфаде,— мне было чудно, когда кто-нибудь хотел получить «выгодную рану». А теперь, что бы там ни говорили, теперь я понимаю, что только на это и может надеяться бедный солдат, если он еще не рехнулся.

* * *

Мы подходим к деревне. Идем вдоль леса.

Вдруг на опушке, против солнца, возникает женская фигура. Игра света создает вокруг нее сияющую рамку. Деревья составляют фон из лиловых штрихов. Стройная женщина! Ее голова сияет светом белокурых волос; на бледном лице выделяются огромные ночные глаза. Это ослепительное видение смотрит на нас, дрожа и внезапно исчезает, как гаснущий в чаще факел.

Это появление и исчезновение так взволновало Вольпата, что он теряет нить разговора.

— Прямо лань, а не женщина!

— Нет,— не расслышав, говорит Фуйяд.— Ее зовут Эдокси. Я ее знаю: я ее уже видел. Беженка. Не знаю, откуда она. Живет в какой-то семье, в Гамблене.

— Она худенькая, но красивая,— замечает Вольпат.— Хорошо бы ее приголубить!.. Лакомый кусочек, настоящий цыпленочек!.. Ну и глазищи у нее!..

— Затейница! — сказал Фуйяд.— На месте не устоит! Узнаешь ее по всклокоченным белокурым волосам. Видишь ее здесь. И вдруг — хлоп! — нет ее. И, знаешь, не боится ничего. Иногда она добирается почти до первой линии. Ее даже видали в поле, впереди окопов. Занятная!

— Гляди, вот она опять! Она не теряет нас из виду. Неужто мы ее интересуем?

В эту минуту силуэт, очерченный солнечным светом, появляется на другом конце опушки.

— Ну, мне на женщин наплевать! — объявляет Вольпат, опять предаваясь мечтаниям о своей эвакуации.

— Во всяком случае, в нашем взводе один парень здорово в нее втюрился. Да вот и он; легок на помине!..

Справа из зарослей высунулась голова Ламюза, похожая на морду рыжего кабана.

Он шел по следам этой женщины. Заметил ее, остановился как вкопанный, уже готов был броситься к ней. Но наткнулся на нас.

Узнав Вольпата и Фуйяда, толстяк Ламюз радостно вскрикнул. В эту минуту он забыл все и думал только о том, как бы поскорей взять у нас и понести мешки, ружья и сумки.

— Давайте все это мне! Я отдохнул. Ну, давайте!

Он хотел нести все. Мы с Фарфаде охотно избавились от багажа Вольпата, а Фуйяд, выбившись из сил, согласился отдать ему свои сумки и ружье.

Ламюз превратился в ходячий склад. Под огромной ношей он почти исчез и, согнувшись, подвигался мелкими шажками.

Но чувствовалось, что им владеет одна мысль: он поглядывал в сторону, он искал женщину, к которой чуть не бросился.

Останавливаясь, чтобы поправить багаж, передохнуть и отереть пот, он каждый раз украдкой озирался и посматривал на опушку леса. Но больше он не видел этой женщины.

А я увидел ее опять! И на этот раз мне показалось, что ее интересовал кто-то из нас.

Она мелькала там, налево, в зеленой чаще. Держась за ветку, она нагибалась; ее ночные глаза сверкали; бледное лицо, ярко освещенное с одной стороны, сияло, как полумесяц. Она улыбалась.

Проследив направление ее взгляда, я обернулся и увидел Фарфаде; он тоже улыбался.

Потом она скрылась в листве, унося с собой эту ответную улыбку...

Так мне открылась тайна близости этой гибкой, хрупкой, ни на кого не похожей цыганки и выделявшегося среди нас тонкого, стройного Фарфаде. Ясно...

Ламюз не видел ничего: он был ослеплен и перегружен ношей, которую взял у Фарфаде и у меня; он старался сохранить равновесие, ничего не уронить, внимательно глядел себе под ноги и с трудом переступал.

У него был несчастный вид. Он стонал, задыхался, что-то тяготило его. В его хриплом прерывистом дыхании чудилось биение и ропот сердца. Глядя на перевязанного Вольпата и на сильного полнокровного толстяка Ламюза, тащего неудовлетворенный порыв, я вижу, что из них опасней ранен не тот, кого считают раненым

Наконец мы спускаемся к деревне.

— Сейчас попьем,— говорит Фуйяд.

— Меня эвакуируют,— говорит Вольпат.

Ламюз кряхтит.

Товарищи вскрикивают, подбегают и собираются на маленькой площади, где высится церковь с двумя башенками, настолько поврежденная снарядом, что ее трудно узнать.

V

СТОЯНКА

Белесая дорога в ночном лесу странно перерезана и загромождена тенями. Словно по волшебству, лес вышел из своих пределов и катится в глубины мрака. Это полк идет на новую стоянку.

Впотьмах тяжелые ряды теней, нагруженных с головы до ног, теснятся и сталкиваются; каждая волна, на которую напирают сзади, натыкается на ту, что катится впереди. По бокам отдельно движутся более стройные призраки — начальники. Над этой плотной толпой, сдавленной откосами, поднимается глухой гул — восклицания, обрывки беседы, слова команды, кашель и песни Этот шум сопровождается топотом ног, лязгом штыков, металлических манерок и кружек, рокотом и грохотом шестидесяти фургонов обоза первого разряда и обоза второго разряда, которые следуют за обоими батальонами. Вся эта толпа шагает, вытягивается вверх по дороге и под высоким куполом ночи задыхаешься от запаха, похожего на запах львов в клетке.

Шагая в строю, не видишь ничего, но когда в давке натыкаешься на соседа, различаешь жестяную миску,

голубоватую стальную каску, черный ствол ружья. Иногда, при свете ослепительных искр, выбитых огнивом, или при свете красного пламени, вспыхивающего на крошечной головке спички, замечаешь за близкими четкими очертаниями рук и лиц неровные ряды плеч и касок; колыхаясь, как волны, они идут на приступ непроницаемого мрака. Потом все гаснет, и, пока шагают ноги, глаза каждого солдата не отрываются от того предполагаемого места, где должна торчать спина идущего впереди товарища.

После нескольких остановок тяжело опускаешься на мешок у пирамиды ружей, которые составляешь по свистку с лихорадочной поспешностью и удручающей медлительностью, не видя ничего в чернильных потемках; но вот брезжит заря, ширится, овладевает пространством. Стены мрака рушатся. Опять мы присутствуем при величественном зрелище: над нашей вечно бродячей ордой занимается день.

Из этой походной ночи выходишь, словно по концентрическим кругам: сначала менее густая тень, потом — полутень, потом — тусклый свет. Ноги одеревенели, спины ноют, плечи болят. Лица остаются серо-черными, словно с трудом вырываешься из ночи; теперь никогда уже не удается отделаться от нее окончательно.

На этот раз большое стадо идет на отдых. Где нам придется прожить эту неделю? Думают (но никто не знает точно), что в Гошен-л'Аббе. Об этой деревне рассказывают чудеса.

— Говорят, там не житье, а рай!

При бледном свете в рядах товарищей начинаешь различать фигуры и лица; люди опустили голову, зевают во весь рот. Раздаются возгласы:

— Никогда еще не было такой стоянки! Там штаб бригады! Там полевой суд! Там у торговцев можно найти все.

— Раз есть штаб бригады, значит, дело пойдет!

— А как ты думаешь, найдется там для нас обеденный стол?

— Все, что хочешь, говорят тебе!

Какой-то пророк зловеще покачивает головой.

— Какая это будет стоянка, я не знаю: я там никогда не бывал,— говорит он.— Знаю только, что она будет не лучше других.

Но ему не верят: мы выходим из шумной лихорадочной ночи; леденея от холода, мы подвигаемся на восток, к неизвестной деревне, которая явит нам дневной свет, и всем кажется, что мы приближаемся к земле обетованной.

* * *

На рассвете мы подходим к домам, которые еще дремлют у подножия откоса, за плотной завесой серых туманов.

— Пришли!

У-у-ух! Мы отмахали за ночь двадцать восемь километров...

Но что это?.. Мы не останавливаемся. Проходим мимо домов, и постепенно их опять окутывает мгла и саван тайны.

— Значит, придется шагать еще долго. Это — там, там!

Мы шагаем, как автоматы; мы охвачены каким-то оцепенением, ноги каменеют, суставы скрипят, хрустят, мы готовы кричать от боли.

День запаздывает. Вся земля покрыта пеленой туманов. Холод такой, что на остановках измученные люди не решаются присесть и ходят взад и вперед, словно призраки, в сырой темноте. Колючий зимний ветер хлещет нас по лицу, подхватывает, уносит слова и вздохи.

Наконец солнце пробивает пар, нависший над нами и пронизывающий нас сыростью. Среди низких туч открывается волшебная поляна.

Солдаты потягиваются, на этот раз действительно просыпаются и приподнимают голову к серебряному свету первых лучей.

Очень скоро солнце начинает припекать, и становится слишком жарко.

Солдаты в строю уже задыхаются, потеют и ворчат еще сильней, чем недавно, когда они лязгали зубами от холода и когда туман проводил словно мокрой губкой по лицам и рукам.

Местность, по которой мы проходим в это раскаленное утро,— меловая страна.

— Сволочи! Они вымостили дорогу известняком!

Дорога ослепляет нас белизной; теперь над нашим шествием нависает большая туча сухой извести и пыли.

Лица багровеют и лоснятся; у некоторых они налиты кровью и словно вымазаны вазелином; щеки и лбы покрываются корой, которая прилипает к ним и крошится. Ноги теряют даже приблизительную форму ног, будто их окунули в кадку штукатура. Сумки и ружья обсыпаны пылью, и вся наша орда оставляет справа и слева на протяжении всего пути молочно-белый след на придорожных травах.

И вдруг, в довершение всего, окрик:

— Правей! Обоз!

Мы бросаемся вправо; дело не обходится без толкотни.

По дороге с адским грохотом мчится целый обоз грузовиков — длинная вереница квадратных болидов. Проклятие! Они поднимают на своем пути столбы белой пыли, которая словно ватой окутывает землю и осыпает нас.

И вот мы одеты в светло-серый покров; на лицах белесые маски со сгустками на бровях, усах, бороде и в морщинах. Мы похожи на странных стариков.

— Вот состаримся, будем такими уродами, как сейчас,— говорит Тирет.

— У тебя даже плевки белые,— замечает Бике.

На остановках нас можно принять за ряды статуй; сквозь гипс чуть пробиваются грязные остатки человеческого облика.

Мы трогаемся в путь. Молчим. Мучаемся. Каждый шаг становится пыткой. Лица искажаются гримасами, которые застывают под белой коростой. От бесконечных усилий мы скрючились; мы изнемогаем от мрачной усталости и отвращения.

Наконец мы замечаем желанный оазис: за холмом, на другом холме, повыше, черепичные кровли среди листвы, светло-зеленой, как салат.

Там — деревня; она уже видна, но мы еще не пришли. Наш полк медленно взбирается к ней, а она как будто отступает.

В конце концов к двенадцати часам дня мы приходим на стоянку, уже казавшуюся невероятной и сказочной.

Держа ружье на плече, мерным шагом полк вступает в Гошен-л'Аббе и до краев заполняет улицу. Ведь большинство деревень в области Па-де-Кале состоит только из одной улицы. Но какой улицы! Часто она тянется на несколько километров. Здесь единственная большая улица разветвляется перед мэрией и образует две другие: деревня расположена в виде буквы Y, неровно обведенной низкими домами.

Самокатчики, офицеры, ординарцы отделяются от длинного движущегося хвоста. По мере того как мы продвигаемся, люди кучками ныряют в ворота сараев: ведь свободные жилые дома предназначены для господ офицеров и канцелярий. Наш взвод сначала ведут на один конец деревни, потом на другой,— туда, откуда мы явились (у квартирмейстеров произошло недоразумение).

Это хождение взад и вперед отнимает время; взвод, который гоняют с севера на юг и с юга на север, страшно устал и раздражен бесполезным шаганием; он проявляет лихорадочное нетерпение. Главное — как можно скорее освободиться и устроиться на стоянке, если мы хотим осуществить давно лелеемый замысел: снять у какого-нибудь местного жителя помещение со столом, за которым можно было бы есть и пить! Об этом деле, об его чудесных выгодах уже много толковали. Собрали деньги и решили на этот раз рискнуть и позволить себе такую роскошь.

Но можно ли будет это устроить? Многие помещения уже заняты. Не мы одни пришли сюда с мечтой об удобствах; придется побегать взапуски в поисках стола.

За нашей ротой идут еще три другие, а четыре уже пришли до нас, да еще будут полуказенные столовки для санитаров, писарей, ездовых, ординарцев и других; казенные столовки для унтер-офицеров и кого там еще?.. Все эти люди сильней простых рядовых; у них больше свободы действий и возможностей; они могут заблаговременно осуществить свои замыслы. И пока мы еще шагаем по четверо в ряд к сараю, отведенному для нашего взвода, на завоеванных порогах уже стоят эти волшебники и хлопочут по хозяйству.

Тирет блеет и мычит:

— Вот и хлев!

Довольно большой сарай. Рубленая солома; наши шаги поднимают облако пыли; пахнет нужником. Но это — более или менее закрытое помещение. Мы садимся и снимаем с себя ношу.

Те, кто лишний раз мечтал о каком-то рае, лишний раз остаются с носом.

— Послушай, да ведь здесь так же паршиво, как везде.

— Один черт.

— Ну да!

— Ясное дело...

Но нельзя терять время на разговоры. Предстоит изловчиться и опередить других; это называется «система И» (извернуться и изловчиться). Изо всех сил и как можно скорей! Мы спешим. Хотя поясницу ломит и ноги разбиты, мы делаем последнее неистовое усилие, от которого будет зависеть наше благополучие в течение целой недели.

Наш отряд разделяется на два патруля: они выходят рысцой, один направо, другой налево, на улицу, уже запруженную озабоченными, ищущими солдатами; все эти кучки следят одна за другой и... торопятся. Кое-где даже сталкиваются и переругиваются.

— Начнем с того конца! Сейчас же! Иначе мы прозеваем!..

Все это представляется мне каким-то отчаянным сражением между всеми солдатами на улицах только что занятой деревни.

— Нам,— говорит Мартро,— все приходится брать с бою, все!

* * *

Мы обходим дома, стучим в каждую дверь, робко здороваемся, предлагаем себя, как ненужный товар. Раздается чей-то голос:

— Мадам, нет ли у вас уголка для солдатиков? Мы заплатим.

— Нет, у меня стоят офицеры! — или: —Унтер-офицеры,— или: — Здесь столовка для музыкантов... для писарей... для почтарей... для господ санитаров из лазарета и т. д.

Сколько хлопот! Перед нами закрываются все приоткрывшиеся двери, а мы по ту сторону порога переглядываемся, и в наших глазах все меньше надежды.

— Господи! Вот увидишь, мы не найдем ничего,— ворчит Барк.— Слишком много разной швали успело устроиться до нас! Вот дерьмо!

Толпа повсюду растет. Все три улицы начинают чернеть и наполняться по закону сообщающихся сосудов. По дороге нам попадаются жители: старики, или уродливые скрюченные мужчины, или заморыши с перекошенной рожей, или молодые люди, от которых веет тайной скрытых болезней и политических связей. Много старух в нижних юбках и девушек, тучных, пухлощеких, покачивающихся, как белые гусыни.

Вдруг, между двумя домами, на какой-то улочке, мне является видение: в темноте мелькает женщина...

Это Эдокси! Эдокси, женщина-лань; это ее на равнине преследовал, как фавн, Ламюз в то утро, когда мы вели раненого Вольпата и Фуйяда и она появилась перед нами на опушке леса, как бы соединенная с Фарфаде улыбкой.

Она-то и озарила, словно неожиданное сияние, эту улочку. Но вдруг исчезла за выступом стены, и все опять погрузилось во мрак... Она здесь? Уже? Значит, она следовала за нами в нашем долгом, мучительном странствовании?.. Ее тянет к нам...

Да, это бросается в глаза: я видел ее только минуту, в светлом уборе ее волос, но заметил, что она задумчива и озабоченна.

Ламюз идет вслед за мной и ее не замечает. Я ему о ней не говорю. Он еще успеет заметить это прекрасное пламя, он рвется всем существом к этой женщине, но она убегает от него, как блуждающий огонек. Впрочем, пока мы слишком заняты делами. Надо во что бы то ни стало завоевать желанный угол. С настойчивостью отчаявшихся людей мы опыть идем на поиски. Нас увлекает за собой Барк. Он принял это дело близко к сердцу. Он весь трепещет, его обсыпанный пылью хохолок тоже дрожит. Он нас ведет, принюхиваясь к воздуху. Он предлагает нам попытаться проникнуть в эту желтую дверь. Вперед!

У желтой двери показывается согбенная фигура: поставив ногу на дорожный столб, Блер очищает ножом заскорузлый сапог и сдирает с него слой известки... Он словно занимается лепкой.

— У тебя никогда не было таких белых ног,— поддразнивает его Барк.

— Ладно, шутки в сторону,— говорит Блер,— ты не знаешь, где эта повозка?

Он поясняет:

— Хочу разыскать зубоврачебную повозку, чтобы мне вырвали последние старые костяшки и вставили челюсть. Говорят, эта повозка зубодера стоит здесь.

Он складывает нож, прячет его в карман и идет вдоль стены, поглощенный мыслью о воскрешении своей челюсти...

Лишний раз мы клянчим, как нищие, повторяя все те же словечки:

— Здравствуйте, мадам! Нет ли у вас уголка для еды? Мы заплатим, мы заплатим, ясное дело...

— Нет...

При свете низкого оконца, как в аквариуме, показывается странное плоское лицо старика, перерезанное морщинами, похожее на страницу старой рукописи.

— У тебя ведь есть сарайчик?

— В сарайчике тоже нет места: там стирают белье...

Барк подхватывает эти слова на лету:

— Все-таки, может быть, подойдет. Можно взглянуть?

— Там стирают,— бормочет женщина, продолжая подметать пол.

— Знаете,— скорчив любезную мину, говорит Барк,— мы ведь не какие-нибудь буяны, что напьются и скандалят. Можно взглянуть, а?

Баба перестает мести. Она худая и плоская. Кофта висит на ней, как на вешалке. У нее невыразительное, застывшее, словно картонное лицо. Она смотрит на нас и нерешительно, нехотя ведет нас в темную-темную глинобитную конуру, заваленную грязным бельем.

— Великолепно! — искренне восклицает Ламюз.

— Славная девчурка! — говорит Барк и треплет по щеке пухлую, румяную девочку, которая разглядывает нас, задрав грязный носик.— Мадам, это ваша?

— А этот? — решается спросить Мартро, показывая на откормленного ребенка, с тугими, как пузырь, щечками, вымазанными в варенье и пыли.

Мартро робко пытается приласкать чумазого, липкого малыша.

Женщина не удостаивает ответом.

Мы топчемся, юлим, хихикаем, словно нищие, мольбы которых еще не услышаны.

— Хоть бы эта старая стерва согласилась! — с тревогой шепчет мне на ухо Ламюз.— Здесь отлично, а везде уже занято.

— Стола нет,— наконец говорит женщина.

— О столе не беспокойтесь! — восклицает Барк.— Да вот в углу стоит старая дверь. Она будет нам столом.

— Нет, вы мне тут все разбросаете и перевернете вверх дном! — недоверчиво отвечает картонная женщина, явно жалея, что сразу же не прогнала нас.

— Право, не беспокойтесь! Да сейчас увидите сами! Эй, Ламюз, подсоби мне, дружище.

Мы кладем старую дверь на две бочки. Карга недовольно смотрит.

— Немножко почистить ее, и все будет отлично,— говорю я.

— Да, мамаша, хорошенько провести метлой: это будет лучше всякой скатерти!

Она не знает, что ответить, и смотрит на нас с ненавистью.

— У меня только два табурета, а вас-то сколько?

— Около дюжины.

— Дюжина! Господи Иисусе!

— Ничего! Устроимся! Вот здесь есть доска; вот и скамья готова. Верно, Ламюз?

— Ну, ясное дело! — отвечает Ламюз.

— Эта доска мне нужна,— заявляет женщина.— У меня до вас стояли солдаты, они уже пробовали ее взять.

— Да мы ведь не жулики,— сдержанно замечает Ламюз, чтоб не рассердить женщину, от которой зависит все наше благополучие.

— Я о вас не говорю, но, знаете, солдаты портят все. Беда с этой войной!

— Значит, сколько это выйдет, за стол напрокат и за то, чтоб что-нибудь разогреть на плите?

— Двадцать су в день,— нехотя бурчит хозяйка, словно мы у нее вымогаем эту сумму.

— Дороговато! — говорит Ламюз.

— Так платили другие, что стояли до вас. И какие были славные люди: давали нам свои харчи! Я знаю, что для солдат это нетрудно. Если, по-вашему, это дорого, я сейчас же найду других охотников на эту комнату, на этот стол и печь. Их будет меньше двенадцати. Ко мне все время ходят и заплатят подороже, если мы захотим. Подумайте, двенадцать человек!

— Я сказал: «Дороговато!», но в конце концов ладно! — спешит прибавить Ламюз.— Как, ребята?

Он задал этот вопрос только для проформы. Мы соглашаемся.

— Выпить бы! — говорит Ламюз.— Продаете винцо?

— Нет,— отвечает баба.

И голосом, дрожащим от гнева, прибавляет:

— Вы понимаете, военные власти заставляют нас продавать вино не дороже пятнадцати су! Пятнадцать су! Беда с этой проклятой войной! На ней теряешь деньги! Подумайте: пятнадцать су! Так вот я и не продаю вина. У меня, конечно, есть вино, но только для себя. Конечно, иногда, чтоб услужить, я уступаю его знакомым, людям толковым, но, вы сами понимаете, не по пятнадцати су!

Ламюз принадлежит к людям толковым. Он хватается за флягу, которая всегда висит у него на поясе.

— Дайте мне литр! Сколько будет стоить?

— Двадцать два су, продаю по своей цене. И, знаете, это только чтоб вам услужить: вы ведь военные.

Барк теряет терпение и что-то ворчит про себя. Баба бросает на него злобный взгляд и делает вид, что хочет вернуть флягу Ламюзу.

Но Ламюз окрылен надеждой наконец выпить; он багровеет, как будто вино уже разлилось по его жилам; он спешит прибавить:

— Не беспокойтесь, мамаша, это останется между нами, мы вас не выдадим!

Она стоит неподвижно и возмущается установленными ценами. И вот, охваченный страстным желанием вы-

пить, Ламюз окончательно сдается и унижается до того, что говорит:

— Ничего не поделаешь, мадам. Известно, народ военный! Что они смыслят!

Хозяйка ведет нас в погреб. Он уставлен тремя бочками внушительных размеров.

— Это и есть ваш запасец?

— Шельма старуха,— ворчит Барк.

Ведьма оборачивается и злобно восклицает:

— А вы бы, небось, хотели, чтоб мы разорились на этой проклятой войне? И так теряем деньги то на том, то на другом!

— На чем? — настаивает Барк.

— Сразу видно, что вам не приходится рисковать своими деньгами!

— Конечно, мы ведь рискуем только своей шкурой!

Мы вмешиваемся в этот разговор, опасаясь, как бы он не принял дурной оборот.

Вдруг кто-то дергает дверь погреба, и раздается мужской голос:

— Эй, Пальмира!

Хозяйка уходит, ковыляя, предусмотрительно оставив дверь открытой.

— Здорово! Тут славное винцо! — говорит Ламюз.

— Вот гады! — бормочет Барк; он никак не может успокоиться после подобного приема.

— Стыд и срам! — говорит Мартро.

— Можно подумать, что ты это видишь в первый раз!

— А ты тоже хорош, кисляй! — возмущается Барк.— Старуха нас обворовывает, а ты ей сладким голосом говоришь: «Ничего не поделаешь, народ военный!» Совести у тебя нет!

— А что еще сказать? Значит, лучше затянуть пояс потуже? Не было бы ни жратвы, ни выпивки! Если б она потребовала с нас за вино по сорок су, все равно пришлось бы платить. Правда? Так вот, мы еще должны почитать себя счастливыми. Признаюсь, я уже боялся, что она не согласится.

— Известно, везде и всегда одна и та же история, а все-таки...

— Да, нечего сказать, мирные жители ловко обделывают свои делишки! Конечно, кое-кто из них разбогатеет. Не всем же рисковать своей шкурой!

— Ничего не скажешь, хорош народ в восточных областях!

— Да и северяне не лучше!

— ...Они встречают нас «с распростертыми объятиями»!..

— Скорее, с протянутой рукой...

— Говорят тебе,— повторяет Мартро,— что это стыд и срамота.

— Заткнись! Вот опять эта стерва!

Мы идем известить товарищей о нашей удаче; потом за покупками. Когда мы возвращаемся в новую столовую, там уже хлопочут: готовят завтрак. Барк пошел получать нашу долю провизии и благодаря личным связям с главным поваром, хоть и принципиальным противником подобного деления, получил картошку и мясо на пятнадцать человек.

Он купил топленого свиного сала — комок за четырнадцать су: будет жареная картошка. Он еще купил зеленого горошку в консервах: четыре банки. А банка телячьего студня Андре Мениля будет нашей закуской.

— Вкусно поедим! — с восхищением говорит Ламюз.

* * *

Мы осматриваем кухню. Барк с довольным видом ходит вокруг чугунной, тяжело дышащей плиты, занимающей целую стену этого помещения.

— Я поставил еще один котелок,— шепчет он мне.

Он приподнимает крышку.

— Огонь не очень-то сильный. Вот уж полчаса, как я положил мясо, а вода все еще чистая.

Через минуту он уже спорит с хозяйкой из-за этого добавочного котелка. Хозяйка кричит, что ей теперь не хватает места на плите; ведь солдаты говорили, что им нужна только одна кастрюля; она и поверила; если бы она знала, что будет столько хлопот, она бы не сдала комнаты. Барк добродушно отшучивается, и ему удается успокоить это чудовище.

Один за другим приходят и остальные. Они подми-

гивают, потирают руки, предаются сладким мечтаниям, предвкушая пир, словно гости на свадьбе.

Попадая с улицы в эту черную конуру, они слепнут и несколько минут стоят растерянные, как совы.

— Не очень-то светло! — говорит Мениль Жозеф.

— Ну, старина, чего тебе еще надо?

Остальные хором восклицают:

— Здесь прямо великолепно!

Все утвердительно кивают головой.

Происшествие: Фарфаде неосмотрительно задел плечом влажную, грязную стену; на куртке осталось большое пятно, такое черное, что его видно даже здесь, хотя темно, как в погребе. Опрятный Фарфаде ворчит и, стараясь больше не прикасаться к стене, натыкается на стол и роняет ложку. Он нагибается и шарит по корявому полу, где годами в тишине оседала пыль и паутина. Наконец ложка найдена; она вся в черной пыли, с нее свисают какие-то нити и волокна. Уронить здесь что-нибудь — это целая катастрофа. Здесь надо двигаться осторожно.

Ламюз кладет между двумя приборами руку, жирную, как окорок.

— Ну, к столу!

Мы приступаем к еде. Обед обильный и тонкий. Гул разговоров смешивается со звоном опорожняемых бутылок и чавканьем полных ртов. Мы наслаждаемся вдвойне: ведь мы едим сидя; сквозь отдушину пробивается свет; он озаряет угол стола, один прибор, козырек, глаз. Я украдкой посматриваю на этот мрачный пир, где веселье бьет через край.

Бике рассказывает, как ему пришлось искать прачку и умолять ее выстирать белье. «Но это стало мне в копеечку!» Тюлак рассказывает, что перед бакалейной лавкой стоит хвост; войти туда не имеешь права; стоишь, как баран в загоне.

— Стоишь на улице, а если ты недоволен и ворчишь, тебя прогоняют.

Какие еще новости? Новый приказ грозит суровыми карами за мародерство и уже содержит список виновных. Вольпата эвакуировали. Солдат девяноста третьего года отправляют в тыл: среди них Пепер.

Барк приносит жареную картошку и сообщает, что у

нашей хозяйки за столом едят солдаты: санитары пулеметной роты.

— Они думают, что устроились лучше нас, а на самом деле нам лучше всех,— убежденно говорит Фуйяд, гордо оглядывая гнусную конуру, где так же тесно и темно, как в землянке. (Но кому придет в голову подобное сравнение?)

— Знаете,— говорит Пепен,— ребятам из девятой роты везет! Их держит задаром одна старуха: ее хозяин помер пятьдесят пять лет назад; он был когда-то вольтижером. Говорят даже, что она задаром дала им кролика, и сейчас они едят рагу.

— Хорошие люди есть везде! Но ребятам из девятой роты повезло: они одни в целой деревне попали на постой к хорошим людям!

Пальмира приносит нам кофе. Она к нам привыкает, слушает нас и даже задает угрюмым тоном вопросы:

— Почему вы унтера перворазрядником зовете?

Барк поучительным тоном отвечает:

— Так уже повелось!

Она уходит: тогда мы высказываем мнение о кофе:

— Что-то жидковато! Даже сахар на дне виден.

— А баба дерет по десяти су!

— Это фильтрованная вода.

Дверь приоткрывается; обозначается светлая щель; показывается голова мальчика. Его подзывают, словно котенка, и дарят ему кусочек шоколада.

— Меня зовут Шарло,— щебечет ребенок.— Мы живем тут рядом. У нас тоже солдаты. У нас всегда солдаты. Мы им продаем все, что они хотят; только вот иногда они напиваются пьяные.

— Малыш, поди-ка сюда! — говорит Кокон и ставит его между своих колен.— Слушай-ка! Твой папаша небось, говорит: «Хоть бы война тянулась подольше!» А-а?

— Ну да,— отвечает ребенок, кивая головой,— у нас теперь много-много денег. Папа сказал, что к концу мая мы заработаем пятьдесят тысяч франков.

— Пятьдесят тысяч? Не может быть!

— Правда, правда! — уверяет ребенок.— Он сказал это маме. Папа хочет, чтоб так было всегда. А мама иногда не знает: ведь мой брат Адольф на фронте. Но

мы устроим его в тыл, и тогда пусть война продолжается!

Вдруг, прерывая эти признания, из комнат наших хозяев доносятся пронзительные крики. Шустрый Бике идет узнать, в чем дело.

— Это ничего,— возвращаясь, говорит он.— Хозяин разорался на хозяйку за то, что она, мол, порядков не знает: положила горчицу в рюмку, а «так люди не делают».

Мы встаем. В нашем подземелье стоит тяжелый запах табака, вина и остывшего кофе. Едва мы переступаем порог, нам в лицо веет удушливый жар, отягченный запахом растопленного жира; этот чад вырывается каждый раз, как открывают дверь в кухню.

Мы проходим сквозь полчища мух, они облепили стены и при нашем появлении шумно разлетаются.

— Это как в прошлом году!.. Снаружи мухи, внутри вши...

— А ты в этом уверен?

В углу этого грязного домишки, заваленного хламом и пропыленными прошлогодними отбросами, обсыпанного пеплом многих угасших солнц, среди мебели и всякой утвари что-то движется: это старик с длинной шеей, облупленной, шершавой, розовой, как у больной облезлой курицы. У него и профиль куриный: подбородка нет, нос длинный; впалые щеки прикрыты грязно-серой бородой, и большие круглые веки поднимаются и опускаются, словно крышки, на выцветших стеклянных глазах.

Барк его уже заметил.

— Погляди: он ищет клад. Он говорит, что где-то в этой конуре зарыт клад. Старик — свекор хозяйки. Он вдруг становится на четвереньки и тычется рылом во все углы. Вот, погляди!

Старик неустанно ворошит отбросы палкой. Он постукивает ею по стенам и кирпичным плиткам пола. Его толкают жильцы этого дома и чужие люди; Пальмира задевает его метлой, не обращая на него внимания, и, наверно, думает про себя, что пользоваться общественным бедствием куда выгодней, чем искать какие-то там шкатулки.

В углублении, у окна, перед старой, засиженной мухами картой России, две кумушки вполголоса поверяют друг другу тайны.

— Да, надо быть осторожной с водкой,— бормочет одна.— Если наливать неловко, не выйдет шестнадцати рюмок на бутылку, и тогда мало заработаешь. Я не говорю, что приходится докладывать из своего кармана; конечно, нет, но меньше зарабатываешь. Чтоб этому помочь, торговцам надо столковаться, но столковаться трудно даже для общей выгоды!

На улице жара, везде рои мух. Еще несколько дней тому назад их было мало, а теперь везде гудят их бесчисленные крошечные моторы. Я выхожу вместе с Ламюзом. Мы решили пройтись. Сегодня нечего делать: полный отдых после ночного перехода. Можно поспать, но гораздо интересней погулять на свободе: ведь завтра опять учение и работы...

Некоторым не повезло: их уже впрягли...

Ламюз предлагает Корвизару пройтись с нами, но Корвизар теребит свой круглый носик, торчащий на узком лице, как пробка, и отвечает:

— Не могу. Я должен убирать дерьмо.

Он показывает на лопату и метлу; согнувшись, задыхаясь от вони, он выполняет обязанности мусорщика и золотаря.

Мы идем вялым шагом. Знойный полдень навис над сонной деревней; в желудках, набитых пищей, тяжело. Мы говорим мало.

Вдруг где-то раздаются крики: на Барка напала целая свора хозяек... На эту сцену робко смотрит бледная девочка; ее косички — словно из пакли; губы усеяны прыщами от лихорадки. Смотрят и женщины; они сидят у дверей в тени и занимаются жалким рукоделием.

Проходят шесть человек во главе с капралом-каптенармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки сапог.

Ламюз рассматривает свои опухшие, огрубелые ноги.

— Н-да. Мне нужны чеботы, а то эти скоро каши запросят... Не ходить же босиком!

Слышится храп аэроплана. Мы следим за ним; поднимаем головы, вытягиваем шеи; глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять смотрим на землю, Ламюз объявляет:

— От этих штуковин никогда не будет проку, никогда!

— Что ты! За короткое время мы уже достигли таких успехов!..

— Да, но на этом и остановятся. Ничего лучше не выдумают никогда.

На этот раз я не спорю: как всегда, невежество решительно отрицает прогресс; я предоставляю этому толстяку считать, что наука и промышленность вдруг остановились на своих необыкновенных достижениях.

Начав поверять мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит:

— Знаешь, Эдокси здесь.

— Да ну?

— Да. Ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил. (Ламюз снисходительно улыбается.) Так вот, знаешь: раз она здесь, значит, кто-то ее интересует. Правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело.

Он продолжает:

— Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня.

— А ты в этом уверен?

— Да,— глухо отвечает человек-бык.— Прежде всего я ее хочу. А потом, она уже два раза попадалась мне на глаза. Понимаешь? Ты скажешь: она убежала; но ведь она робеет, да еще как...

Он стал посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза. Его лоснящиеся щеки и нос, все его пухлое лицо выражает важность. Он подносит шаровидный кулак к бурым, тщательно закрученным усам и с нежностью поглаживает их. И опять принимается изливать свою душу:

— Я ее хочу... и, знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней. Но, с тех пор как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте... Эх!..

Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства словами.

— Эх, старина! Бывает, что меня надо удерживать крючьями,— мрачно отчеканивает он, и кровь приливает к его жирной шее и щекам.— Она такая красивая,

она... А я, я... Она так не похожа на других, ты заметил, я уверен, ты ведь все замечаешь. Правда, она крестьянка, и все-таки в ней есть что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она... Я... Мне...

Он хмурит рыжие брови. Ему хочется выразить все великолепие своих чувств. Но он не умеет изъясняться и замолкает; он одинок, вечно одинок.

Мы идем дальше вдоль домов. У дверей выстроились телеги с бочками. Окна, выходящие на улицу, расцветились пестрыми банками консервов, пучками трута, всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занимаются бакалейной торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан; каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к цифрам, ослеплен умножением.

Раздается колокольный звон. Открывается шествие. Военные похороны. На передке обозной телеги сидит солдат; он везет гроб, покрытый знаменем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском.

— Эх, куцые похороны! — говорит Ламюз.— Здесь поблизости лазарет. Пустеет, ничего не поделаешь. Умершим хорошо! Позавидуешь! Но только иногда, не всегда...

Мы прошли мимо последних домов. За деревней, в поле, расположились полковые обозы. Походные кухни и дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные телеги, одноколка почтальона.

Вокруг всех этих повозок теснятся палатки ездовых и сторожей. Между ними, на голой земле, стоят кони и смотрят на клочок неба своими агатовыми глазами. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся на развороченном поле, где параллельные и дугообразные колеи каменеют на солнце; везде уже валяются отбросы.

На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно подумать, что это роскошный

ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других.

Это знаменитый стоматологический фургон, который искал Блер.

А вот и сам Блер; он его разглядывает. Он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит с фургона глаз. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной раскрашенной лестнице к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:

— Эй, толстозадый, эта колымага — зубоврачебная?

— Здесь написано,— отвечает Самбремез, дородный коротышка, чистый, выбритый, с тяжелым белым подбородком.—Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.

Блер подходит и разглядывает это учреждение.

— Ишь штуковина! — говорит он.

Он подходит еще раз, отходит, колеблется, прежде чем доверить свою челюсть врачу. Наконец решается, ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.

* * *

Мы идем дальше... Сворачиваем на тропинку, где высокие кусты обсыпаны пылью. Шум затихает. Все залито солнцем. Сияя в синем безоблачном небе, оно жарит, калит дорогу и рассыпает по ней ослепительно белые пятна света.

На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и прямо перед нами — Эдокси!

Ламюз испускает глухое восклицание. Может быть, он опять воображает, что она ищет именно его, верит в какую-то милость судьбы. Всей своей громадой он направляется к Эдокси.

Она останавливается среди боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу: веки великолепных глаз дрожат. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом волос, эта женщина вблизи в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи привлекает и поражает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.

— Скажите!.. Я хочу вам сказать!..— задыхаясь, говорит Ламюз.— Вы мне так нравитесь!..

Он протягивает руку к желанной женщине.

Она с отвращением отшатывается.

— Оставьте меня в покое! Вы мне противны!

Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается ее вырвать. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз тянется к ней, вытягивает шею. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.

Но она отбивается, испускает приглушенный крик; ее шея вздрагивает; прекрасное лицо обезображено злобой.

Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.

— Вы с ума сошли! — кричит ему Эдокси.

— Нет! — стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.

— Чтоб это больше не повторялось, слышите! — кричит она.

Она уходит, вся трепеща; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит там, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, очнулся и уже не смеет молить.

Я увожу его. Он плетется молча, сопит, тяжело дышит, словно долго бежал.

Он опускает большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает бедного циклопа, который когда-то бродил на древних берегах Сицилии, похожий на чудовищную игрушку, осмеянный и покоренный лучезарной девушкой-ребенком...

Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров часовым. Лицо у него желтое, плоское, как камамбер; редкие волосы превратились в пыльные волокна; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, под крылом покачивающейся скрипучей дощечки, на которой написано ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле:

— Поганая морда! — восклицает Бигорно.— И знаешь, что я тебе скажу? Столько «шпаков» как ни в чем не бывало болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!

— Ты загибаешь, гнида ползучая! — отвечает Корне.

— Помалкивай, старая подметка! — настаивает Бигорно.— Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.

— А Пепер отправляется в тыл,— говорит Канар.

— Здешние бабы все — рожи,— бормочет Ла Моллет.

Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за поворотами и петлями двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в небесной лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега неожиданно посыпались в жаркий день.

* * *

Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.

Они сообщают, что повар Пепер отправляется в тыл, по закону Дальбьеза, и зачисляется в ополчение.

— Вот и теплое местечко для Блера! — говорит Карасюс, забавный длинный нос которого совсем не соответствует лицу.

По деревне кучками или парами бродят солдаты, связанные между собой перекрестным огнем беседы.

Отдельные солдаты подходят друг к другу, расходятся, потом сходятся опять, словно их притягивает друг к другу магнит.

Вдруг бешеная толкотня: в толпе взлетают белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.

К нам подходит Бике; одет не по форме: в куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.

— Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра придется опять приниматься за работу, и первым делом надо будет почистить свое барахло и винтовку. С од-

ной только шинелью сколько будет возни! Это уже не шинель, а какая-то броня.

Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:

— Эй, стрекулист! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Никогда не усидит на месте. Юла!

— Не могу же я поспеть всюду зараз, толстый мешок! Давай-ка сюда!

Он рассматривает конверт, взвешивает письмо на руке и, распечатывая его, сообщает:

— Это от моей старушки!

Мы замедляем шаг. Бике читает, водя пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.

Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнер и стрелок Клодор. Ламюз кажется слепым и глухим; он способен только двигаться.

Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:

— Знаешь, Пепер отправляется в тыл!

— Забавно, как они там ничего не знают! — говорит Бике, отрываясь от письма.—Старуха обо мне беспокоится.

Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо,— читает он по складам,— ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен!..»

Он смеется.

— Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня отличная погода. Нам не плохо: у нас своя столовка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.

Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество душ. Только показалось солнце, только почувствовали мы луч света и устроились чуть поудобней, и вот ни мучительное прошлое, ни ужасное будущее больше не существуют... «Теперь нам хорошо». С плохим покончено.

Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу,

чернила, перо, улыбается и выводит ровные круглые буквы на маленьком листке.

— Если бы ты знал, что́ я пишу моей старушке, ты бы посмеялся,— говорит он.

Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.

VI

ПРИВЫЧКИ

Мы царим на птичьем дворе.

Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины, у конуры, где копошится пес. А черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами; виден ее профиль с мигающей блесткой зрачка; кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Ее перья переливаются черным блеском, как волосы цыганки; за ней тащится выводок цыплят.

Эти легкие желтые шарики бросаются под ноги матери короткими, быстрыми шажками и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери.

— Плохой признак! — говорит Паради.— Если цыпленок задумался, значит, он болен.

Паради то закидывает ногу на ногу, то ставит их рядом.

Рядом, на скамье, Блер потягивается, зевает во весь рот и опять принимается глазеть; он больше всех любит наблюдать за птицами: они живут так мало и так спешат наесться.

Да и все мы смотрим на них и на старого, общипанного, вконец истасканного петуха; сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит «нет!» и сердито клохчет, то наблюдает за ним голубыми глазами, похожими на маленькие эмалированные шарики.

— Хорошо здесь! — говорит Барк.

— Гляди, вот утята! — отвечает Блер.— Они забавные, чудные!

Проходит вереница крошечных утят; это еще почти яйца на лапках; большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце.

Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них глубокими честными черными глазами, в которых под косым лучом солнца светится прекрасный рыжий блик.

За этим двором, через выемку в низкой стене, виден плодовый сад; зеленая густая влажная трава покрывает жирную землю; дальше высится стена из зелени, украшенная цветами, белыми, как статуи, или пестрыми, как банты. Еще дальше — луг, где вытянулись зелено-черные и зелено-золотистые тени тополей. Еще дальше — грядка торчком вставшего хмеля и грядка сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик вопреки басням поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство.

С вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты.

Солдаты сидят на каменной скамье и, прищурив глаза, с наслаждением потягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане.

— Мы здесь уже семнадцать дней! А мы-то думали, что нас вот-вот отсюда отправят!

— Никогда нельзя знать! — говорит Паради, покачивая головой, и щелкает языком.

В открытые ворота виднеется куча солдат; они разгуливают, задрав нос, и наслаждаются солнцем, а дальше в одиночку ходит Теллюрюр. Он выступает посреди улицы; колыхая пышным животом, ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины, и обильно заплевывает землю.

— А мы еще думали, что здесь будет плохо, как на других стоянках. Но на этот раз настоящий отдых: и погода соответственная, и вообще хорошо.

— И занятий и работ не так уж много.

— Иногда приходишь сюда отдохнуть.

Старичок, сидящий на краю скамьи (это не кто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда), подвигается к нам и поднимает палец.

— Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались,— утверждает он, покачивая головой.— Ну и перебывало же у меня бабенок!

— А-а! — рассеянно говорим мы: от этой старческой болтовни наше внимание кстати отвлек грохот нагруженной, тяжело подвигающейся телеги.

— А теперь,— продолжает старик,— я думаю только о деньгах.

— Ах да, вы ведь ищете клад, папаша.

— Конечно,— говорит старик.

Он чувствует наше недоверие.

Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и показывает на дом.

— Глядите,— говорит он, показывая на какое-то насекомое, ползущее по стене.— Что этот зверь говорит? Он говорит: «Я — паук, я тку нитки богородицы».

И древний старик прибавляет:

— Никогда не надо судить о том, что люди делают, потому что нельзя знать, что случится.

— Правда,— вежливо отвечает Паради.

— Чудак,— сквозь зубы говорит Мениль Андре, доставая из кармана зеркальце, чтобы полюбоваться своим лицом, похорошевшим на солнце.

— У него не все дома,— блаженно бормочет Барк.

— Ну, я пошел,— с тревогой говорит старик: он не может усидеть на месте.

Он идет опять искать клад. Он входит в дом, к стене которого мы прислонились; он оставляет дверь открытой, и в комнате, у огромного очага, мы видим девочку; она играет в куклы так серьезно, что Барк задумчиво говорит:

— Она права.

Для детей игры — важные занятия. Играют только взрослые.

Мы глазеем на животных, на людей, на что попало. Мы наблюдаем жизнь вещей, окрашенную климатом и временами года. Мы привязались к этому уголку страны, где случайно задержались среди своих постоянных блужданий дольше, чем в других местах, и становимся

чувствительней ко всем его особенностям. Сентябрь, это похмелье августа и канун октября, этот трогательнейший месяц, сочетает хорошие дни с кой-какими смутными предвещаниями. Мы уже понимаем значение этих сухих листьев, перелетающих с камня на камень, как стая воробьев.

Действительно, эти места и мы привыкли друг к другу. Нас столько раз пересаживали с одной почвы на другую, и вот мы пустили корни здесь и больше не думаем об отъезде, даже когда говорим о нем.

— Одиннадцатая дивизия отдыхала целых полтора месяца,— говорит Блер.

— А триста семьдесят пятый полк? Девять недель! — убежденно подхватывает Барк.

— Мы останемся здесь по крайней мере столько же; я говорю: по крайней мере.

— Мы здесь и закончим войну...

Барк умиляется и готов в это поверить.

— Кончится ж она когда-нибудь!

— Когда-нибудь! — повторяют другие.

— Все может быть,— говорит Паради.

Он говорит это слабым голосом, не очень убежденно. А между тем против этого нечего возразить. Мы тихо повторяем его слова, баюкаем себя ими, как старой песенкой.

* * *

Через несколько минут к нам подходит Фарфаде. Он садится на опрокинутую кадку, подпирает подбородок кулаками, но держится в сторонке.

Его счастье прочней нашего. Мы это хорошо знаем; он — тоже; он поднимает голову, смотрит отчужденным взглядом на спину старика, который уходит искать клад, и на нас, когда мы говорим, что останемся здесь. Наш хрупкий, чувствительный товарищ окружен ореолом себялюбивой славы, он кажется особым существом, отъединенным от нас, словно ему с неба свалились нашивки.

Его идиллия с Эдокси продолжается и здесь. У нас есть доказательства, и однажды он даже сказал об этом сам.

Эдокси живет недалеко от него... На днях вечером я видел, она шла мимо дома священника; пламя ее

волос было притушено косынкой; она, наверно, шла на свидание: она спешила и заранее улыбалась... Хотя Эдокси и Фарфаде, может быть, еще только дали друг другу клятвы, она уже принадлежит ему, и он будет держать ее в объятиях.

Скоро он нас покинет: его отзовут в тыл, в штаб бригады, где нужен хилый человек, умеющий печатать на машинке. Это уже официально известно, написано. Он спасен: мрачное, невидимое для других будущее для него открыто и ясно.

Он смотрит на окно, за которым чернеет комната; эта темнота ослепляет Фарфаде; он надеется; у него двойная жизнь. Он счастлив: ведь еще не наступившее, но уже близкое счастье — единственное истинное счастье в этом мире.

Вот почему Фарфаде вызывает зависть.

— Все может быть! — опять бормочет Паради, но так же неуверенно, как и всегда, когда ему случается произносить эти необъятные по своему значению слова в тесноте нашей теперешней жизни.

VII
ПОГРУЗКА

На следующий день Барк сказал:

— Я тебе объясню, в чем дело. Есть люди, которые...

Внезапно это объяснение прервал пронзительный свисток.

Мы стояли на платформе вокзала. Ночью тревожный сигнал заставил нас вскочить и разлучил с деревней: мы явились сюда. Конец отдыху; нас перебрасывают на другой участок фронта. Мы исчезли из Гошена под покровом ночи, не видя ни людей, ни вещей, не успев проститься с ними даже взглядом, унести с собой их последний образ.

Совсем близко, чуть не задевая нас, маневрировал паровоз и изо всех сил гудел. Рот Барку заткнула своим воплем эта махина; Барк выругался; исказились гримасой и лица других оглушенных солдат; все были в касках и полном снаряжении; мы стояли на часах, охраняя вокзал.

— Да замолчи ты! — в бешенстве заорал Барк, обращаясь к дымному свистку.

Но страшный зверь как ни в чем не бывало продолжал властно затыкать нам глотки. Наконец он умолк, но отзвук его рева еще звенел в наших ушах, и мы потеряли нить разговора; Барк только сказал в заключение:

— Да.

Тогда мы осмотрелись.

Мы были затеряны здесь, как в огромном городе.

Бесконечные железнодорожные составы, поезда по сорока, по шестидесяти вагонов образовали нечто похожее на ряды темных, низких, совершенно одинаковых домов, разделенных улочками. Перед нами, вдоль подвижных домов, тянулась главная линия — бесконечная улица, где белые рельсы исчезали на том и на другом конце, поглощаемые расстоянием. Части поездов, целые поезда — эти гигантские гусеницы — сотрясались, перемещались и возвращались на прежнее место. Со всех сторон раздавался мерный стук составов по бронированной земле, пронзительные свистки, звонки сигнального колокола, металлический грохот кубовидных колоссов, которые со скрежетом цеплялись друг за дружку своими стальными присосками, и звук этот передавался вместе с лязгом цепей по всему длинному хребту состава. На первом этаже здания, возвышающегося среди вокзала, как мэрия, раздавалось прерывистое стрекотание телеграфа и звонки телефона, вперемежку с раскатами голосов. А кругом, на земле, покрытой угольной пылью,— склады товаров, низкие сараи, чьи загроможденные недра виднелись издали, будки стрелочников, лес стрелок, водокачки, железные решетчатые столбы с проводами, черневшими в небе, как линии нотной бумаги, диски семафоров и над всем этим мрачным плоским городом — два паровых подъемных крана, высотой с колокольню.

Дальше, на пустырях, вокруг лабиринта платформ и строений, стояли военные автомобили, грузовики и бесконечные ряды коней.

— Нечего сказать, придется поработать!

— Сегодня вечером погрузят целый корпус!

— Вот, гляди, они подъезжают!

Туча пыли, покрывая грохот колес и топот лошади-

ных копыт, приближалась, росла на вокзальной улице, между рядами строений.

— Пушки уже погружены.

Действительно, там, на открытых платформах, между двумя пирамидальными складами ящиков, выделялись очертания колес и длинные стволы орудий. Зарядные ящики, пушки и колеса были выкрашены в желтый, коричневый, зеленый цвета.

— Они замаскированы. Там и кони выкрашены. Да вот, погляди вот на этого, на этого, у него такие мохнатые ножищи, будто он в штанах! Так вот, он был белым, а его окатили краской.

Эта лошадь стояла в сторонке от других лошадей, они, казалось, ее чуждались; она была серо-желтого, явно поддельного цвета.

— Бедняга! — сказал Тюлак.

— Видишь,— сказал Паради,— коняг не только посылают в огонь, на смерть, но еще изводят.

— Что делать! Это для их же пользы.

— Как же... Нас тоже для нашей пользы!

К вечеру начали подходить войска. Со всех сторон они стекались к вокзалу. Горластые начальники шагали сбоку. Они останавливали потоки солдат и втискивали их в барьеры или загоны. Солдаты составляли ружья, складывали ранцы и, не имея права выходить, ждали, заключенные в полумрак.

По мере того как темнело, прибывало все больше отрядов. Вместе с ними подъезжали автомобили. Скоро поднялся безостановочный грохот: лимузины среди гигантского прибоя маленьких, средних и больших грузовиков. Все это выстраивалось и втискивалось в установленные границы. Гул и шум поднимался над этим океаном людей и машин, который бился о ступени вокзала и местами уже проникал внутрь.

— Это еще ничего,— сказал Кокон, человек-счетчик.— В одном только штабе армейского корпуса тридцать офицерских автомобилей, а знаешь,— прибавил он,— сколько понадобится поездов по пятидесяти вагонов, чтобы погрузить весь корпус — людей и товар,— конечно, кроме грузовиков, которые переберутся в новый сектор на собственных лапах? Все равно, брат, не угадаешь! Потребуется девяносто поездов!

— Да ну? Вот так штука! А у нас ведь тридцать три корпуса!

— Даже тридцать девять, эх ты, вшивый!

Сутолока усиливается. Вокзал наполняется и переполняется толпами. Везде, где только можно различить человеческую фигуру или ее тень, суматоха и лихорадочные приготовления, похожие на панику. Приходит в действие вся иерархия начальства: офицеры суетятся, носятся, словно метеоры, размахивают руками, сверкают золотыми галунами, отменяют приказы, рассылают вестовых и самокатчиков, которые движутся в толпе; одни — медленно, другие стремительно, как рыбы в воде.

Вот и вечер. Солдат, сбившихся в кучу вокруг пирамид ружей, уже трудно различить: они сливаются с землей; потом эту толпу можно обнаружить только по вспыхивающим трубкам и цигаркам. Кое-где во мраке сверкает непрерывная цепь светлых точек, как иллюминация на праздничной улице.

Над этой черной зыбкой толпой стоит гул голосов, подобный морскому прибою; перекрывая рокот, раздаются приказы, крики, возгласы, шум какой-то разгрузки или переноски, пыхтение паровозов и грохот паровых молотов, глухо ударяющих во мраке.

На огромном темнеющем пространстве, полном людей и машин, вспыхивают огни. Это электрические лампочки офицеров и начальников отрядов, ацетиленовые фонари самокатчиков, перемещающиеся зигзагами, как белая точка и белесое пятно.

Ослепительно вспыхивает ацетиленовый прожектор, отбрасывая снопы света. Другие прожекторы тоже буравят и разрывают темноту.

И вот вокзал принимает сверхъестественный вид. В черно-синем небе возникают непонятные призраки. Обозначаются какие-то груды, огромные, как развалины города. Различаешь начало каких-то непомерных рядов, исчезающих в ночи. Угадываешь громады, ближайшие очертания которых вырываются из неизвестных бездн.

Слева отряды конницы и пехоты прибывают еще и еще сплошным потоком. Стелется гул голосов. При вспышке фосфоресцирующего света или красном от-

блеске вырисовываются отдельные ряды; слышатся протяжные гулы.

Под кружащимся дымным пламенем факелов мелькают серые громады и черные пасти товарных вагонов; обозные солдаты по сходням ведут коней. Раздаются оклики, возгласы, неистовый топот, шум борьбы, ругань солдат и бешеные удары копыт запертой лошади.

Рядом на открытые платформы грузят автомобили. Холм прессованного сена кишит людьми. Люди неистово хлопочут у огромных тюков.

— Вот уже три часа, как мы стоим здесь на якоре,— вздыхает Паради.

— А это кто?

В проблесках света мелькает отряд гномов, окруженных светляками; они приносят странные инструменты и исчезают.

— Это прожекторная команда,— говорит Кокон.

— О чем ты задумался, брат?

— Сейчас в армейском корпусе четыре дивизии,— отвечает Кокон.— А бывает и три, а то и пять. Сейчас четыре. И каждая наша дивизия,— продолжает человек-цифра, которым может гордиться наш взвод,— состоит из трех ПП — пехотных полков; двух БПС — батальонов пеших стрелков; одного ПТП — полка территориальной пехоты, не считая частей специального назначения,— артиллерии, саперов, обозов и так далее, не считая еще штаба ПД,— пехотной дивизии — и частей, не входящих в бригаду, а включенных непосредственно в ПД. Линейный полк состоит из трех батальонов; он занимает четыре поезда: один для ШП — штаба полка, для пулеметной роты и НР — нестроевой роты, и по одному поезду для каждого батальона. Здесь погружаются не все войска: погрузка будет производиться на линии дороги в зависимости от места стоянок и сроков смены.

— Я устал,— говорит Тюлак.— Едим мы не очень-то сытно, вот что. Держишься только потому, что завели такую моду, но больше нет ни силы, ни бодрости.

— Я справлялся,— продолжает Кокон.— Войска, настоящие войска погрузятся только после двенадцати. Они еще размещены по деревням, на десять километров в окружности. Прежде всего отправятся все управления армейского корпуса и ВЧ — внедивизионные ча-

сти,— услужливо объясняет Кокон,— то есть входящие непосредственно в корпус. Среди ВЧ нет ни аэростатных частей, ни авиаотрядов; это слишком громоздкая штука; они передвигаются собственными средствами, со своими людьми, своими канцеляриями, своими лазаретами. Во внедивизионные части входит и стрелковый полк.

— Стрелкового полка нет,— наобум говорит Барк.— Есть батальоны. Потому и говорят: такой-то стрелковый батальон.

Кокон пожимает плечами; его очки презрительно мечут молнии.

— А ты это знаешь, молокосос? Какой умник! Знай, что есть пешие стрелки, а есть и конные; это не одно и то же.

— Тьфу ты, черт! — восклицает Барк.— О конных я и забыл.

— То-то! — говорит Кокон.— В ВЧ армейского корпуса входит корпусная артиллерия, то есть главная артиллерия, кроме дивизионной. В нее входит ТА — тяжелая артиллерия, ОА — окопная артиллерия, АП — артиллерийские парки, пушечные бронеавтомобили, зенитные батареи и все такое. Есть еще саперные батальоны, полевая жандармерия, то есть пешие и конные «фараоны», санитарная часть, ветеринарная часть, обозные части, территориальный полк для охраны и работ при ГК — Главной квартире, интендантство (с продовольственным обозом, который обозначают буквами ПРО, чтобы не путать с ПО — Почтовым отделом). Есть еще гурт скота, ремонтное депо и так далее. Автомобильный отдел, целый улей нестроевых,— о них я мог бы говорить целый час, если б хотел,— казначейство, которое заведует казной и почтой, военно-полевой суд, телеграфисты, весь электротехнический отряд. Везде есть заведующие, командиры, управления, отделы, подотделы — все это кишит писарями, вестовыми и ординарцами, словом, целый базар! Видишь, что делается вокруг корпусного генерала!

В эту минуту нас окружают солдаты в полном снаряжении; они несут ящики, тюки, свертки, подвигаются с трудом, кладут ношу на землю и испускают тяжелые вздохи.

— Это штабные писаря. Они составляют часть



ГК — Главной квартиры,— это что-то вроде генеральской свиты. При переезде они перетаскивают ящики с архивами, столы, реестры и всю дрянь, необходимую для их канцелярщины. Вот, погляди, эти двое — старый дядя и молоденький фертик — несут пишущую машинку: продели ружье в ручку футляра и тащат. Писаря работают в трех отделах, а есть еще Почтовый отдел, канцелярия и ТОК — Топографический отдел корпуса; этот отдел распределяет карты по дивизиям и составляет карты и планы по снимкам с аэропланов, показаниям наблюдателей и пленных. Штаб АК — армейского корпуса — состоит из офицеров всех канцелярий, они находятся в ведении помощника начальника и главного начальника (оба полковники). ГК — Главная квартира, в узком смысле слова, состоит из ординарцев, поваров, кладовщиков, рабочих, электротехников, жандармов и конной охраны; ими командует майор.

Вдруг всех нас с силой оттесняют.

— Эй! Сторонись! — вместо извинений кричит человек, подталкивая вместе с другими солдатами повозку.

Это трудная работа. В этом месте подъем, и, как только перестают цепляться за колеса и удерживать повозку, она катится назад. Во мраке люди скрипят зубами, ворчат, борются с ней, как с чудовищем.

Барк потирает бока и окликает кого-то из неистовых людей:

— И ты думаешь, у тебя что-нибудь выйдет, старый селезень?

— Черт подери! — орет солдат, весь поглощенный своим делом.— Осторожней! Тут камень! Сломаете колымагу!

Он делает резкое движение, опять толкает Барка и на этот раз набрасывается на него:

— Ты чего стал на дороге, чурбан?

— Да ты пьян, что ли? — отвечает Барк.— «Чего стал на дороге»? Ишь выдумал! Помолчи! Вшивый!

— Сторонись! — кричит еще кто-то, ведя людей, согнувшихся под тяжелой ношей.

Больше негде стоять. Мы везде мешаем. Нас отовсюду гонят. Мы идем вперед, расступаемся, пятимся.

— А кроме того,— бесстрастно, как ученый, продолжает Кокон,— есть еще дивизии; каждая устроена приблизительно так же, как и корпус...

— Да знаем, знаем. Хватит!

— Вот разбушевалась кобыла в конюшне на колесах,— замечает Паради.— Это, наверно, теща жеребца.

— Бьюсь об заклад, это кобыла лекаря; ветеринар сказал, что это телка, которая скоро станет коровой!

— А ловко все это устроено, что и говорить! — с восхищением воскликнул Ламюз; но его оттерла толпа артиллеристов, которые несли ящики.

— Правильно,— соглашается Мартро,— чтобы перевезти весь этот скарб, надо быть смышленым и не зевать... Эй ты, смотри, куда лапы ставишь, размазня чертова!

— Ну и перевозка! Даже когда я с семьей переезжал в Маркуси, и то хлопот было меньше. Правда, я тоже не дурак.

Все замолкают; в тишине опять раздается голос Кокона:

— Чтобы видеть погрузку всей французской армии, находящейся на позициях,— я уже не говорю о тыле, где еще вдвое больше людей и учреждений, вроде лазаретов (они стоили девять миллионов и эвакуируют семь тысяч больных в день),— чтобы видеть такую погрузку в поезда по шестидесяти вагонов, отправляемых один за другим через каждые четверть часа, потребуется сорок дней и сорок ночей.

— А-а! — восклицают все.

Но это слишком величественно для их воображения; эти цифры им уже надоели. Солдаты зевают, и среди этого столпотворения, среди беготни, криков, вспышек, отсветов и дыма они смотрят слезящимися глазами, как вдали, на вспыхивающем горизонте, проходит чудовищный бронепоезд.

VIII
ОТПУСК

Прежде чем двинуться вперед по дороге, ведущей через поля к окопам, Эдор присел у колодца. Он был бледен; вместо усов у него торчали только жалкие пучки волос. Обхватив руками колено, он поднял голову, посвистел и во весь рот зевнул.

От опушки леса, где стояли телеги и кони, как в цыганском таборе, шел к колодцу обозный солдат с двумя брезентовыми ведрами, которые плясали при

каждом его движении. Он остановился перед этим сонным безоружным пехотинцем и взглянул на его туго набитый мешок.

— В отпуск ходил?

— Да, возвращаюсь из отпуска,— ответил Эдор.

— Ну, старина, тебе можно позавидовать: шесть дней погулял! — сказал обозный солдат и пошел дальше.

Но вот еще четыре человека идут вниз по дороге тяжелым, неторопливым шагом; от грязи их сапоги превратились в карикатуры на сапоги. Заметив Эдора, они останавливаются, как один человек.

— А-а, вот и Эдор! Эй, Эдор! Эй, старина, значит, вернулся! — восклицают они, бросаются к нему и протягивают руки, такие большие и грубые, словно на них бурые шерстяные перчатки.

— Здорово, ребята! — отвечает Эдор.

— Ну, что? Как? Хорошо провел отпуск?

— Да,— отвечает Эдор.— Неплохо.

— Мы ходили в наряд за вином и малость нагрузились; пойдем с нами, а?

Они гуськом спускаются по откосу и, взявшись под руки, идут по полю, усыпанному мокрой известкой, которая под их ногами хлюпает, как тесто, замешиваемое в квашне.

— Значит, повидал женку? Ты ведь только ради этого и жил, только о ней и говорил; стоило тебе рот открыть, и пошло: «Мариетта, Мариетта».

Бледный Эдор нахмурился.

— Видеть-то я ее видел, но только один разок. Никак нельзя было по-другому. Не повезло: что ни говори, а это так.

— Как же это случилось?

— Как? Знаешь, мы живем в Вилле-л'Аббе; в этом поселке всего четыре домика, ни больше, ни меньше; он стоит по обе стороны дороги. Один из домов и есть наш кабачок; Мариетта его содержит, или верней, опять содержит с тех пор, как его больше не осыпают снаряды и «чемоданы».

И вот перед моим отпуском она попросила разрешение на въезд в Мон-Сент-Элуа, где живут мои старики; я ведь получил отпуск в Мон-Сент-Элуа. Понимаешь?

Мариетта — бабенка с головой, знаешь, она попросила разрешение задолго до моего отпуска. Но, как на грех, мой срок пришел раньше, чем она получила разрешение. И все-таки я поехал. Знаешь, у нас в роте нельзя зевать: пропустишь очередь, пропадет отпуск. Я и остался ждать Мариетту у моих стариков. Я их очень люблю, а все-таки ходил с кислой рожей. А они были рады видеть меня и огорчались, что я с ними скучаю. Но что поделаешь? К концу шестого дня — к концу моего отпуска, накануне отъезда — парень на велосипеде, сын Флоранс, привозит мне письмо от Мариетты: она пишет, что еще не получила пропуска...

— Вот беда! — восклицают собеседники.

— ...но,— продолжает Эдор,— что мне остается только одно: пойти к мэру Мон-Сент-Элуа (он выхлопочет мне разрешение у военных властей) и приехать самому в два счета к ней в Вилье.

— Это надо было сделать в первый день, а не на шестой!

— Ясно! Но я боялся с ней разминуться и прозевать ее; с первого же дня я все ждал ее, все надеялся, что вот-вот увижу ее на пороге двери... Ну, я и сделал, как она мне написала.

— А в конце концов ты ее видел?

— Всего один день, или, вернее, одну ночь.

— Этого достаточно! — весело восклицает Ламюз.

— Еще бы! — подзадоривает Паради.— За одну ночь такой молодец, как ты, натворит делов! Из-за него и жене придется потом поработать!

— То-то у него такой усталый вид! Погляди! Вот уж погулял! Босяк! А-а, скотина!

Под градом сальных шуток бледный Эдор мрачно качает головой.

— Ну, ребята, заткните глотки на пять минут!

— Расскажи-ка!

— Это не басня! — сказал Эдор.

— Так ты, говоришь, скучал со своими стариками?

— Ну да! Как они ни старались заменить мне Мариетту, как ни угощали вкусной домашней ветчиной и водкой, настоянной на сливе, как ни чинили мое белье, как ни баловали... (Я даже заметил, что при мне они старались не ругаться между собой.) Но, понимаешь, все это не то: я только поглядывал на дверь и ждал:

вдруг она откроется и войдет Мариетта. Так вот, я пошел к мэру и отправился в путь вчера в два часа дня, вернее, в четырнадцать часов: ведь я считал часы с полночи! Значит, мне оставалось от отпуска всего-навсего одна ночь! Подъезжал я в сумерках в поезде узкоколейки, смотрел в окно и почти не узнавал родных мест. Иногда я чувствовал, что они появляются и как будто говорят со мной. Потом замолкают. Наконец приехал, и вот надо еще идти пешком до последней станции.

Никогда еще не было такой погоды: уже шесть дней лил дождь, шесть дней небо мыло и перемывало землю. Земля размякла и расползлась; везде ямы и рытвины.

— Да и здесь тоже. Дождь перестал только сегодня утром.

— Нечего сказать, мне повезло. Везде бежали все новые ручьи; они смывали межи, как строки на бумаге; целые холмы текли сверху донизу. Ветер вдруг поднимал целые тучи дождя; они неслись галопом, хлестали по ногам, по шее, по морде.

Все равно! Когда я пешедралом добрался до станции, никакое страшилище не заставило б меня вернуться назад, даже если сам черт стал бы корчить мне рожи!

Приехал я не один: были и другие отпускные, они ехали не в Вилье, а дальше, но им приходилось идти через наш поселок. Так вот, мы пошли в деревню целой компанией... Нас было пятеро, пять товарищей, но мы друг друга не знали. Я ничего не узнавал: наши места еще больше разворочены бомбардировкой, чем эти, да еще дождь, да еще темень.

Я уже сказал вам, что в нашем поселке всего четыре домика. Они далеко друг от друга. Подходим мы к пригорку. Я не очень разбирался, где мы, да и другие ребята тоже, хотя они немного знали наш поселок: они ведь были из наших краев. Да и дождь лил как из ведра.

Надо было идти быстрей. Мы пустились бежать. Мы прошли мимо фермы Алле — это первый дом в нашем поселке; смотрим: вместо него какой-то каменный призрак! Из воды торчат обломки стен: дом потонул. Другая ферма, немного подальше,— то же самое.

Наш дом — третий. Он стоит у дороги, на самой верхушке ската. Мы принялись карабкаться вверх под дождем; он хлестал нас, слепил (в глазах чувствуешь какой-то мокрый холод), и приходилось удирать врассыпную, совсем как от пулемета. Вот, наконец, и наш дом! Я бегу как помешанный, как солдат-африканец на приступ. Там Мариетта! Она стоит у двери, поднимает руки за сеткой дождя, такого дождя, что она не может выйти, и стоит, согнувшись, между косяками двери, как пресвятая дева в нише. Я бросаюсь к ней галопом и все-таки не забываю подать знак товарищам идти за мной. Мы вваливаемся в дом. Мариетта смеется, а на глазах у нее слезы от радости; она ждет, когда мы останемся одни, чтобы посмеяться и поплакать как следует. Я предложил ребятам отдохнуть. Они уселись, кто на стулья, кто на стол.

«Куда вы идете?» — спрашивает Мариетта. «В Вовель».— «Господи Иисусе! — говорит она.— Да вы туда не дойдете! Вы не сможете пройти эту милю ночью, по размытым дорогам; да еще везде болота. И не пробуйте!» — «Ладно, значит, пойдем завтра. Только поищем, где бы переночевать».— «Я пойду с вами,— говорю я,— до фермы «Повешенного». Там места достаточно. Чего-чего, а уж места хватит. Вы там поспите, а на рассвете пойдете дальше».— «Ладно! Махнем туда!»

Эта ферма — последний дом в Вилье; она стоит наверху; значит, можно было надеяться, что ее не затопило.

Вот мы выходим. Ну и дорога! Мы промокли до нитки; вода проникает даже в сапоги через подметки и через суконные штаны; они промокли насквозь. Не доходя до этого «Повешенного», мы видим тень в длинном черном плаще; она держит фонарь. Поднимает его; видим: на рукаве золотой галун; морда лютая.

«Чего вы здесь шляетесь?» — спрашивает; подбоченился, а дождь барабанит, словно град, по капюшону.

«Это отпускные. Идут в Вовель. Сегодня вечером они не могут двинуться дальше. Они хотят переночевать на ферме «Повешенного».

«Что-о? Переночевать здесь? Да вы что, обалдели? Здесь полицейский пост. Я караульный унтер-офицер;

на ферме содержатся пленные боши. Убирайтесь-ка отсюда в два счета! Спокойной ночи!»

Ну, мы поворачиваем оглобли и начинаем спускаться, спотыкаемся, как пьяные, скользим, пыхтим, хлюпаем, увязаем в грязи. Кто-то из наших ребят под дождем и ветром кричит мне: «Мы проводим тебя до дому; крова у нас нет, зато есть время».

«А где вы переночуете?» — «Найдем, уж не беспокойся; ведь остается только несколько часов».— «Найдем, найдем! Легко сказать,— говорю.— Ну, пока зайдите на минутку ко мне».— «Что ж, на минутку можно».

И мы гуськом возвращаемся к Мариетте, все пятеро; промокшие до костей.

И вот вертимся, топчемся в нашей комнатушке; это все, что есть в нашем доме, ведь у нас не дворец.

«Виноват, мадам,— спрашивает один парень у Мариетты,— нет ли у вас подвала?»

«Там полно воды,— отвечает Мариетта,— не видно нижней ступеньки, а всего-то их две».

«Тьфу ты, черт! — говорит парень.— Ведь чердака тоже нет...»

Через минутку он встает и говорит мне:

«Спокойной ночи, старина! Мы пошли».

«Как? Вы уходите в такую погоду, ребята?»

«А ты что думал? Не станем же мы мешать тебе и твоей жене!»

«Но как же, брат?..»

«Никаких «но». Сейчас девять часов вечера, а ты должен убраться до зари. Значит, прощай, друг! Эй, ребята, пошли!»

«Пошли,— отвечают ребята.— Спокойной ночи!»

И вот они уже подходят к двери, открывают ее. Тут мы с Мариеттой переглянулись. И не двинулись с места. Потом опять переглянулись и бросились за ними. Я схватил одного за полу шинели, она — другого за хлястик. Все на них вымокло, хоть выжимай!

«Ни за что! Мы вас не отпустим! Этому не бывать! Нельзя...»

«Но...»

«Никаких «но»,— отвечаю, а Мариетта запирает дверь.

— Ну и как? — спрашивает Ламюз.

— Ну, и ничего не было,— отвечает Эдор.— Все забились по углам, зевали, просидели смирно всю ночь, словно в доме лежал покойник. Сначала немного болтали. Время от времени кто-нибудь спрашивал: «Ну, как? Дождь еще льет?», и выходил взглянуть, и возвращался: «Льет». Да и слышно было, что льет. Один толстяк, усатый, как болгарин, боролся со сном изо всех сил. Иногда один или двое засыпали; но кто-нибудь всегда зевал и из вежливости приоткрывал один глаз и потягивался или усаживался поудобней.

Мы с Мариеттой не спали. Мы глядели друг на друга, но мы глядели и на других, а они глядели на нас. Вот и все.

Утро встало; за окном посветлело. Я вышел взглянуть, какая погода. Дождь не переставал. В комнате люди ворочались и тяжело дышали. У Мариетты глаза были красные: ведь она всю ночь глядела на меня. Между нами сидел солдат; он дрожал от холода и набивал трубку.

Вдруг кто-то стучит в окно. Я приоткрываю. Вижу: человек в каске; с нее так и течет вода; его словно принес и втолкнул страшный ветер.

«Эй, хозяйка, можно получить кофе?»

«Сейчас, мосье, сейчас!» — кричит Мариетта.

Она встает со стула, разминает ноги. Она ничего не говорит, глядится в осколок зеркала, слегка оправляет волосы и попросту (вот баба!) говорит:

«Я приготовлю кофе для всех».

Выпили; теперь пора уходить нам всем. Да и посетители то и дело стучат.

«Эй, мамаша!— кричат они и тычутся в приоткрытое окно.— Найдется у вас кофеек? Скажем, три стакана! Четыре!»

«И еще два!» — говорит другой.

Все отпускные подходят к Мариетте, чтобы попрощаться. Они хорошо понимают, что здорово помешали нам в эту ночь; но я вижу, что они не знают, прилично ли заговорить об этом, или лучше ничего не говорить.

Тогда решается толстый «болгарин»:

«Мы вам, сударынька, здорово подгадили, а?»

Он это сказал, чтобы показать, что хорошо воспитан. Мариетта протягивает ему руку.



«Ну, что вы! Желаю вам приятно провести отпуск».

А я ее обнял и принялся целовать. Старался целовать как можно дольше. Целых полминуты! Мне было горько,— еще бы!.. Но я радовался, что Мариетта не захотела выгнать товарищей на улицу, как собак. Я чувствовал, что она тоже считала меня молодцом за то, что я этого не сделал.

«Но это еще не все,— говорит один отпускной, приподнимая полу шинели, и шарит в кармане,— это еще не все: сколько мы вам должны за кофе?»

«Ничего: ведь вы провели эту ночь у нас, вы наши гости».

«Что вы, мадам, совсем нет!..»

И вот мы спорим, рассыпаемся друг перед другом в любезностях. Говори что хочешь, мы только бедняки, но все эти церемонии... это было, брат, чертовски хорошо!

«Что ж, двинем?» — говорят ребята.

Они уходят один за другим. Я остаюсь последним.

Вдруг еще один прохожий стучит в окно: еще одному приспичило выпить кофе. Мариетта высовывается в открытую дверь и кричит:

«Одну минутку!»

Она сует мне в руку сверток и говорит:

«Я купила маленький окорок. Думала: поужинаем с тобой. И литр хорошего вина. Но когда я увидела, что вас пятеро, я не захотела делить, а теперь — тем более. Вот ветчина, хлеб, вино. Возьми, поешь один, милый. А им мы и так достаточно дали».

— Бедная Мариетта! — вздыхает Эдор.— Ведь я не видел ее пятнадцать месяцев! И когда еще увижу!.. Да и увижу ли когда-нибудь?

Ей пришла в голову хорошая мысль,— она положила все это в мой мешок.

Он приоткрывает коричневый мешок.

— Вот здесь ветчина, и хлеб, и винцо! Так вот, раз это уж здесь, знаете, что мы сделаем? Мы это поделим, а, ребятки?

IX

ВЕЛИКИЙ ГНЕВ

Вольпат вернулся из отпуска после поправки; он отсутствовал два месяца; его окружили. Но он хмурился, молчал и сторонился всех.

— В чем дело, Вольпат? Почему ты молчишь? Что ж ты ничего не расскажешь?

— Расскажи, что ты видел в госпитале и потом, когда выздоравливал, старый колпак! Помнишь, как ты уехал весь в бинтах и морда у тебя была будто в скобках. Говорят, ты побывал в разных канцеляриях. Да рассказывай, черт подери!

— Я больше ничего не хочу рассказывать о моей собачьей жизни! — ответил, наконец, Вольпат.

— Как ты сказал? Как он сказал?

— Мне все осточертело! Вот что! Люди! Мерзотина! Блюю я на них. Можешь им это передать.

— А что они тебе сделали?

— Они сволочи! — ответил Вольпат.

Уши у него были пришиты, но лицом он не изменился: те же татарские скулы. С упрямым видом он стоял в кругу любопытных. Чувствовалось, что он озлоблен, что внутри у него все кипит, что за этим молчанием таится гнев.

Наконец он не выдержал. Обернулся в сторону тыла и показал кулак бесконечному пространству.

— Их слишком много,— сказал он сквозь зубы,— слишком много!

Казалось, он мысленно угрожает кому-то, отталкивает целую толпу наступающих призраков.

Скоро мы опять приступили к расспросам. Товарищи знали, что его раздражение прорвется и при первом удобном случае эта тишина разразится громами.

Это было утро в глубоком проходе, где после земляных работ мы собрались завтракать. Шел проливной дождь; он сбил нас в кучу и все кругом затопил: мы ели стоя, лишенные крова, прямо под открытым текучим небом. Приходилось изощряться, чтобы предохранить «обезьяну» — консервную говядину — и хлеб от воды, хлеставшей отовсюду; мы ели, пряча по мере возможности лицо и руки под капюшоном. Вода барабанила, под-

скакивала и текла ручьями по мягкой холщовой или суконной броне и мочила то дерзко, то исподтишка нашу пищу и нас самих. Ноги все больше увязали в глубине глинистого рва, размытого потоками.

Несколько человек смеялись, вытирая мокрые усы; другие гримасничали, откусывая разбухший хлеб и липкое мясо; холодные капли кололи кожу везде, где только не покрывала ее плотная грязная броня.

Прижимая к сердцу котелок, Барк заорал:

— Эй, Вольпат! Так ты, говоришь, видел там только сволочей?

— А каких? — крикнул Блер, и новый порыв ветра подхватил и унес его слова.— Каких же ты видал сволочей?

— Всяких,— буркнул Вольпат.— Да и... Их слишком много, черт их дери!

Он пробовал объяснить, в чем дело. Но мог только повторять: «Их слишком много!» Он был подавлен, задыхался и отдувался; он проглотил размокший кусок хлеба и вместе с ним комок тяжелых воспоминаний.

— Ты, верно, говоришь про окопавшихся?

— А то про кого же?

Он швырнул через насыпь остатки говядины, и этот крик бешено вырвался из его груди.

— Плюнь ты на окопавшихся, старый дурак! — посоветовал Барк шутливо, но не без горечи.— Не стоит портить себе из-за них кровь!

Вольпат весь скрючился и спрятался под тонким клеенчатым капюшоном, по которому блестящим потоком лилась вода; он подставил под дождь котелок, чтоб его вымыть, и проворчал:

— Я еще не спятил и понимаю, что тыловики нужны. Требуются бездельники, белоручки? Ладно... Но их там слишком много, и все одни и те же, и все дрянь, вот что!

Излив в этих словах свой гнев, Вольпат почувствовал облегчение и отрывисто заговорил:

— В первом же поселке, куда меня отправили малой скоростью, я видел их целые кучи, целые кучи, и сразу они мне не понравились. Всякие там отделы, подотделы, управления, центры, канцелярии. Как попадаешь туда, видишь: сколько людей, сколько разных учреждений, и

у всех разные названия. Прямо с ума сойти! Да, хитрец, кто придумал названия всем этим отделам!

Как же мне не портить себе кровь! Насмотрелся я на них! И волей-неволей, даже когда что-нибудь делаю, все думаю о них!

Эх, все эти молодчики! Болтаются там и разводят канцелярщину, вылощенные, в кепи и офицерских шинелях, в ботиночках; едят тонкие блюда; когда угодно пропускают стаканчик винца в глотку, моются, да не один раз, а два раза в день, ходят в церковь, бездельничают, не вынимают папиросы изо рта, а вечером ложатся на перины и почитывают газеты. А потом вся эта мразь будет говорить: «Я был на войне!»

Больше всего поразила Вольпата одна подробность:

— Все эти «солдаты» не таскают с собой котелки и фляги и не едят стоя. Им нужны удобства. Им больше нравится пойти к какой-нибудь шлюхе, сесть за отдельный приготовленный для них стол, лопать, корчить важных господ, а бабенка убирает в буфет их посуду, банки консервов, весь их бордель для жратвы, словом, все, что бывает только у богачей, да и то в мирное время, в этом проклятом тылу!

С неба низвергались водопады. Сосед Вольпата покачал головой и сказал:

— Тем лучше для них!

— Я не сумасшедший...— опять начал Вольпат.

— Может быть, но ты непоследователен.

На это Вольпат обиделся; он привскочил, поднял голову; дождь как будто только и ждал этого и обдал ему лицо.

— Что? Это что такое? «Непоследовательный»! Эх ты, шваль!

— Да, да, сударь! — повторил сосед.— Ты лаешься, а самому, небось, хочется быть на месте этих бездельников и сволочей!

— Конечно, но что это доказывает, дубина ты этакая? Ведь мы были в опасных местах, а теперь наша очередь отдохнуть. А в тылу все одни и те же, говорят тебе; там есть и молодые, здоровенные, как быки, мускулистые, как борцы, и слишком их много. Слышишь,

я повторяю: «слишком много», потому что это так и есть.

— Слишком много? А ты почем знаешь, голова садовая? Ты знаешь, что это за учреждения?

— Не знаю,— ответил Вольпат,— но я говорю...

— А ты думаешь, это такая простая штука — управлять всеми делами?

— Плевать мне на них, но...

— А ты что, хочешь сам туда пролезть? — поддразнил Вольпата невидимый сосед в капюшоне, на который низвергались целые водопады; в этом вопросе таилось или полное равнодушие, или безжалостное желание рассердить Вольпата.

— Я не умею,— просто ответил Вольпат.

— Зато другие умеют,— пронзительным голосом сказал Барк,— я знаю одного...

— Я тоже видел одного такого,— отчаянно заорал сквозь бурю Вольпат.— Да, я встретил этого пройдоху недалеко от фронта, где-то там, где есть эвакуационный пункт и отделение интендантства.

В это время налетел ветер, и донесся вопрос:

— А что это за парень?

На мгновение ветер утих, и Вольпат кое-как смог ответить:

— Он был на распределительном пункте, показывал мне всю их неразбериху: ведь он сам был редкостью на этой ярмарке. Он водил меня по коридорам, залам или баракам; он приоткрывал дверь с надписями или показывал ее и говорил: «Гляди-ка сюда и вот сюда!» Я побывал с ним везде; но он потом не пошел в окопы, не беспокойся. Да он там и раньше не бывал, тоже не беспокойся. Этот пройдоха, когда я увидел его в первый раз, прохаживался по двору. «Это текущая работа»,— говорит. Мы разговорились. На следующий день он устроился денщиком, чтобы «укрыться» и не идти на фронт: с самого начала войны в первый раз подошла его очередь.

Всю ночь он нежился в пуховой постельке; утром на пороге он чистил своей «мартышке» сапоги: шикарные желтые сапожки. Не жалел он на них мази, прямо золотил. Я остановился поглядеть. Парень рассказал мне свою историю. Не помню хорошенько всей его арапской брехни, так же как не помню французской истории

и хронологии, которой мне забивали голову в школе. Его ни разу не отправляли на фронт, хотя он был призыва третьего года и здоровяк. Опасности, трудности, пакость войны — все это было не для него, а для других; да, он, небось, знал, что как только попадешь на передовую, оттуда уже не вырвешься; вот он и отбивался руками и ногами, чтоб не двигаться с места. Его и так и сяк пробовали забрать, но, шалишь, он ускользал из рук всех капитанов, всех полковников, всех военных лекарей, хоть они и здорово бесились и злились на него. Он мне это рассказывал сам. Как он устраивался? Он притворялся, что падает сидя. Принимал идиотский вид. Корчил дурачка. Становился похож на сверток грязного белья. «У меня какое-то общее переутомление»,— хныкал он. Люди не знали, как его взять, и в конце концов оставляли в покое, каждый его выблевывал к черту. Вот как. Когда нужно было, он проделывал разные другие штуки, понимаешь? Иногда вдруг у него заболевала нога; он ловко умел хромать. А потом уж он устраивался; он был в курсе всех делишек, знал все ходы. Вот уж знал парень расписание поездов! Он проскальзывал в учреждения, где были теплые местечки, и тихонько оставался там и даже лез из кожи вон, чтобы люди в нем нуждались. Он вставал часа в три ночи, чтобы сварить кофе, ходил по воду, пока другие лопали; словом, везде, куда только он ни пролезал, он умудрялся прослыть за своего, скотина этакая! Он трудился, чтобы не трудиться. Он напоминал мне одного парня, который мог бы честно заработать сотню монет — столько труда он ухлопал на изготовление фальшивой бумажки в пятьдесят франков. Но вот в чем дело: этот пройдоха спасет свою шкуру. На фронте его понесло бы течением, но он не дурак. Плевать ему на тех, кто мается на земле, и еще больше плевать на них, когда они очутятся под землей. Когда все кончат воевать, он вернется домой и скажет друзьям и знакомым: «Вот я здоров и невредим», а его приятели будут радоваться: ведь он славный парень, хоть и настоящий мерзавец, и — глупей всего! — этому сукину сыну верят, а людям он нравится.

Так вот, не думай, что парней такого сорта мало; их тьма-тьмущая в каждом учреждении; они изворачиваются и всячески цепляются за свои местечки и гово-

рят: «Не пойду»,— и не идут, и никак не удастся послать их на фронт.

— Все это не ново,— говорит Барк.— Знаем, знаем!

— А канцелярии! — воскликнул Вольпат, увлекшись рассказом о своем путешествии.— Их целые дома, улицы, кварталы. Ведь я видел только один уголок в тылу, один пункт, а чего только не нагляделся там. Никогда бы не поверил, что во время войны столько народу просиживает стулья в канцеляриях...

В эту минуту кто-то высунул руку и подставил ее под дождь.

— С неба больше не течет!..

— Ну, тогда нас погонят в укрытие, увидишь...

Действительно, послышалась команда: «Марш!» Ливень перестал. Мы зашагали по длинной, узкой луже, по дну траншеи, где за минуту до этого вздрагивали и расплывались дождевые капли.

Ноги хлюпали по грязи. Вольпат снова принялся ворчать. Я слушал его, глядя, как передо мной покачиваются плечи, прикрытые убогой шинелью.

Теперь Вольпат сердился на жандармов.

— Чем дальше от фронта, тем их больше.

— У них другое поле сражения.

У Тюлака давно был зуб против жандармов.

— Надо видеть,— сказал он,— как на стоянках эти молодцы стараются сначала найти, где можно хорошо устроиться и поесть. А потом, когда обделают эти делишки, стараются пронюхать, где идет тайная торговля вином. Они стоят начеку и следят в оба за дверьми хибарок, не выйдут ли оттуда солдаты навеселе, поглядывая направо-налево и облизывая усы.

— Среди них есть и хорошие: я знаю одного у нас, в Кот-д'Оре.

— Молчи! — решительно прервал его Тюлак.— Все они хороши: один лучше другого.

— Да, им лафа,— сказал Вольпат.— А ты думаешь, они довольны? Ничуть не бывало... Они ворчат...

— Я встретил одного. Он ворчал. Ему здорово надоел воинский устав. Он жаловался: «Не стоит его учить, он все время меняется. Да вот, например, устав полевой жандармерии; только выучишь главную суть, и

вдруг, оказывается, это уже не то. Эх, когда же кончится эта проклятая война?»

— Они делают, что им велят,— робко сказал Эдор.

— Конечно, ведь это не их вина. А все-таки они кадровые военные, получают жалованье, пенсию, медали, а вот мы только призывники. Нечего сказать, они странно воюют.

— Это напоминает мне лесника, которого я встретил в тылу,— сказал Вольпат.— Он тоже ворчал, что его назначают на работы. «Черт знает что с нами делают,— говорит.— Мы старые унтера; за нами по крайней мере четыре года службы. Правда, нам платят хорошее жалованье; ну и что ж? Мы ведь на государственной службе! А нас унижают! В штабах нас заставляют чистить уборные и выносить помои. Штатские видят, как с нами обращаются, и презирают нас. А попробуй поворчать, грозят отправить в окопы, как простого солдата! А во что превращается наше звание? Когда мы вернемся после войны домой и опять станем лесниками (если только вернемся), люди в деревнях и коммунах скажут: «А-а, это вы подметали улицы в Х.?» Чтобы восстановить нашу честь, запятнанную человеческой несправедливостью и неблагодарностью, придется составлять протокол за протоколом даже против богачей, даже против важных шишек!»

— А я видел справедливого жандарма,— возразил Ламюз.— Он говорил: «Жандарм вообще человек непьющий. Но везде бывают прохвосты, правда? Жандарма население действительно боится, это верно; так вот, сознаюсь, некоторые этим злоупотребляют; это отбросы жандармерии, они заставляют подносить им рюмочки. Был бы я начальником или бригадиром, я б их упрятал в тюрьму, и как следует, потому что публика обвиняет всю жандармерию в целом за проделки одного жандарма — взяточника и любителя составлять протоколы».

— Самый поганый день в моей жизни,— сказал Паради,— это день, когда я козырнул жандарму: я принял его за младшего лейтенанта, по белым галунам. К счастью (говорю это себе в утешение, но, может быть, это так и есть), к счастью, он, кажется, меня не видел.

Молчание.

— Да, конечно,— пробормотали остальные.— Но что делать? Не стоит горевать.

* * *

Немного позже, когда мы уже сидели у стены, поставив ноги в грязь, Вольпат все еще продолжал выкладывать свои впечатления:

— Вхожу это я в зал, в канцелярию пункта; это была, кажется, расчетная часть. Куда ни глянь — столы. Народу, как на рынке. Все галдят. По бокам, вдоль стен, и посреди комнаты сидят люди перед своими папками, как торговцы старой бумагой. Я попросил зачислить меня опять в наш полк, а мне сказали: «Хлопочи, выкручивайся сам!» Я нарвался на сержанта: ломака, франтик, свеженький, как огурчик; у него даже очки были золотые. Он молодой, но остался на сверхсрочной службе и потому имел право не идти на фронт. Я говорю: «Сержант!» А он меня не слушает, он слишком занят, он распекает писаря: «Беда с вами, милый мой: двадцать раз я вам говорил, что один экземпляр, на предмет исполнения, надо послать командиру эскадрона, начальнику полевой жандармерии при корпусе, а другой, для сведения, без подписи, но с указанием, что таковая имеется в подлиннике,— начальнику охраны Амьена и других городов области, согласно имеющемуся у вас списку, конечно, от имени военного губернатора... Ведь это очень просто».

Я отошел и жду, когда он кончит ругаться. Минут через пять опять подхожу к нему. Он говорит: «Милый мой, некогда мне возиться с вами, у меня другие дела в голове». И действительно, он бесился перед пишущей машинкой, чертов слюнтяй: он, мол, нечаянно нажал на верхний регистр и, вместо того чтоб подчеркнуть заголовок, наставил целую строчку восьмерок. И вот он слышать ни о чем не хотел и орал и бранил американцев: машинка была американская.

Потом он принялся крыть другого бездельника за то, что в ведомости распределения карт пропустили слова: Продовольственный отдел, Управление транспортом скота и продовольственный обоз Триста двадцать восьмой пехотной дивизии.

Рядом какой-то чурбан во что бы то ни стало хотел отпечатать на гектографе больше циркуляров, чем можно было, и потел и пыхтел, а получились листки, на которых ничего нельзя было разобрать. Другие лодыри болтали. Какой-то пижон спрашивал: «А где наши па-

рижские скрепки?» Да и слова у них там мудреные: «Скажите, пожалуйста, какие подразделения расквартированы в X.?» Подразделения? Это что за тарабарщина? — ворчал Вольпат.— Эти франты сидели за большим столом; я подошел; сержант бесился перед целым ворохом бумажек и наводил в них порядок (лучше б он где надо навел порядок), какой-то парень позевывал, барабанил пальцами по бювару: он был писарем в отделе отпусков, а как раз началось большое наступление, и отпуска были отменены, ему больше нечего было делать. Он говорил: «Вот здорово!»

А ведь это еще только один стол в одной комнате, в одном отделе, в одном управлении. Я видел еще целую уйму канцелярий. Уж не упомню, какие, прямо с ума сойти!

— А у этих лоботрясов галуны?

— Там мало у кого, а в канцеляриях второй линии у всех галуны; там целые коллекции, целые зверинцы окопавшихся.

— А вот я какого видел пижона с галунами,— сказал Тюлак,— это был автомобилист, суконце на нем — прямо атлас, новенькие галуны и ремни, как у английского офицера, хоть сам он был солдатом второго разряда. Подпер он щеку рукой, развалился в шикарном автомобиле с зеркальными стеклами; он служил при нем лакеем. Потеха, да и только! Важного барина корчил, сукин сын!

— Совсем как солдатики на картинках в дамских журнальчиках, в шикарных похабных журнальчиках.

У каждого свои воспоминания, свои старые песенки о «пристроившихся». Все говорят наперебой. Поднимается гул. Мы сидим у мрачной стены, сбившись в кучу; перед нами расстилается истоптанное, серое, грязное поле, бесплодное от дождя.

— Он... заказал мундир у военного портного, а не выпросил у каптенармуса.

— ...Устроился вестовым в Дорожном отделе, а потом в провиантской части, а потом на вещевом складе, а потом самокатчиком при отделе снабжения одиннадцатой группы. Он должен каждое утро отвозить

пакет в интендантство, в Управление сети огневых точек, в Понтонный парк, а вечером в дивизионную и в окопную артиллерию. Вот и вся его работа.

— ...Этот тип рассказывал: «Когда я возвращался из отпуска, бабенки кричали, приветствовали нас на всех переездах». А я ему сказал: «Они, верно, принимали вас за солдат. Вы, значит, мобилизованы?»

«Конечно,— отвечает,— ведь я ездил в командировку: читал лекции в Америке по поручению министра. Разве это не мобилизация? А еще, друг мой, я не плачу за квартиру, значит, я мобилизован...»

— ...А я...

— Словом,— крикнул Вольпат, и властный голос этого путешественника, только что возвратившегося «оттуда», заставил всех замолчать,— словом, я видел всю их свору за жратвой. Два дня я был помощником повара на кухне интендантского управления: мне не позволили бить баклуши в ожидании ответа на мое прошение, а ответ все не приходил, ведь к нему прибавили отношение, запрос, справку, заключение, и всем этим бумажкам приходилось останавливаться на полдороге в каждой канцелярии.

Ну, значит, я был поваром в этом бардаке. Раз подавал обед я, потому что главный повар вернулся из четвертого отпуска и устал. Я видел и слышал всех этих господ каждый раз, как входил в столовку (она помещалась в префектуре).

Там были нестроевые, но был и кое-кто из действующей армии; были старики, немало и молодых.

Мне стало смешно, когда кто-то из этих болванов сказал: «Надо закрыть ставни для безопасности». Ведь они сидели в комнате, в двухстах километрах от линии огня, но эта падаль делала вид, что им угрожает бомбардировка с аэропланов...

— Мой двоюродный брат,— сказал Тирлуар, шаря в карманах,— пишет мне... Да вот что он пишет: «Дорогой Адольф, меня окончательно оставили в Париже, я зачислен в канцелярию лазарета номер шестьдесят. Пока ты там, я торчу в столице под вечной угрозой «таубе» и «цеппелинов».

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!

Эта фраза вызывает общее веселье; ее смакуют, как лакомство.

— А потом еще смешней было во время обеда этих окопавшихся,— продолжал Вольпат.— Обед был хороший: треска (это было в пятницу— постный день), но приготовленная шикарно, вроде камбалы «Маргерит», или как там ее? А уж разговорчиков я наслушался...

— Они называют штык «Розали», да?

— Да. Чучела! Но эти господа говорили больше всего о самих себе. Каждый хотел объяснить, почему он не на фронте; он говорил и то и се, и лопал вовсю, но в общем говорил: «Я болен, я ослаб, поглядите, какая я развалина, я старая песочница». Они старались откопать у себя всякие болезни и щегольнуть ими: «Я хотел пойти на войну, но у меня грыжа, две грыжи, три грыжи». Ну и обед! «Приказы об отправке всех на фронт,— объяснял один весельчак,—это, говорит, комедия: в последнем действии все всегда улаживается. А последнее действие — это параграф: «...если не пострадают от этого интересы службы...» Другой рассказывал: «У меня было три друга, офицеры, я рассчитывал на них, чтобы попасть на фронт. Я хотел обратиться к ним, но незадолго до того, как я собрался подать прошение, они, один за другим, были убиты в сражениях; не везет мне!» Один объяснял другому, что он-то хотел пойти на фронт, но старший врач обхватил его обеими руками и силой удержал в запасном батальоне. «Что ж, говорит, мне пришлось покориться. В конце концов я принесу больше пользы родине моим умом, чем ружьем». А тот, что сидел рядом с ним, кивал кудлатой головой: «Правильно! Правильно!» Он, правда, согласился поехать в Бордо, когда боши подходили к Парижу и когда Бордо стал шикарным городом, но потом он определенно вернулся поближе к фронту, в Париж, и говорил что-то в таком роде: «Я полезен Франции моим талантом; я должен непременно сохранить его для Франции».

Они говорили еще о других, которых там не было: майор, дескать, становится невыносимым, чем больше он дряхлеет, тем становится строже; генерал неожиданно производил ревизии, чтоб выловить окопавшихся, но неделю тому назад он опасно заболел и слег в постель. «Он умрет непременно; его состояние не вызывает больше никаких опасений»,— говорили они, покуривая папиросы, которые дурехи из высшего света по-

сылают солдатам на фронт. «Знаешь Фрази? — сказал кто-то. — Он молоденький, хорошенький, прямо херувим; так вот он нашел, наконец, способ остаться: на скотобойнях требовались резники, вот он и поступил туда, по протекции, хоть он и юрист и служил в нотариальной конторе. Ну, а сыну Фландрена удалось устроиться землекопом». — «Он — землекоп? А ты думаешь — его оставят?» — «Конечно, — ответил кто-то из этих трусов, — землекоп, значит, дело верное...»

— Вот болваны! — проворчал Мартро.

— И все они завидовали, не знаю почему, какому-то Альфреду, не помню его фамилии: «Когда-то он жил на широкую ногу в Париже, завтракал и обедал в гостях или в лучших ресторанах с друзьями. Делал по восемнадцати визитов в день. Порхал по салонам, с файф-о-клока до зари. Без устали дирижировал котильонами, устраивал праздники, ходил по театрам, не считая уже прогулок в автомобилях, и все это поливал шампанским. Но вот началась война. И вдруг он, бедненький, устал: не может стоять поздно вечером у бойницы, не спать и резать проволочные заграждения. Ему надо спокойно сидеть в тепле. Чтоб он, парижанин, отправился в провинцию, похоронил себя в окопах? Да никогда в жизни!» — «Я это понимаю, — отвечал другой франт, — мне тридцать семь лет, в моем возрасте надо себя беречь!» А пока он это говорил, я думал о Дюмоне, леснике; ему было сорок два года; его кокнуло на высоте 132, так близко от меня, что, когда пачка пуль попала ему в голову, даже меня всего затрясло от сотрясения его тела.

— А как эти холуи обращались с тобой?

— Они мной гнушались, но не очень это показывали. Только время от времени, когда уже не могли удержаться. Они смотрели на меня искоса и особенно боялись коснуться меня, когда проходили мимо: ведь я был еще грязный после окопов.

Мне было противно среди всех этих выродков, но я повторял про себя: «Ничего, Фирмен, ты здесь только проездом...» Только раз меня чуть не взорвало, когда кто-то из них сказал: «Потом, когда мы вернемся с войны... если вернемся». Ну, уж это простите. Он не имел права так говорить! Пусть он там «устраивается», но пусть не корчит человека, которому угрожает

опасность: ведь он упрятался, чтоб не идти на фронт! И еще они рассказывали о боях, ведь они побольше нас в курсе всех дел и знают, как ведется война, а после, когда ты вернешься домой,— если только вернешься,— ты окажешься еще виноватым, поверят не тебе, а этим болтунам.

Эх, посмотрели бы вы, как они шутили при ярком свете! Ведь они пользуются жизнью и покоем. Прямо балет, апофеоз в театре! И сколько таких!.. Сотни тысяч!.. — возмущенно крикнул Вольпат.

Но людей, плативших своим здоровьем и жизнью за безопасность других, забавлял гнев, который душил Вольпата, забившегося в угол и окруженного ненавистными призраками.

— Хорошо еще, что он не рассказывает о тех, кто пролез на завод под видом рабочих и укрылся от войны, и обо всех, кто остался дома под свежеиспеченным предлогом национальной обороны,— пробормотал Тирет.— Он бы надоедал нам этим до второго пришествия.

— Ты говоришь, их сотни тысяч, старая муха?— насмешливо сказал Барк.— А вот в девятьсот четырнадцатом году (слышишь?) военный министр Мильеран сказал в палате депутатов: «Окопавшихся у нас нет!»

— Мильеран?—проворчал Вольпат.—Я этого человека не знаю, но если он это сказал, он уж наверняка подлец!

* * *

— Пусть другие делают у себя, что хотят, но почему даже у нас в полку есть неравенство и теплые местечки?

— Всякий старается окопаться за чьей-нибудь спиной,—сказал Бертран.

— Это правда: кем бы ты ни был, всегда найдутся люди порядочней и подлей тебя.

— Все, кто у нас не идет в окопы или никогда не бывает на передовой, и даже те, кто идет туда только изредка, все они, если хочешь, «окопавшиеся», и ты б увидел, сколько их, если б нашивки давали только настоящим бойцам.

— Их по двести пятьдесят человек на каждый полк в два батальона,—сказал Кокон.

— Есть ординарцы, вестовые, а одно время были даже денщики у унтеров.

— Повара и помощники поваров.

— Старшие сержанты и квартирмейстеры.

— Капралы, заведующие продовольствием, и нест роевые, состоящие при кухне.

— Несколько канцелярских крыс и знаменосцев.

— Почтальоны.

— Обозники, рабочие команды, все их начальники и даже саперы.

— Самокатчики.

— Не все.

— Почти все санитары.

— Кроме санитаров-носильщиков: ведь у них не только чертовски трудное ремесло, но они живут вместе с ротами и во время атаки идут за ними с носилками Но вот санитары при госпиталях—другое дело.

— Они почти все священники, особенно в тылу Священников под ружьем я что-то не встречал, а ты?

— Я тоже. На картинках в газетах видал, а здесь не случалось.

— Говорят, все-таки бывали такие.

— Да ну?

— Все равно! Хуже всего приходится в этой войне пехотинцу.

— Другим тоже не сладко. Не мы одни.

— Нет,— упрямо возразил Тюлак,— только мы!

* * *

Вольпат продолжал:

— Ты скажешь, я уж знаю, ты скажешь, что автомобилистам и тяжелой артиллерии круто пришлось под Верденом. Правда. И все-таки по сравнению с нами у их положение было лучше. Мы подвергаемся опасности всегда, а они подвергались ей только раз; нам приходится иметь дело еще с пулями и гранатами, а им—нет. В тяжелой артиллерии они разводили у своих землянок кроликов, восемнадцать месяцев лопали яичницу. А мы действительно торчим в опасных местах. Те, кто бывает в нашем положении только изредка или

один раз,—не в счет. А то бы выходило, что все вокруг вояки: даже нянька и ребятишки, когда гуляют по улицам в Париже: ведь есть «таубе» и «цеппелины», как говорил тот болван, о котором сейчас рассказывал Тюлак.

— В первой дарданелльской экспедиции даже один фармацевт был ранен осколком. Не веришь? Ей-ей. Да, офицер из нестроевой части, а был ранен.

— Это случайность. Я так и написал Мангусту: он служил в обозе и тоже был ранен, но грузовиком.

— Ну да, это так и есть. Ведь бомба может упасть на какой-нибудь бульвар в Париже, или в Бордо, или в Салониках.

— Да, да. Так вот, очень легко сказать: «Все подвергаются одинаковой опасности!» Погоди! С начала войны из нестроевых было убито только несколько человек по несчастной случайности, а вот из нас только несколько человек выжило по счастливой случайности. А это не одно и то же; ведь если помрешь, то надолго.

— Н-да,—сказал Тирет.—Но вы надоели с вашими историями об «окопавшихся». Раз против этого ничего нельзя поделать, не стоит и языком трепать. Это напоминает мне историю одного стражника в Шерей, где мы были месяц тому назад; он ходил по улицам и выискивал штатских, годных по возрасту к военной службе, и, как пес, вынюхивал окопавшихся. И вот он останавливает толстую бабу, смотрит только на ее усы да как заорет: «Ты чего не на фронте?»

— А мне,—сказал Пепен,—наплевать на «уклонившихся» или «полууклонившихся»: не стоит терять на них время, но терпеть не могу, когда они начинают хвастать. Я согласен с Вольпатом: пусть «устраиваются»,—ладно, дело житейское,—но чтобы потом они не говорили: «Я был на войне». Да вот, например, добровольцы...

— Смотря какие. Те, что пошли безоговорочно в пехоту, да, тут ничего не скажешь, перед ними можно только преклоняться, как все равно перед павшими на поле боя; а вот добровольцы, поступившие в учреждения или в разные там специальные войска, даже в тяжелую артиллерию,— эти действуют мне на нервы. Знаем мы их! Они как начнут любезничать в гостях и

скажут: «Я пошел на войну добровольцем!» — «Ах, как это красиво! Вы по собственной воле пошли навстречу смерти!» — «Как же, маркиза, уж я таковский». Эх ты, брехун! Пускает пыль в глаза!

— Я знаю одного молодчика; он поступил добровольцем в авиационный парк. У него был красивый мундир; он с таким же успехом мог бы поступить в оперетку.

— Да, но тогда он не смог бы говорить: «Полюбуйтесь, вот я каков: взгляните, перед вами доброволец!»

— Да что я говорю: «Он с таким же успехом мог бы поступить в оперетку!» Даже лучше было б, если б он туда поступил. По крайней мере смешил бы публику, а так он только бесит.

— Раз воюешь, надо рисковать шкурой, правда, капрал?

— Да,—ответил Бертран.—Война—это смертельная опасность для всех, для всех, неприкосновенных нет. Значит, надо идти прямо вперед, а не притворяться, что идешь, нарядившись в щегольской мундир. А на необходимые работы в тылу надо назначать действительно слабых людей и настоящих стариков.

— Видишь ли, слишком много богатых и важных людей; они кричали: «Спасем Францию и раньше всего спасемся сами!» Как только объявили войну, многие бросились укрываться. Самым ловким это удалось. Я в нашем углу заметил, что окопались, главным образом, те, кто больше всего вопил о любви к родине... Во всяком случае, ребята сейчас правильно сказали: если уж упрятался, то последняя подлость — уверять, что рисковал шкурой. Ведь тех, кто взаправду рисковал жизнью, надо почитать так же, как убитых.

— Ну и что ж? Всегда так бывает. Человека не переменишь.

— Ничего не поделаешь... Ворчать, жаловаться?.. Да, вот, кстати, насчет жалоб; ты знал Маргулена?

— Маргулена? Это тот славный парень из нашего полка, его оставили подыхать на поле сражения, думали, что он убит?

— Да. Так вот он хотел жаловаться. Каждый день он говорил, что пожалуется на все капитану, майору и потребует, чтоб каждый по очереди шел в окопы. После

еды он говорил: «Скажу; это так же верно, как то, что здесь стоит вот эта бутылка вина». А через минуту прибавлял: «Если я не говорю, то только потому, что здесь никогда нет бутылки вина». А если ты опять проходил мимо него, он опять говорил: «Как? Тут бутылка вина? Ну, увидишь, я скажу!» В общем, он так ничего и не сказал. Правда, его убили. Но до этого он бы успел пожаловаться тысячу раз.

— К черту все это!—мрачно проворчал Блер. — Нам одно ясно: что дело темное. А вот если б и вправду что-нибудь прояснилось!..

— Эх, ребята,—воскликнул Вольпат,—послушайте, что я скажу: чтоб очистить все эти тыловые учреждения, пришлось бы отвести туда воды Сены, Гаронны, Роны и Луары! А пока что люди там живут, и даже хорошо живут, и преспокойно дрыхнут каждую ночь. Каждую ночь!

Солдат замолчал. Он вспомнил, как проводишь ночи, весь скрючившись, насторожившись, черный, грязный, на передовом посту, на дне ямы, раздробленная челюсть которой вырисовывается каждый раз, когда пушечный залп мечет в небо огненную зарю.

Кокон горько усмехнулся:

— После этого и умирать не хочется.

— Да чего ты?—миролюбиво сказал кто-то.—Не загибай, селедка тухлая!

X
АРГОВАЛЬ

С полей надвигался вечерний сумрак. Подул нежный, как слова, ветер.

В домах, на длинной дороге, кое-где превращенной в деревенскую улицу, уже не хватало дневного света; зажигались лампы и свечи; мрак выходил на улицу; свет и тень постепенно менялись местами.

За деревней, в поле, бродили солдаты без всякого снаряжения. Мы мирно заканчивали день. Мы наслаждались праздностью, прелесть которой чувствуешь, когда по-настоящему устал. Стояла прекрасная погода; мы только начинали отдыхать и мечтали. В сумерках лица казались строже и спокойней.

Ко мне подошел сержант Сюилар, взял меня под руку и сказал:

— Пойдем, я тебе кое-что покажу.

На краю деревни стояли ряды высоких спокойных деревьев, и время от времени от теплого ветра тяжелые ветви величественно покачивались.

Сюилар шел впереди. Он повел меня по узкой извилистой дороге; по обеим сторонам ее росли кустарники; их верхушки тесно соприкасались. Мы прошли несколько шагов среди сплошной зелени. От последних лучей, косо падавших на дорогу, в листве загорались светло-желтые круглые пятна, похожие на золотые монеты.

— Как тут хорошо!—сказал я.

Сюилар молчал. Он посматривал в сторону. Вдруг он остановился.

— Кажется, здесь.

Мы поднялись по тропинке на поляну, обсаженную большими деревьями; воздух был насыщен запахом свежего сена.

— Посмотри! Вся земля истоптана,—заметил я, рассматривая следы.—Здесь происходила какая-то церемония.

— Иди сюда!—сказал Сюилар.

Он вывел меня в соседнее поле. Там стояла кучка солдат; они говорили, понизив голос. Мой спутник протянул руку и сказал:

— Это здесь.

В нескольких шагах от изгороди, которую в этом месте образовали молодые деревья, торчал столб, не больше метра вышиной.

— Здесь,—сказал Сюилар,—сегодня утром расстреляли солдата двести четвертого полка. Ночью вбили столб. На заре привели этого парня и заставили товарищей по взводу расстрелять его. Дело в том, что он вздумал увильнуть, не хотел идти в окопы; во время смены он отстал, потом тихонько вернулся на стоянку. Вот и вся его вина: должно быть, начальство хотело припугнуть других.

Мы подошли к солдатам.

— Да нет, совсем нет,— говорил один.— Он совсем не был разбойником; он не был закоренелым преступником. Мы с ним пошли на фронт в одно время. Такой

же был парень, как и все мы, не лучше, не хуже; только немного ленивый, вот и все. Он был на передовых позициях с самого начала войны, и я никогда не видел его пьяным.

— Беда в том, что у него скверное прошлое. Сбежал он не один; их было двое. Но другому дали только два года тюрьмы. А Кажар еще до войны, когда был штатским, попал под суд и был осужден: поэтому не признали смягчающих обстоятельств. Когда он был штатским, он с пьяных глаз что-то натворил.

— На земле следы крови,— нагнувшись, сказал кто-то.

— Это проделали со всеми церемониями,— продолжал другой,— присутствовал полковник... на коне; Кажара разжаловали, привязали к колышку: верно, пришлось бедняге стать на колени или сесть на землю.

— Прямо диву даешься,— сказал третий,— за что человека казнили. Разве только, чтобы припугнуть других, как сказал сержант.

На столбе солдаты уже нацарапали слова, выражавшие возмущение, и прибили к этому столбу грубо вырезанный из дерева военный крест с надписью: «Кажару, мобилизованному в августе 1914 года,— благодарная Франция».

Возвращаясь на стоянку, я увидел Вольпата: он был окружен товарищами и разглагольствовал. Наверно, рассказывал какой-нибудь новый случай из своего путешествия в страну счастливцев.

XI
СОБАКА

Погода была ужасная. Ветер сбивал с ног, вода заливала землю, дороги вспучились.

Я возвращался из наряда на нашу стоянку, на край деревни. Под частым дождем земля в это утро была грязно-желтой, небо — черным, как грифельная доска. Ливень стегал, как розгами, по поверхности пруда. Вдоль стен, шлепая по грязи, согнувшись, пробирались жалкие тени.

Несмотря на дождь, на холод и резкий ветер, у ворот фермы, где мы расположились, собрались солдаты. Издали эта толпа казалась огромной движущейся

губкой. Все вытягивали шеи, таращили глаза и говорили:

— Ну и молодчина!

— Да, уж он не из робкого десятка! Вот храбрец так храбрец!

Но любопытные стали расходиться; вымокшие, красноносые, они от удивления разводили руками, потом от холода засовывали их в карманы.

В середине поредевшего круга стоял тот, кто привлек всеобщее внимание: голый по пояс Фуйяд. Он мылся прямо под дождем.

Тощий, как кузнечик, он размахивал длинными, тонкими руками, сопел, кряхтел, неистово мылил и поливал водой голову, шею и грудь с выступающими ребрами. Его впалые щеки покрылись белоснежной бородой, а голова — шапкой пены, которую дырявил дождь.

Вместо лохани он пользовался тремя котелками, он наполнил их водой, неизвестно откуда добытой,— в деревне воды не было,— а так как во всеобщем небесном и земном потопе некуда было положить что бы то ни было, он запихивал полотенце за пояс штанов, а мыло совал в карман.

Те, кто еще остался, с восхищением следили за этим эпическим омовением в такую непогоду, покачивали головой и повторяли:

— Да у него прямо болезнь чистоплотности!

— Знаешь, говорят, его отметят в приказе по полку за дело в той воронке от снаряда, где он сидел с Вольпатом.

— Ну, еще бы, он заслужил отличие.

Не отдавая себе в этом отчета, солдаты смешивали оба подвига: подвиг в бою и подвиг купания, и смотрели на Фуйяда, как на героя дня, а он отдувался, фыркал, задыхался, хрипел, отплевывался, пробовал под этим небесным душем вытереться насухо быстрыми, лихорадочными движениями и наконец стал одеваться.

* * *

После мытья ему стало холодно. И вот он поворачивается на месте и направляется к сараю, где мы жи-

вем. Ледяной ветер бьет его по длинному смуглому лицу, исторгает из глаз слезы, и они катятся по щекам, когда-то обвеянным мистралем; из носа у него течет и каплет.

Побежденный колючим ветром, который хлещет его по ушам (хотя голова повязана шарфом) и по икрам (хотя его петушиные ноги защищены желтыми обмотками), Фуйяд возвращается в сарай; но сейчас же выскакивает оттуда, свирепо вращает глазами и бормочет: «Хреновина! Будь ты проклята!» — произнося эти слова с южным акцентом, с каким говорят за тысячу километров отсюда, в том краю, откуда изгнала Фуйяда война.

Он стоит неподвижно на улице, чувствуя себя больше чем когда-либо чужим в этой северной местности. Ветер налетает и опять грубо встряхивает и колотит его костлявое, легкое тело.

Дело в том, что в сарае, который предоставили нам на стоянке, почти невозможно жить, черт его дери! В нашем убежище тесно, темно, холодно, словно в колодце. Одна половина его затоплена, там плавают крысы, а люди сбились в кучу на другой половине. Стены из планок, склеенных глиной, растрескались, сломаны, пробиты, продырявлены. В ту ночь, когда мы сюда пришли, мы до утра кое-как заткнули ветками, прутьями и листьями трещины, до которых можно было дотянуться рукой. Но дыры в крыше по-прежнему зияют. Слабый свет не может пробиться сверху, зато ветер врывается, дует со всех сторон, изо всех сил, и мы вечно подвергаемся нападению сквозняков.

Вот и стоишь, как столб, в этой кромешной тьме, растопырив руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, стоишь да дрожишь и воешь от холода.

Фуйяд вошел опять, подстегиваемый холодом; теперь он жалеет, что мылся. Ломит поясницу, колет в боку. Он хотел бы что-то предпринять, но что?

Сесть? Невозможно. Слишком грязно: земля и каменные плиты покрыты грязью, а соломенная подстилка истоптана башмаками и совсем отсырела. Сядешь — замерзнешь; ляжешь на солому — мешает запах навоза и задыхаешься от испарений аммиака... Фуйяд только смотрит на свое место и так зевает, что, кажется, у него вот-вот отвалится челюсть, удлиненная бородкой, в



которой можно было б увидеть седые волоски, если бы свет был здесь настоящим светом.

— Не думайте,— сказал Мартро,— что другим лучше и приятней, чем нам. После супа я зашел к одному парню из одиннадцатой роты; они стоят на ферме, у госпиталя. Надо перелезть через стену, а лестница слишком короткая; ноги во как приходится задирать! — замечает коротышка Мартро.— А когда попадешь в этот курятник или крольчатник, все тебя толкают и ты мешаешь всем и каждому. Не знаешь, куда податься. Я оттуда сбежал.

— А мне,— сказал Кокон,— после жратвы захотелось зайти к кузнецу выпить чего-нибудь горячего, за деньги, конечно. Вчера он продавал кофе, а сегодня утром пришли жандармы: парень струхнул и запер дверь на ключ.

Фуйяд видел, как товарищи вернулись повесив нос и повалились на солому.

Ламюз попробовал вычистить ружье. Но здесь это невозможно, даже если сесть на землю у двери, даже если приподнять мокрое, заскорузлое полотнище палатки, повисшее, как сталактит. Здесь слишком темно.

— А если уронишь винтик, его уж не найти, хоть удавись, особенно когда пальцы свело от холода!

— Я хотел кое-что починить, но шалишь, не тут-то было!

Остается только одно: вытянуться на соломе, закутать голову платком или полотенцем, чтоб укрыться от напористой вони гниющей соломы, и уснуть.

Фуйяд сегодня не назначен ни в наряд, ни в караул; он располагает временем и решает лечь. Он зажигает свечу, чтобы порыться в своих вещах, и разматывает длинный шарф; тень этого тщедушного тела сгибается и разгибается.

— Эй, ягнятки! Картошку чистить! — зычным голосом кричит у двери человек в капюшоне.

Это сержант Анрио. Он добродушен и хитер; он пошучивает грубовато и приятно, но зорко следит, чтобы все вышли из сарая, чтобы никто не увильнул от работы. За дверью, под беспрерывным дождем, по размытой дороге, уже идет второе отделение, собранное и отправленное на работу унтером. Оба отряда соеди-

няются. Мы идем вверх по улице, взбираемся на глинистый пригорок, где дымит походная кухня.

— Ну, ребята, начинай! Дело пойдет быстро, если возьметесь дружно... Ну, чего ты ворчишь? Все равно не поможет!

Минут через двадцать мы возвращаемся быстрым шагом. В сарае мы натыкаемся на наши вещи; все вымокло и холодит руки; острый запах промокших животных примешивается к испарениям нашей грязной подстилки.

Мы собираемся у деревянных столбов, подпирающих крышу сарая, подальше от водяных струй, отвесно падающих сквозь дыры в крыше, от этих зыбких колонн, стоящих на брызжущих подножиях.

— Вот они! — кричит кто-то.

Два человека, один за другим, появляются в двери; с них струится и каплет вода. Это Барк и Ламюз. Они ходили искать жаровню. Из этой экспедиции они вернулись не солоно хлебавши. Они сердито ворчат: «Ни жаровни, ни дров, ни угля! За деньги и то не найдешь!»

Невозможно развести огонь.

— Дело лопнуло; уж если даже я ничего не добился, значит, не добьется никто! — гордо объявляет Барк, за которым числятся сотни подвигов по хозяйственной части.

Мы не двигаемся, а если двигаемся, то медленно: ведь здесь слишком тесно; мы подавлены.

— Это чья газета?

— Моя,— отвечает Бекюв.

— Что там пишут? Тьфу ты, забыл, что в такой темноте ничего не разберешь!

— Они пишут, что теперь солдату дают все, что нужно, чтоб ему было тепло. У солдат, мол, есть и шерстяное белье, и одеяла, и печки, и жаровни, и угля сколько влезет. Даже в окопах первой линии.

— Эх, разрази их гром! — бурчат бедные узники сарая и грозят кому-то кулаками.

Но Фуйяд равнодушен к тому, что говорят. В темноте он согнулся всем своим донкихотским костлявым

телом и вытянул жилистую шею. Его привлекает что-то лежащее на земле.

Это Лабри, собака другого взвода, овчарка-полукровка с отрубленным хвостом.

Лабри свернулся в комок на соломенной трухе.

Фуйяд смотрит на Лабри; Лабри смотрит на Фуйяда.

Подходит Бекюв и нараспев, как житель окрестностей Лилля, говорит:

— Он не ест своей похлебки. Нездоров песик! Эй, Лабри, что с тобой? Вот тебе хлеб, вот мясо! Жри! Вкусно? Ему скучно, ему больно. Скоро он подохнет.

Лабри несчастлив. Солдат, которому его поручили, нисколько о нем не заботится, обращается с ним грубо, мучает его. Целый день собака сидит на привязи. Ей холодно, ей неудобно; она заброшена. Она не живет своей обычной жизнью. Время от времени она надеется выйти, замечая как взад и вперед ходят люди; она поднимается, потягивается и робко виляет хвостом. Но это обманчивая надежда. Лабри ложится опять и намеренно не глядит на свою полную миску.

Лабри скучает; ему опротивела жизнь. Даже если он избежит пули или осколков снаряда (ведь он подвергается опасности не меньше нас), он все равно подохнет.

Фуйяд гладит его по голове, Лабри опять смотрит на Фуйяда. У них один и тот же взгляд с той разницей, что человек смотрит сверху вниз, а пес снизу вверх.

Была не была! Фуйяд садится в угол, прячет руки под полы шинели и подгибает ноги, как складную постель.

Опустив посиневшие веки, закрыв глаза, он предается воспоминаниям. Он вызывает видения прошлого. В такие минуты родные края, с которыми он разлучен, облекаются в нежную плоть живого существа. Благоуханный пестрый Эро, улица Сетта. Видно так хорошо, все кажется таким близким, что Фуйяд слышит скрип уключин на Южном канале и грохот погрузки на пристанях, и эти родные звуки неудержимо зовут его.

В конце дороги, пахнущей тмином и бессмертником так сильно, что этот запах можно почти ощутить на вкус,— на самом солнце под благоуханным ветром, та-

ким теплым, словно он прилетел на крыльях из солнечных лучей, на горе Сен-Клер зеленеет крохотная цветущая усадьба его родных. Оттуда видно, как сливается бутылочно-зеленая лагуна с небесно-голубым Средиземным морем, а иногда в темной синеве неба различаешь далекий призрак — зубцы Пиренейских гор.

Там Фуйяд родился и вырос, счастливый, свободный. Он играл на золотисто-рыжей земле и даже играл в солдаты. Он с пылом размахивал деревянной саблей; его пухлые щеки румянились, а теперь они ввалились, пожелтели и как будто покрылись рубцами... Он открывает глаза, осматривается, покачивает головой и предается сожалениям о тех временах, когда война и слава вызывали в нем чистое восторженное чувство. Он прикрывает глаза рукой, чтоб удержать это видение.

Теперь он вспоминает другое.

В тех же краях, на горе, он в первый раз увидел Клеманс. Она прошла, вся залитая солнцем. У нее в руках была охапка соломы: по сравнению с золотыми волосами солома казалась бурой. Во второй раз она шла с подругой. Они остановились обе, чтобы поглядеть на него. Он услышал шепот и обернулся. Заметив, что он их видит, они убежали, шелестя юбками и звонко смеясь.

На том же месте он с Клеманс впоследствии построил дом. Перед домом — виноградник (Фуйяд ухаживал за ним, надев свою любимую соломенную шляпу, которую он носил во все времена года).

У входа в сад — хорошо знакомый розовый куст, который пользовался своими шипами только для того, чтобы ласково удерживать Фуйяда.

Вернется ли Фуйяд домой? Он слишком глубоко заглянул в прошлое; он видит будущее во всей его ужасной наготе. Он думает о потерях своего полка, тающего при каждом обстреле, о жестоких испытаниях, боях, болезнях, истощении...

Он встает, откашливается, чтобы избавиться от всего, что было, от всего, что будет. И вот опять ледяной ветер, мрак, люди, тоскливо ожидающие вечера; он возвращается к действительности и опять начинает дрожать.

Сделав несколько шагов, он натыкается на солдат.

Чтобы рассеяться и утешиться, они вполголоса говорят о еде.

— У нас,— говорит кто-то,— пекут хлебы, круглые, большие, как колеса от телеги.

И он радостно таращит глаза, словно желая увидеть эти хлебы.

— У нас,— вмешивается в разговор наш бедный южанин,— праздничные обеды тянутся так долго, что свежий хлеб к концу обеда черствеет! И есть у нас винцо... Как будто простенькое, а если в нем нет пятнадцати градусов, это уже не то!

Тут Фуйяд принимается рассказывать о темно-красном, почти лиловом вине, которое следует разбавлять водой, оно будто создано для этого.

— А у нас,— говорит беарнец,— есть вино жюрансон, но настоящее, не такое, какое выдают за жюрансон в Париже. Я знаком с одним виноделом...

— Если приедешь к нам,— говорит Фуйяд,— увидишь: у меня есть мускат всех сортов, всех оттенков; можно подумать: это образчики шелков. Приезжай ко мне на месяц, дружок! Каждый день буду угощать тебя другим вином!

— Вот кутнем! — восклицает благодарный солдат.

Разговоры о вине приводят Фуйяда в волнение; они напоминают теплый запах чеснока южной кухни. Запахи водки, вин и ликеров ударяют ему в голову, хотя в сарае завывает ветер.

Фуйяд внезапно вспоминает, что в деревне, где мы стоим, живет виноторговец Маньяк, родом из Безье. Этот Маньяк сказал ему: «Заходи ко мне на днях, мы разопьем винцо из наших краев, черт возьми! У меня припрятано несколько бутылок; пальчики, брат, оближешь!»

Эта возможность вдруг ослепляет Фуйяда. По всему его телу пробегает дрожь от удовольствия; теперь он знает, что делать... Выпить южного вина и даже вина из его родных мест, выпить много!.. Увидеть жизнь опять в розовом свете, хотя бы на один денек! Да, да ему нужно выпить; он мечтает напиться пьяным.

Он немедленно покидает собеседников и тут же идет к Маньяку.

Но на пороге он натыкается на капрала Бруайе, ко-

торый перебегает от сарая к сараю и выкрикивает у каждой двери:

— Марш слушать приказ по полку!

Рота собирается и строится в каре на глинистом пригорке, где к дождю примешивается копоть от походной кухни.

«Пойду выпить после чтения приказа!» — решает Фуйяд.

Он слушает этот приказ рассеянно, поглощенный своей мыслью. Но все-таки он слышит, как начальник читает: «Строго запрещается выходить до семнадцати часов и после двадцати часов»,— и капитан, не обращая внимания на единодушный ропот солдат, поясняет приказ высшего начальства:

— Здесь штаб дивизии. Пока вы будете здесь, не показывайтесь! Прячьтесь! Если дивизионный генерал увидит кого-нибудь из вас на улице, он сейчас же пошлет вас в наряд, на работу. Чтоб ни один солдат не попадался ему на глаза! Не выходить весь день! Делайте, что хотите, лишь бы вас не было видно.

И все возвращаются в сарай.

* * *

Два часа. Только через три часа, когда совсем стемнеет, можно будет безнаказанно выйти на улицу.

А пока — спать? Фуйяду спать больше не хочется; его взволновала надежда выпить. А кроме того, если поспать днем, ночью не уснешь. Ну, нет! Лежать с открытыми глазами всю ночь, да это страшней кошмара!

Погода стала еще хуже. Дождь и ветер усиливаются и снаружи, и внутри...

Как же быть, раз нельзя ни оставаться неподвижным, ни сесть, ни лечь, ни погулять, ни работать?

Усталых, продрогших солдат все больше охватывает отчаяние; они томятся, не знают, что с собой делать.

— Черт подери, до чего же здесь скверно!

Эти слова всеми покинутых людей раздаются, как жалобный вопль о помощи.

И бессознательно они предаются единственному возможному занятию — начинают топтаться, ходить взад и вперед, чтобы не замерзнуть.

И вот они принимаются шагать быстро-быстро, взад и вперед, вдоль и поперек по этому узкому помещению,

в котором всего-то несколько шагов; ходят кругом, сталкиваются, задевают друг друга, ежатся, прячут руки в карманы, притоптывают. Ветер настигает их даже на соломе, они кажутся городскими нищими, ожидающими под нависшим зимним небом, когда откроется дверь какого-нибудь благотворительного учреждения. Но для этих людей дверь не откроется. Разве только через четыре дня, вечером, когда их опять погонят в окопы.

Кокон одиноко сидит на корточках в темном углу. Его кусают вши, но он так ослабел от холода и сырости, что не решается переменить белье и не двигается, отдав себя на съедение вшам.

Но вот уже скоро пять часов вечера. Фуйяд снова мечтает о вине и ждет, храня в душе эту надежду.

— Который час? Без четверти пять... Без пяти пять... Айда!

Он выходит в черную ночь. Перепрыгивая через лужи, шлепая по грязи, он направляется к заведению Маньяка, щедрого, словоохотливого южанина. Под дождем, в чернильном мраке, с большим трудом отыскивает дверь. Боже мой, она заперта! Фуйяд зажигает спичку и, прикрывая огонек большой костлявой рукой, как абажуром, читает зловещую надпись: «Заведение закрыто». Наверно, Маньяк за какое-нибудь нарушение правил изгнан во тьму и обречен на праздность: ему запретили торговать.

Фуйяд поворачивается, идет прочь от кабачка, который стал для его земляка тюрьмой, но не отказывается от своей мечты... Он пойдет в другой кабачок, выпьет простого вина за деньги, вот и все.

Он сует руку в карман, нащупывает кошелек. Кошелек на месте. Там должно быть тридцать семь су. Конечно, это не золотые россыпи, но все-таки...

Вдруг Фуйяд останавливается и хлопает себя по лбу. Его лицо вытягивается, искажается ужасной, невидимой в темноте гримасой.

Нет, у него больше нет тридцати семи су! Эх ты, старый дурак! Забыл, что накануне купил коробку сардинок (ведь так надоели казенные серые макароны) и еще угостил вином сапожников, которые починили ему башмаки.

Беда! Осталось, наверное, только тринадцать су!

Чтоб опьянеть как следует и забыть теперешнюю жизнь, ему надо выпить добрых полтора литра, черт подери! А здесь литр красного вина стоит двадцать одно су. Не хватает!

Он озирается в темноте. Ищет. Может быть, найдется товарищ, который даст взаймы денег или угостит вином.

Но кто, кто? Во всяком случае, не Бекюв: ведь у него только одна «крестная» (она посылает ему каждые две недели табаку и почтовой бумаги). Не Барк: он не захочет; не Блер: он скуп и не поймет. Не Бике: он, кажется, сердится на Фуйяда; не Пепен: он сам клянчит и не платит, даже когда приглашает выпить. Эх, если бы здесь был Вольпат! Есть еще Мениль Андре, но Фуйяд уже должен ему за несколько угощений. А капрал Бертран? Нет, Фуйяд послал его к черту в ответ на какое-то замечание, и теперь они смотрят друг на друга косо. Фарфаде? Фарфаде никогда с ним не разговаривает. Нет, он чувствует, что нельзя попросить у Фарфаде. Да и зачем — черт подери! — искать избавителей в собственном воображении? Где сейчас все эти люди?

Он медленно идет обратно на стоянку. Потом вдруг бессознательно поворачивает и опять идет вперед нерешительным шагом. Он все-таки попробует. Может быть, люди, которые уже сидят за столиками... В час, когда тьма спускается на землю, он подходит к центру деревни.

Освещенные двери и окна кабачков отражаются в лужах на главной улице. Через каждые двадцать шагов — кабачок. Чернеют фигуры солдат; чаще всего они идут вниз по улице целой компанией. Когда проезжает автомобиль, все сторонятся, освещенные фарами и забрызганные грязью, расплескиваемой колесами по всей улице.

Кабачки полны солдат. В запотевшие окна видно, что везде битком набито.

Фуйяд входит наудачу в кабачок. Уже на пороге его умиляет теплый воздух, свет, запах и гул голосов. Что ни говори, все это обрывки прошлого в настоящем.

Он протискивается между столиками, обходит их, задевает, оглядывает всех посетителей. Увы! Он здесь никого не знает.

В другом кабачке — то же самое. Не везет Фуйяду! Как он ни вытягивает шею, как ни старается найти знакомого среди всех этих людей, которые пьют, беседуют или сидят в одиночку и пишут письма,— все напрасно! Он — как нищий. Никто не обращает на него внимания.

Не найдя никого, кто бы пришел ему на помощь, он решается купить вина хотя бы на оставшиеся гроши. Он подходит к стойке...

— Полбутылки вина, да хорошего!..

— Белого?

— Ну да!

— Ты, парень, видно, с юга,— говорит хозяйка, протягивает ему бутылочку и стакан и получает двенадцать су.

Он садится у края стола, уже занятого четырьмя посетителями, играющими в «манилью»; он до краев наполняет стакан, выпивает и опять наполняет его.

— Эй, за твое здоровье! Смотри, не разбей стакана! — вдруг орет над самым ухом Фуйяда новый посетитель в грязной синей куртке; у него густые сросшиеся брови, бледное лицо, коническая голова и большие оттопыренные уши. Это оружейник Арленг.

Не очень красиво сидеть одному за бутылкой перед товарищем, которому явно хочется выпить. Но Фуйяд делает вид, что не понимает вожделений Арленга, который вертится перед ним с просительной улыбкой. Фуйяд залпом выпивает стакан. Тогда Арленг поворачивается к нему спиной и ворчит: «Эти южане не очень-то любят делиться! Жадюги!»

Фуйяд подпирает подбородок кулаками и смотрит невидящими глазами в угол кабачка, где солдаты толпятся, теснятся, толкаются, стараясь пройти.

Конечно, это белое винцо недурно, но что эти жалкие капли для жаждущей пустыни? Тоска оставила Фуйяда ненадолго. И вернулась.

Фуйяд встает. Выпить пришлось только два стакана, а в кошельке осталось только одно су. Собрав последние силы, он заходит в другой кабачок, напрасно ищет там знакомых и, уходя, бормочет, чтобы не выдать себя: «Черт бы его побрал! Эта скотина никогда не приходит вовремя!»

Он возвращается в сарай. Там по-прежнему шумит ветер и льет дождь. Фуйяд зажигает огарок и при свете пламени, которое отчаянно трепещет, словно пытаясь улететь, идет взглянуть на Лабри.

С огарком в руке он садится на корточки перед бедной собакой, которая умрет, может быть, раньше его. Лабри спит чутко, он приоткрывает один глаз и виляет хвостом.

Фуйяд гладит собаку и тихо говорит:

— Ничего не поделаешь! Ничего!

Больше он ничего не хочет прибавить, чтоб не огорчать Лабри; собака соглашается с ним, опускает голову и опять закрывает глаза.

Фуйяд встает с трудом (у него ломит суставы), идет спать. Теперь у него только одна надежда — заснуть, чтобы кончился этот мрачный день, этот день небытия, один из многих дней, которые придется еще героически вытерпеть, пережить, пока не наступит последний день войны или последний день жизни.

XII

ПОРТИК

— Туман. Хочешь туда пойти?

Это спрашивает меня Потерло. Он поворачивается ко мне. Его славное лицо кажется прозрачным от света голубых глаз.

Потерло — родом из Суше; с тех пор как наши выбили немцев из этой деревни, он хочет увидеть места, где жил счастливо в те времена, когда еще был свободным человеком.

Это опасное паломничество. Не потому, что мы далеко: до Суше рукой подать. Мы уже полгода живем и работаем в окопах и ходах сообщения так близко, что, кажется, можно услышать голоса из этой деревни. Надо только вылезти прямо отсюда на Бетюнскую дорогу; вдоль нее тянутся окопы; под ней прорыты ячейки наших укрытий; надо пройти четыреста или пятьсот метров вниз по этой дороге, и попадешь в Суше. Но все эти места неприятель постоянно обстреливает. После своего отступления он осыпает их снарядами, которые время от времени сотрясают нас в наших подземельях и

мечут над насыпью огромные черные гейзеры из земли и разных обломков или столбы дыма высотой с церковь. Зачем немцы бомбардируют Суше? Неизвестно. В этой деревне, не раз переходившей из рук в руки, не осталось больше никого и ничего.

Но в это утро нас обволакивает густой туман, и под этим покровом, который небо накинуло на землю, можно рискнуть... По крайней мере можно быть уверенным, что нас не заметят. Туманом герметически закрыт усовершенствованный глаз — немецкая «колбаса», которая, наверно, где-то там, в небе, окутана этой ватой; туман стоит легкой, но непроницаемой стеной между нашими линиями и немецкими наблюдательными пунктами в Лансе и Ангре.

— Ладно, пойдем! — отвечаю я на вопрос Потерло.

Мы посвятили в наш план унтера Барта; он кивает головой и опускает веки, давая нам понять, что закрывает на это глаза.

Мы вылезаем из траншеи и выходим на Бетюнскую дорогу.

Днем я здесь в первый раз. Раньше мы видели эту страшную дорогу только издали; в темноте, согнувшись, под пулями, мы не раз перебегали ее вприпрыжку.

— Так пойдем, брат?

Через несколько шагов Потерло останавливается посреди дороги, где нависли растрепанные хлопья тумана; он таращит голубые глаза и приоткрывает красный рот.

— Ну и ну!..— бормочет он.

Я оборачиваюсь к нему; он указывает мне на дорогу, покачивает головой и говорит:

— Вот она. Господи! И подумать, что это она!.. Да я ее знаю так, что с закрытыми глазами увижу ее точно такой же, какой она была; она даже мерещится мне. А теперь и смотреть на нее страшно! Какая была прекрасная дорога, вся обсажена высокими деревьями... А теперь?.. Погляди, до чего ее искалечили!.. Погляди: окопы по обеим сторонам, вдоль всей дороги! Камни разбиты, истолчены, деревья вырваны с корнем, раскиданы, расщеплены, обуглены, пробиты пулями, а вот это — прямо шумовка! Эх, брат, ты и представить себе не можешь, какая это была прекрасная дорога!

Он идет дальше и на каждом шагу ужасается.

В самом деле дорога вселяет ужас; по обе стороны ее зарылись две армии, уцепились за нее и полтора года ее истязают; над этой дорогой пролетают только пули и целые стаи, целые тучи снарядов; они ее избороздили, взъерошили, засыпали землей, снесенной с полей, разрыли и вывернули до самих недр. Это проклятый путь, бесцветный, искореженный, зловещий и величественный.

— Если бы ты знал ее раньше! Она была чистая и прямая,— говорит Потерло.— Все деревья стояли на месте, везде были цветы, похожие на бабочек; здесь всегда с тобой кто-нибудь приветливо здоровался: проходила женщина с двумя корзинами или люди проезжали на двуколке и громко разговаривали, а их блузы раздувались на ветру. Эх, хорошо здесь раньше жилось!

Он идет дальше к брустверам, к берегам реки туманов, протекающей по руслу дороги. Он нагибается и останавливается у еле заметных бугорков, на которых чернеют могильные кресты; вбитые там и сям в стену тумана, они напоминают вехи крестного пути, изображенные в церквах. Я зову Потерло. Если идти похоронным шагом, мы не доберемся. Пошли!

Мы подходим к скату; я шагаю впереди; Потерло тащится сзади, опустив голову, поглощенный своими мыслями, тщетно стараясь разглядеть родные места. Здесь дорога идет под откос. С севера она прикрыта выступом. В этом защищенном месте еще есть кой-какое движение.

На грязном, большом пустыре, поросшем сожженной травой, рядами лежат мертвецы. Их приносят сюда по ночам, очищая окопы или равнину. Они ждут — многие уже давно,— когда их перенесут на кладбище, в тыл.

Мы тихо подходим к ним. Они тесно прижались друг к другу: каждый окаменел в той позе, в какой его застигла смерть. У некоторых лицо заплесневело, кожа словно заржавела, пожелтела, покрылась черными точками. У многих лицо совсем черное, смоляное; губы распухли: это раздутые, как пузыри, негритянские головы. А ведь здесь лежат не негры. Между двух тел торчит чья-то отрубленная кисть руки с клубком оборванных жил. Другие — бесформенные, загаженные глыбы; сре-

ди них разбросаны какие-то предметы снаряжения или куски костей. Дальше лежит труп, который был в таком состоянии, что его пришлось втиснуть в проволочную сетку, прикрепленную к концам кола, чтобы тело не рассыпалось по дороге. Его принесли сюда, словно какой-то комок; он так и лежит в металлическом гамаке. Ни верхней, ни нижней части тела не узнать; в этой каше виден только зияющий карман штанов. Из него выползает и вползает обратно какое-то насекомое.

Над трупами летают письма; они выпали из карманов или подсумков, когда мертвецов клали на землю. Я нагибаюсь и на запачканном клочке бумаги, бьющимся на ветру, разбираю следующую фразу: «Дорогой Анри, какая чудесная погода в день твоих именин!» Мертвец лежит на животе; глубокой бороздой у него рассечена от бедра до бедра поясница; голова вывернута; вместо глаза — пустая впадина; висок, щека и шея поросли чем-то вроде мха.

Омерзительная вонь разносится ветром над этими мертвецами и над кучей отбросов: здесь валяются клочья парусины, обмотки, лохмотья, измаранные, пропитанные запекшейся кровью, обугленные, заскорузлые, землистые и уже истлевшие; они кишат червями. Неприятно! Мы переглядываемся, покачиваем головой, не решаясь сказать вслух, что плохо пахнет. И все-таки торопимся уйти.

В тумане появляются сгорбленные люди; они что-то несут. Это санитары-носильщики, нагруженные новым трупом. Старые, худые, они идут медленно, кряхтят, потеют, гримасничают от усилий. Нести вдвоем мертвеца через ходы сообщения, по слякоти — почти сверхчеловеческий труд.

Они кладут мертвеца, одетого во все новое.

— Ведь он еще совсем недавно был на ногах,— говорит санитар,— и вдруг два часа тому назад ему прострелили голову: он вздумал пойти поискать в поле немецкое ружье, в среду он должен был уехать в отпуск и хотел привезти это ружье домой. Это сержант четыреста пятого полка, призыва четырнадцатого года. Славный был паренек!

Санитар приподнимает платок, прикрывающий лицо убитого; этот сержант совсем молод; он как будто

спит; только глаза закатились, щеки — восковые, а в ноздрях и на губе застыла розовая пена.

Его труп кажется чем-то чистым в этом свалочном месте; он еще откидывает голову набок, когда его трогают, как будто хочет улечься поудобней; можно подумать, что он не так мертв, как все остальные. Он изуродован меньше других, он кажется торжественней, ближе тому, кто на него смотрит. И перед всей этой грудой убитых существ мы скажем только о нем: «Бедный парень!»

Мы идем дальше по той же дороге; она ведет вниз, к Суше. Под белизной тумана она предстает страшной долиной скорби. Кучи обломков, обрывков, отбросов высятся на ее перебитом хребте и по краям; она становится непроходимой. Землю устилают деревья; они вырваны с корнями, расщеплены, раздроблены. Насыпи снесены или разворочены снарядами. Вдоль всей дороги уцелели только могильные кресты; чернеют окопы, по двадцать раз засыпанные и опять вырытые, мостки над ямами, решетки из прутьев над рытвинами.

Мы подвигаемся; все перевернуто, полно гнили, от всего веет всеобщей гибелью. Мы ступаем по мостовой из осколков снарядов. Мы натыкаемся на них, попадаем в их кучи, как в ловушку, спотыкаемся о груды разбитого оружия, обломков кухонной утвари, бидонов, плит, швейных машин, мотков электрических проводов, предметов немецкого и французского снаряжения, покрытых корой сухой грязи, подозрительных лохмотьев, склеенных красно-бурой замазкой. И надо остерегаться невзорвавшихся снарядов: отовсюду торчат их заостренные головки, днища или бока, выкрашенные в красный, синий, темно-бурый цвет.

— Это бывшая траншея бошей, им пришлось ее оставить.

Кое-где она засыпана, кое-где продырявлена снарядами. Мешки с землей разбросаны, прорваны, опорожнены и треплются по ветру; деревянные подпорки лопнули и торчат со всех сторон. Укрытия до краев засыпаны землей и всякой дрянью. Можно подумать, что это разбитое, расширенное, загаженное, иссохшее русло реки, покинутое водами и людьми. В одном месте траншея стерта с лица земли; вместо широкого рва — свежевспаханное поле с симметрически вырытыми ямами.

Я показываю моему спутнику на это необычное поле, по которому, казалось, прошел гигантский плуг. Но Потерло поглощен своими мыслями.

* * *

Он тычет пальцем в пространство; он ошеломлен, как будто только что проснулся.

— Красный кабачок!

Теперь это пустырь, засыпанный битым кирпичом.

— А это что такое?

Камень? Нет, это голова, черная, дубленая, начищенная ваксой голова. Рот перекошен, усы торчат. Большая обугленная голова кота. Это немец; он погребен стоймя.

— А это?

Это нечто мрачное: белый-белый череп, в двух шагах от него — пара сапог, и между ними куча изодранных ремней и тряпок, слепленных бурой грязью.

— Пойдем! Туман уже редеет. Скорей!

В ста метрах от нас, в волнах тумана, перемещающихся вместе с нами и все менее надежных, свистит и разрывается снаряд... Он падает туда, где мы должны пройти.

Мы спускаемся. Откос становится более отлогим. Мы с Потерло идем рядом. Он молчит, поглядывает направо и налево.

Вдруг он опять останавливается и вполголоса бормочет:

— В чем дело? Это здесь... Ведь это здесь...

Действительно, мы не вышли за пределы равнины, широкой, бесплодной, опаленной равнины, а между тем мы в Суше.

Деревня исчезла. Никогда я еще не видел подобного исчезновения деревни. Аблен-Сен-Назер и Каранси еще сохранили подобие селений, хотя дома там пробиты, изуродованы, а дворы засыпаны известкой и черепицами. А здесь, среди истерзанных деревьев, окружающих нас, как призраки, все потеряло первоначальный облик; нет даже обломка стены, решетки, двери, и под грудой

балок, камней и железной рухляди странно видеть остатки мостовой: здесь была улица.

Это похоже на грязный болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали хлам, всякие отбросы, старую утварь; среди этих разнообразных куч мусора пробираешься очень медленно, с большим трудом. После бомбардировок изменился весь облик местности; даже речонка повернула в сторону от мельницы, течет куда попало и образует пруд посреди маленькой разрушенной площади, где стоял крест.

В ямах, вырытых снарядами, гниют огромные, раздувшиеся трупы лошадей; кое-где валяются изуродованные чудовищной раной останки того, что когда-то было человеческим существом.

Вот поперек тропинки, по которой мы пробираемся с трудом среди нагромождения обломков, под скорбным небом лежит человек; он как будто спит; но он лежит плашмя, сплющился, прижался к земле: нет, он не спит, он мертв. Этот солдат разносил суп. Рядом лежат нанизанные на лямку хлебы, целая гроздь кружек, привязанных к плечу ремнями. Наверно, этой ночью осколок снаряда пробил ему спину. Можно не сомневаться: мы первые обнаружили этого неизвестного солдата, погибшего неизвестно как. Может быть, он истлеет, прежде чем его найдут. Мы ищем его номерок; номерок увяз в запекшейся луже крови, в которой холодеет его правая рука. Я записываю имя и фамилию, начертанные кровавыми буквами. Потерло предоставляет мне делать все, что угодно. Он движется, как лунатик. Он смотрит, смотрит и растерянно озирается по сторонам: он что-то ищет среди всего этого разгрома, он ищет даже в туманных далях.

Он садится верхом на балку, отшвырнув ногой стоявшую на ней сплющенную кастрюлю. Я сажусь рядом с ним. Накрапывает дождь. Сырой туман оседает каплями и покрывает все глянцем.

Потерло бормочет:

— Тьфу ты!.. Тьфу ты!..

Он вытирает пот со лба, поднимает на меня умоляющие глаза. Он пробует понять, окинуть взглядом весь этот разрушенный уголок земли, привыкнуть к этим утратам. Он бормочет бессвязные слова. Снимает каску.

Над его головой поднимается пар. Он с трудом говорит:

— Эх, брат, ты и представить себе не можешь, не можешь, не можешь...

Он задыхается.

— Красный кабачок, там, где мы видели голову того боша и кругом кучи отбросов... эта помойка... это... был кирпичный дом и рядом два низких флигеля... Сколько раз, брат, в том месте, где мы остановились, сколько раз я говорил «До свиданья!» славной бабенке, которая стояла на пороге и смеялась! Я вытирал рот, смотрел в сторону Суше и шел домой: пройдешь, бывало, несколько шагов, обернешься и крикнешь ей что-нибудь для смеху! Эх, ты и представить себе не можешь! А это, это!..

Он показывает на страшное опустошение...

— Не надо здесь задерживаться, друг. Гляди, туман рассеивается.

Он с усилием встает.

— Пойдем!..

Самое трудное еще впереди. Его дом...

Он топчется, озирается, идет...

— Это здесь... Нет, я прошел. Это не здесь. Не знаю, где это, не знаю, где это *было*. Эх, горе! Беда!

Он в отчаянии ломает руки, он еле стоит на ногах среди щебня и досок. Он ищет то, что было в его доме: уют комнат, отрадную тень. Все это развеяно по ветру. Затерянный на этой загроможденной равнине, где нет никаких примет, он смотрит в небо, как будто там можно что-нибудь найти.

Он мечется во все стороны. Вдруг он останавливается и отступает на несколько шагов.

— Это было здесь! Как пить дать! Видишь, я узнаю по этому камню. Здесь была отдушина. Вот след сорванного железного бруска!

Он тянет носом, соображает, медленно, безостановочно кивает головой.

— Вот, когда больше ничего нет, только тогда понимаешь, что был счастлив. Эх, как счастливо мы жили!

Он подходит ко мне и нервно смеется.

— Это редкий случай, а? Я уверен, что ты еще никогда не видел ничего подобного: чтоб невозможно было найти свой дом, где всегда жил!



Он поворачивается и уводит меня.

— Ну, пошли, раз ничего больше нет! Как поглядишь на места, где все это было!.. Пора, брат!

Мы уходим. В этих призрачных местах, в этой деревне, погребенной под обломками, мы — единственные живые существа.

Мы опять поднимаемся вверх. Мой товарищ шагает, повесив голову; он показывает мне поле и говорит:

— Здесь кладбище! Оно было здесь, а теперь оно везде.

На полдороге мы замедляем шаг. Потерло подходит ко мне.

— Видишь ли, это уж слишком. Вся моя прежняя жизнь пошла насмарку, вся жизнь...

— Ну, что ты! Ведь твоя жена здорова, ты это знаешь, твоя дочка тоже.

Его лицо принимает странное выражение.

— Моя жена... Я тебе кое-что расскажу... Моя жена...

— Ну?

— Ну, брат, я ее видел.

— Ты ее видел? А я думал, что она осталась в области, занятой немцами!

— Да, она в Лансе, у моих родных. И все-таки я ее видел... Ну, ладно, черт подери!.. Я расскажу тебе все. Так вот, я был в Лансе три недели назад... одиннадцатого числа. Три недели тому назад.

Я смотрю на него; я ошеломлен... Но по его лицу видно, что он говорит правду. Он шагает рядом со мной в проясняющемся тумане и бормочет:

— Как-то раз нам сказали... Ты, может быть, помнишь... Нет, ты, кажется, там не был. Нам сказали: «Надо укрепить сеть проволочных заграждений перед окопом Бийяра». Понимаешь, что это означает? До сих пор это никогда не удавалось: как только выходишь из траншеи, немцы тебя видят на спуске,— у него чудно́е название...

— Тобогган.

— Да, да... В этом месте так же опасно ночью или в тумане, как среди бела дня: на него заранее направлены ружья, установленные на подсошках, и пулеметы. Немцы поливают снарядами все, даже когда ничего не видно.

У нас взяли солдат из рабочей нестроевой роты, но

некоторые увильнули; их заменили рядовыми из строевых рот. Я был с ними. Ладно. Выходим. Ни одного выстрела! «Что это значит?» — спрашивают солдаты. Но вот из-под земли вылезает один бош, два боша, десять бошей,— серые черти! — машут нам руками и кричат: «Камрад! Мы эльзасцы!» — и все выходят из Международного хода. «Мы не будем стрелять, говорят, не бойтесь, друзья! Дайте нам только похоронить наших убитых товарищей!» И вот все мы начали работать, каждый на своей стороне, и даже разговорились с ними: ведь это эльзасцы. Они бранили войну и своих офицеров. Наш сержант знал, что с неприятелем нельзя вступать в беседу, и нам даже читали приказ, что с бошами можно говорить только винтовкой. Но сержант сказал, что подвернулся единственный случай укрепить проволочные заграждения, и раз боши дают нам работать во вред им же, надо этим воспользоваться... Вдруг какой-то бош говорит: «Нет ли среди вас кого-нибудь из занятых областей, кто бы хотел узнать о своей семье?»

Ну, брат, тут я не выдержал. Я не раздумывал, хорошо это или плохо, вышел вперед и сказал: «Я!» Бош стал меня расспрашивать. Я сказал, что моя жена — в Лансе, у родных, вместе с дочкой. Он спросил, где она живет. Я объяснил. Он сказал, что хорошо знает, где это. «Вот что, говорит, я отнесу ей от тебя письмо и даже ответ тебе принесу». Вдруг этот бош как хлопнет себя по лбу и подходит ко мне: «Да вот что, брат, еще лучше: если сделаешь, что я тебе скажу, ты увидишь жену, и ребенка, и всех, вот как я сейчас вижу тебя!» Для этого надо только пойти с ним в такой-то час, надеть немецкую шинель и бескозырку (он мне их достанет). Он примет меня в их рабочую команду, которую посылают за углем в Ланс; мы дойдем до дома, где живет моя жена. Я смогу ее увидеть, если только не буду показываться; за своих людей он ручается, но в доме, где живет моя жена, стоят немецкие унтеры; вот за них он не отвечает... Что ж, я согласился.

— Опасная штука!

— Конечно, опасная. А я решился сразу, не подумаь, не желая обдумывать. Как? Повидать своих? Если даже меня потом расстреляют, что ж, пусть, даром ничего не дается. Это «закон спроса и предложения», так, что ли, говорится?

Ну, брат, все пошло как по маслу. Комар носу не подточит. Только им пришлось повозиться, чтобы найти для меня бескозырку: знаешь, у меня большая голова Но устроили и это: в конце концов откопали бескозырку как раз по моей башке. А сапоги у меня ведь немецкие,— знаешь, те, что Карон снял с убитого боша и оставил мне. Так вот, я пошел в немецкие окопы (они здорово похожи на наши) вместе с этими, так сказать, бошами; они говорили на чистейшем французском языке, как мы с тобой, и советовали мне не волноваться.

Не было даже тревоги, ничего. Все прошло так гладко и просто, что я даже забыл, что я липовый немец. Мы пришли в Ланс к вечеру. Помню, мы прошли мимо ратуши и двинулись по улице Четырнадцатого июля. Я видел, как жители ходили по улицам, совсем как у нас на стоянках. В темноте я их не узнавал, а они — меня. Да им и в голову не могло прийти, что мы выкинули такой фортель... Было темно, хоть глаз выколи. Наконец я пришел в сад моих родных.

Сердце у меня билось; я дрожал с головы до ног, словно весь превратился в сердце. Я еле удержался, чтобы громко не расхохотаться и не заговорить по-французски, так я был счастлив и взволнован. Камрад бош сказал мне: «Пройди разок-другой, погляди в окно. Но как будто случайно... Осторожней!..» Тогда я сразу спохватился, взял себя в руки. Этот бош был славный парень, молодчина; ведь если б я попался, что бы с ним сделали, а?

Знаешь, у нас, да и везде в Па-де-Кале, входные двери разделяются надвое: внизу что-то вроде загородки по пояс человеку; наверху — что-то вроде ставня. Верхнюю половину двери можно открыть, и получится окошко.

Ставень был открыт; кухня (она, конечно, служит и столовой) была освещена; слышались голоса.

Я прошел, вытянув шею. За круглым столом сидели мужчины и женщины; их лица розовели при свете лампы. Я впился глазами в Клотильду. Я видел ее хорошо. Она сидела между двумя бошами, кажется, унтерами; они с ней разговаривали. А она что делала? Ничего. Опустила голову, приветливо улыбалась; ее белокурые волосы золотила лампа.

Она улыбалась. Она была довольна. Она как будто чувствовала себя хорошо среди этих сволочей бошей, у

лампы, у огня, в хорошо знакомом мне родном тепле. Я прошел мимо, потом вернулся и опять прошел. Я опять увидел ее, и она все улыбалась. И не через силу, не лживой улыбкой, нет, настоящей улыбкой, от души улыбалась. И пока я проходил туда и обратно, я успел увидеть и мою дочку: она протягивала ручонки толстяку-бошу с галунами и пробовала взобраться к нему на колени. А кто сидел рядом с ним? Мадлен Вандаэр, вдова Вандаэра, моего товарища по девятнадцатому полку, убитого на Марне, под Монтионом.

Она знала, что он убит: она была в трауре! И вот она даже не смеялась, она прямо хохотала, ей-богу... и смотрела то на одного, то на другого боша, словно говорила: «Как мне здесь хорошо!»

Эх, брат, я пошел дальше и наткнулся на «камрадов»; они ждали меня, чтобы проводить назад. Как я вернулся, уж не знаю. Меня совсем пришибло. Я шатался, как очумелый. Попробовал бы меня кто-нибудь тронуть! Я бы заорал во всю глотку, устроил скандал; пусть бы меня убили, лишь бы покончить с этой подлой жизнью!

Понимаешь? Моя жена, моя Клотильда, в этот день, во время войны, улыбалась! Как? Значит, стоит на некоторое время уехать, и ты больше не в счет! Уходишь из дому, идешь на войну, все ревут, можно подумать, для них все погибло; и потом мало-помалу привыкают жить без тебя, и ты как будто не существовал; без тебя обходятся, чувствуют себя счастливыми по-прежнему и улыбаются. Эх, проклятая жизнь! Я не говорю о той стерве, что смеялась; но моя, моя собственная Клотильда в ту минуту, когда я ее случайно увидел, в ту минуту — что там ни говори! — плевала на меня!

И добро бы она сидела с друзьями, родными; так нет же, с унтерами бошами! Ну, скажи, разве не стоило броситься в комнату, влепить ей две оплеухи и свернуть шею курве в трауре?

Да, да, я хотел было это сделать. Я знаю, что это было бы уж слишком... Но я взбесился, понимаешь...

Заметь, я не хочу сказать больше того, что говорю. Клотильда — славная баба. Я ее знаю и доверяю ей. Можно не сомневаться: если б меня ухлопали, она бы, для начала, выплакала все слезы. Она считала меня живым,— согласен. Но дело не в этом. Раз у нее тепло, све-

тит лампа, сидят люди, даже если меня нет, все равно, она чувствует себя хорошо, довольна и не может удержаться — улыбается.

Я повел Потерло дальше.

— Ты, брат, загнул. Ну что за нелепые мысли!..

Мы шли совсем медленно. Мы были еще у подножия холма. Туман серебрился и редел. Скоро должно было показаться солнце. И показалось.

* * *

Потерло взглянул на меня и сказал:

— Пройдем окольным путем в Каранси и вернемся с другого конца.

Мы свернули в поля. Через несколько минут он сказал:

— Так ты считаешь, что я загнул? Ты говоришь, я загнул?

Он подумал.

— Эх!

Он опять покачал головой и прибавил:

— Но как же? Все-таки ведь это так и было...

Мы пошли вверх по тропинке. Потеплело. Мы добрались до ровной площадки.

— Посидим перед обратной дорогой! — предложил Потерло.

Он сел. В его голове роились мысли. Он морщил лоб. Он повернулся и смущенно посмотрел на меня, словно собираясь попросить об услуге.

— Скажи-ка, брат, я прав?

И, взглянув на меня, он обвел взглядом все вокруг, словно ожидая ответа от самой природы.

В небе и на земле происходила перемена. Туман исчез. Дали открылись. Тесная, серая, мрачная равнина расширялась, гнала прочь тени и окрашивалась в разные цвета. Мало-помалу, с востока на запад, свет простирал над ней свои крылья.

И вот далеко внизу, между деревьев, показался Суше. Благодаря расстоянию и свету этот поселок являлся взорам восстановленный, обновленный солнцем.

— Я прав? — переспросил Потерло еще нерешительней.

Прежде чем я успел ответить, он сам ответил себе, сначала вполголоса:

— Она ведь совсем молодая: ей всего двадцать шесть лет. Она не может совладать с собой; молодость из нее так и прет; когда Клотильда отдыхает при свете лампы, в тепле, она поневоле улыбается; и даже если она захохочет во все горло, это значит, смеется и поет в груди молодость. По правде сказать, Клотильда улыбалась совсем не другим, а самой себе. Это жизнь. Она живет. Да, да, она живет, вот и все. Ведь не ее вина, если она живет. А что ж ей — умирать, что ли? Так что ж ей делать? По целым дням оплакивать меня, проклинать бошей? Ворчать? Нельзя же плакать и жаловаться целых полтора года! Так не бывает. Это тянется слишком долго, говорят тебе. Все дело в этом.

Вдруг он замолкает и смотрит на панораму Нотр-Дам-де-Лорет, озаренную солнцем.

— Вот и моя дочка: когда чужой дяденька не посылает ее к черту, она старается влезть к нему на колени. Ей бы, пожалуй, приятней было, чтоб на его месте был ее родной дядя или друг отца, но все-таки она ластится к тому, кто часто сидит рядом с ней, даже если это толстый боров в очках.

— Эх! — восклицает он, вставая, подходя ко мне и размахивая руками.— Мне скажут: «А если ты не вернешься с войны?» Я отвечу: «Ну, брат, тогда крышка: ни тебе Клотильды, ни любви! Когда-нибудь тебя заменит в ее сердце другой. Ничего не поделаешь: она тебя забудет, на твоем месте появится другой, она начнет новую жизнь. Да, если я не вернусь...»

Он добродушно смеется.

— Но я определенно решил вернуться! Да, надо выжить. А не то!.. Надо выжить,— повторяет он серьезней.— А не то, если даже придется иметь дело со святыми или ангелами, в конце концов проиграешь. Такова жизнь. Но пока что я жив.

Он опять смеется.

— Меня не запугаешь.

Я тоже встаю и хлопаю его по плечу.

— Ты прав! Все это кончится!

Он потирает руки. Он все говорит, говорит:

— Да, черт подери! Все это кончится! Будь благонадежен! Знаю, немало придется поработать, чтоб это

кончилось, и еще больше потом, когда это кончится. Придется повозиться, поработать. Да и не только руками.

Придется построить все заново. Что ж, построим. Дом? Погиб. Сад? От него ничего не осталось. Ну что ж, построим новый дом. Разобьем новый сад. Чем меньше осталось, тем больше сделаем. Ведь это и есть жизнь, и мы живем, чтоб строить заново, правда? Мы восстановим и нашу семейную жизнь, восстановим дни, восстановим ночи.

И другие тоже. Все восстановят свою семью. Знаешь, что я тебе скажу? Это, может быть, придет скорей, чем кажется...

Да, я отлично представляю себе, как Мадлен Вандаэр выйдет замуж за другого парня. Она вдова, но ведь она вдова уже полтора года. Ты думаешь, это пустяки полтора года? Так долго, кажется, даже не носят траура! Но об этом забывают и говорят о вдове: «Вот стерва!» И, в общем, требуют, чтобы она покончила с собой. Да ведь все люди забывают умерших, поневоле забывают. И ни мы, ни другие в этом не виноваты. Забывают. И все тут.

Когда я вдруг увидел Мадлен, когда я увидел, что она смеется, у меня глаза на лоб полезли, как будто ее муж был убит накануне. А ведь его, беднягу, укокошили уже давно. Уже давно, слишком давно. Мы уже не те. Но послушай, надо вернуться домой, надо выжить! Мы выживем и вновь встанем на ноги.

По дороге он посматривает на меня, подмигивает и, радуясь, что нашел новый довод, говорит:

— Я уже заранее знаю: после войны все жители Суше опять примутся за работу и заживут... Вот будут дела! Да вот, например, дядя Понс. Ну и чудак! Он был таким аккуратным, что подметал траву в своем саду щеткой из конского волоса или, стоя на коленях, подстригал траву ножницами. Ну что ж, он еще доставит себе это удовольствие! А тетка Имажинер! Она жила в домишке на краю деревни, близ замка Карлер, толстая бабища она как будто катилась по земле, словно у нее под юбками были колесики. Каждый год она рожала по ребенку Исправно! Настоящий пулемет! Что ж, она опять займется этим делом. Да еще как!

Он останавливается, размышляет, чуть улыбается и почти про себя смущенно говорит:

— ...Знаешь, что я тебе скажу, я заметил... Это не важно, конечно, но я заметил (это замечаешь сразу, даже когда об этом не думаешь): у нас стало чище, чем в мое время...

На земле поблескивают рельсы, затерянные в некошеной высохшей траве. Потерло показывает ногой на эту заброшенную колею, улыбается и говорит:

— Это наша железная дорога. Узкоколейка. Черепаха. Наш поезд не торопился! Он полз медленно! За ним бы поспела улитка. Что ж, мы дорогу восстановим. Но поезд, наверно, не пойдет быстрей. Это ему воспрещается!

Мы поднимаемся на вершину; Потерло оборачивается и в последний раз глядит на истерзанные места, где мы побывали. Еще отчетливей, чем недавно, деревня на расстоянии как будто воссоздается среди сломанных деревьев, похожих на молодые ростки. Еще больше, чем недавно, хорошая погода придает этим бело-розовым грудам видимость жизни и даже подобие мысли. Даже камни преображаются и оживают. Красота лучей возвещает и показывает будущее. На лице солдата появляется отсвет этого возрождения. Весна и надежда вызывают на его лице улыбку; его розовые щеки, ясные голубые глаза и золотистые ресницы как будто свежевыкрашены.

* * *

Мы спускаемся в ход сообщения. Туда проникает солнечный свет. Траншея светлая, сухая, гулкая. Я любуюсь ее прекрасной геометрической формой и глубиной, гладкими стенами, отполированными лопатой, и мне радостно слышать отчетливый звук наших шагов по твердому грунту или дощатому настилу.

Я смотрю на часы. Девять часов. В стекле отражается розово-голубое небо и тонкие очертания кустарников, растущих по краям траншеи.

Мы с Потерло переглядываемся с какой-то смутной радостью, нам приятно смотреть друг на друга, как будто мы давно не виделись! Он говорит и, хотя я давно привык к его певучему северному произношению, я как будто впервые замечаю, что он прямо-таки поет.

Мы пережили тяжелые дни, трагические ночи, в холоде, в воде, в грязи. Теперь, хотя еще зима, первое хорошее утро возвещает нам, убеждает нас, что скоро еще раз наступит весна. Верхнюю часть траншеи уже украсила нежно-зеленая трава, и среди первых трепетаний новорожденных побегов пробуждаются цветы. Конец коротким тесным дням! Весна приходит и сверху и снизу. Мы дышим полной грудью, мы пьянеем.

Да, черные дни пройдут. Война тоже кончится, чего там! Война, наверно, кончится в это прекрасное время года; оно уже озаряет нас и ласкает своими дуновениями.

...Свист. А-а, шальная пуля!

Пуля? Не может быть! Это дрозд!

Забавно, как это похоже... Дрозды, тихо щебечущие птицы, поля, смена времен года, уют комнат, залитых светом... Да, война кончится, мы навсегда вернемся к родным: к жене, к детям или к той, кто для нас одновременно и жена и ребенок; мы улыбаемся им в этом юном сиянии, которое уже объединяет нас.

...В месте скрещения двух ходов, на краю поля, стоит нечто вроде портика: два столба прислонились один к другому, а между ними переплелись и висят, как лианы, электрические провода. Хорошо! Будто нарочно придумано, будто театральные декорации. Тонкое ползучее растение обвивает один столб, и, следя за ним глазами, видишь, что оно уже перекидывается на другой.

Стены хода поросли травой и вздрагивают, как бока прекрасного живого коня. Скоро мы выходим к нашим окопам, на Бетюнскую дорогу.

Вот и наше расположение. Наши товарищи здесь. Они едят и наслаждаются теплом.

Поев, они вытирают миски и алюминиевые тарелки кусочком хлеба...

— Гляди-ка, солнца больше нет!

Правда. Оно скрылось за тучу.

— Скоро польет дождь, ребятки,— говорит Ламюз.

— Везет же нам! Как раз когда надо уходить!

— Проклятый край! — восклицает Фуйяд.

Действительно, этот северный климат никуда не годится. Всегда моросит, всегда туман. Только покажется солнце и тут же гаснет в сыром небе.

Наш четырехдневный срок в окопах скоро кончится.

К вечеру нас сменят. Мы медленно собираемся. Укладываем ранцы и сумки. Чистим ружья и затыкаем дуло.

Четыре часа. Быстро густеет туман. Мы друг друга уже не различаем.

— Черт подери, опять дождь!

Упало несколько капель. И вдруг ливень. Ну и ну! Мы натягиваем на голову капюшоны, брезент. Возвращаемся в укрытие, шлепая по грязи, пачкая колени, руки, локти: дно траншеи становится вязким. В землянке мы едва успеваем зажечь свечу, поставленную на камень, сбиваемся в кучу вокруг нее и дрожим от холода.

— Ну, в дорогу!

Мы вылезаем. Сырой ледяной мрак. Ветер. Я смутно различаю мощную фигуру Потерло. Мы по-прежнему стоим рядом в строю. Когда мы трогаемся в путь, я кричу ему:

— Ты здесь?

— Да, перед тобой! — кричит он в ответ, оборачиваясь ко мне.

В эту минуту ветер и дождь хлещут его по лицу. Но Потерло смеется. У него такое же счастливое лицо, как и утром. Ливню не лишить его радости, которую он носит в своем крепком, мужественном сердце; мрачному вечеру не погасить солнца, озарившего несколько часов назад его мысли.

Мы идем. Толкаемся. Спотыкаемся... Дождь не перестает, по дну траншеи бегут ручьи. Настилы дрожат на размякшей земле; одни сдвинулись вправо, другие — влево, мы скользим. В темноте их не видно, и на поворотах попадаешь ногой в ямы, полные воды.

В сумерках я слежу за каской Потерло; вода течет с нее, как с крыши; я смотрю на его широкую спину, покрытую куском поблескивающей клеенки. Я не отстаю от Потерло и время от времени окликаю его; он мне отвечает всегда благодушно, всегда спокойно.

Когда мостки кончаются, мы увязаем в грязи. Уже совсем темно. Внезапно мы останавливаемся, и я натыкаюсь на Потерло. Кто-то сердито кричит:

— В чем дело? Подвигайся! Ведь мы отстаем!

— Да я не могу вытащить ноги! — жалобно отвечает другой.

Увязшему наконец удается выбраться; нам приходится бежать, чтобы догнать роту. Мы ставим ноги ку-

да попало, спотыкаемся, хватаемся за стенки и пачкаем руки в грязи. Мы уже не идем, а бежим; раздается лязг железа и ругань.

Дождь усиливается. Вторая внезапная остановка. Гул голосов. Кто-то упал!

Он встает. Мы идем дальше. Я стараюсь идти по пятам за Потерло, следя за его каской; она слабо поблескивает в темноте; время от времени я кричу:

— Ну, как?

— Хорошо, хорошо,— отвечает он, сопя и отдуваясь, но все еще звучным певучим голосом.

Ранец больно оттягивает плечи, трясется от толчков, от напора стихий. Траншея засыпана недавним обвалом, мы увязаем... Приходится вытаскивать ноги из рыхлой земли и высоко поднимать их. Выбравшись отсюда, мы сейчас же попадаем в какой-то поток. Вереницы людей протоптали две узкие колеи; нога застревает в них, как в трамвайном рельсе; иногда мы попадаем в глубокие лужи. В одном месте надо пройти под тяжелым мостом, пересекающим ход сообщения; это очень трудно: приходится стать на колени в грязь, сплющиться, припасть к земле и ползти на четвереньках. Немного дальше приходится подвигаться, хватаясь за кол, который покосился от дождя и загораживает дорогу.

Мы подходим к перекрестку.

— Ну, вперед! Поживей, ребята! — кричит унтер, забившись в углубление, чтобы дать нам пройти.— Это место опасное!

— Сил больше нету,— мычит кто-то таким хриплым, прерывающимся голосом, что нельзя узнать, кто это.

— Тьфу, к черту, дальше не пойду! — говорит другой задыхаясь.

— А что я могу сделать? — отвечает унтер.— Это не моя вина! Ну, поживей, здесь скверное место. Последнюю смену здесь обстреляли.

Мы идем дальше, среди потоков воды и порывов ветра. Нам кажется, что мы спускаемся все ниже и ниже в какую-то яму. Скользим, падаем, отталкиваемся. Мы уже не идем, а медленно катимся вниз, хватаемся за что попало. Главное, двигаться прямо, как можно прямей.

Где мы? Несмотря на потоки дождя, я высовываю голову из бездны, в которой мы барахтаемся. На еле видимом фоне темного неба я различаю край траншеи, и

вдруг перед моими глазами возникает какое-то зловещее сооружение: два черных столба склонились друг к другу, а между ними висит что-то вроде длинных спутанных волос. Это портик, который я заметил сегодня днем.

— Вперед! Вперед!

Я опускаю голову и больше ничего не вижу, но опять слышу шлепанье подошв и лязг штыковых ножен, глухие возгласы и прерывистое дыхание людей.

Новый резкий толчок. Мы внезапно останавливаемся; меня опять швыряет на Потерло; я наталкиваюсь на его спину, сильную, крепкую, как дуб, как здоровье и надежда. Он мне кричит:

— Смелей, брат, скоро придем!

Мы не двигаемся. Надо отойти назад... Черт подери! Нет, опять идем дальше!..

Вдруг на нас обрушивается чудовищный взрыв. Я дрожу всем телом; мою голову наполняет металлический гул; запах серы проникает мне в легкие; я задыхаюсь. Земля подо мной разверзлась. Я чувствую: что-то меня приподнимает и отбрасывает в сторону, душит, почти слепит среди громов и молний... Но я отчетливо помню: в это мгновение, когда, обезумев, я бессознательно искал взглядом моего брата по оружию, я увидел: он широко раскинул руки, его подбросило стоймя, он весь почернел, и вместо головы — пламя!

XIII

ГРУБЫЕ СЛОВА

Барк видит: я пишу. Он на четвереньках ползет ко мне по соломе, и вот передо мной его смышленое лицо, рыжий клоунский хохолок, живые глазки, над которыми сходятся и расходятся треугольные брови. Его губы движутся во все стороны: он жует плитку шоколада и держит в руке мокрый огрызок.

Обдавая меня запахом кондитерской, он с полным ртом шамкает:

— Послушай... Ты вот пишешь книжки... Ты потом напишешь о солдатах, расскажешь о нас, а?

— Да, конечно, я расскажу о тебе, о всех товарищах и о нашей жизни...

— А скажи-ка...

Он кивает головой на мои записи. Я держу карандаш в руке и слушаю. Барк хочет задать мне вопрос.

— Скажи-ка, пожалуйста... Я хочу тебя спросить... Вот в чем дело: если в твоей книге будут разговаривать солдаты, они будут говорить, как взаправду говорят, или ты подчистишь, переделаешь по-вашему? Это я насчет грубых словечек. Ведь можно дружить и не браниться между собой, а все-таки никогда солдаты не откроют рта хотя бы на минуту, чтобы не сказать и не повторить словечки, которые типографщики не очень-то любят печатать. Так как же? Если в твоей книге этих словечек не будет, портрет у тебя выйдет непохожим: все равно как если бы ты хотел нас нарисовать и не положил бы самой яркой краски там, где нужно. Но что делать? Так писать не полагается.

— Я поставлю грубые слова там, где нужно, потому что это правда.

— Слушай-ка, а если ты их поставишь, ведь разные там ваши господа, которым дела нет до правды, обзовут тебя свиньей!

— Наверно. Но я так и напишу. Мне дела нет до этих господ.

— Хочешь знать мое мнение? Хоть я и не разбираюсь в книгах,— это будет смело, ведь так не полагается; вот будет здорово, если ты так напишешь! Но в последнюю минуту тебе станет совестно: ведь ты слишком вежливый!.. Это даже твой недостаток; я заметил это с тех пор, как знаю тебя. Это — и твою поганую привычку: когда нам раздают водку, ты говоришь, будто она вредна, и вместо того чтобы отдать свою долю товарищу, выливаешь водку себе на голову, чтоб вымыть патлы.

XIV

СОЛДАТСКИЙ СКАРБ

Наш сарай стоит в глубине двора «Фермы немых», помещение низкое, как землянка. Для нас всегда только землянки, даже в домах! Когда пройдешь двор, где навоз, хлюпая, уходит из-под сапог, или когда обойдешь его, с трудом удерживая равновесие на узкой каменной обочине, и заглянешь в дверь сарая, не видно ничего...

Но, вглядываясь в темноту, смутно различаешь ка-

кое-то мрачное углубление, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол. В глубине, направо и налево, дрожит бледное пламя двух свечей, окруженное туманным кольцом, как далекие апрельские луны; при этом свете можно наконец разобрать, что эти фигуры — люди, изо рта которых вылетает или пар, или густой дым.

В этот вечер в нашей берлоге, куда я пробираюсь с предосторожностями, все взволнованы. Завтра утром нас отправляют в окопы, и жильцы сарая начинают укладывать вещи.

В темноте я все-таки избегаю западни: фляг, котелков и снаряжения, валяющегося на земле, но вдруг натыкаюсь на солдатские хлебы, нагроможденные посреди сарая, словно камни на стройке... Я пробираюсь в свой угол. Там сидит на корточках огромное шарообразное косматое существо в овчине, нагнувшись над кучей мелких поблескивающих предметов. Я хлопаю его по спине. Оно оборачивается, и при мерцающей свече, вставленной в кольцо воткнутого в землю штыка, я различаю часть лица, один глаз, кончик уса и угол приоткрытого рта. Человек благодушно ворчит и опять принимается разглядывать свой скарб.

— Что ты тут делаешь?

— Укладываю. Укладываюсь.

Мнимый разбойник, подсчитывающий добычу, оказывается не кто другой, как мой товарищ Вольпат. Теперь я вижу, что он делает: он свернул вчетверо полотнище палатки, положил его на постель, то есть на отведенную ему охапку соломы, и на этом ковре разложил содержимое своих карманов.

Это целый склад; Вольпат пожирает его глазами, как заботливая хозяйка, и настороженно следит, чтобы никто не наступил на его добро... Я рассматриваю эту богатую выставку.

Платок, трубка, кисет (где лежат еще листки папиросной бумаги), нож, кошелек и огниво (все это необходимые предметы солдатского обихода), два обрывка кожаных шнурков, обвившиеся, как земляные черви, вокруг часов, спрятанных в потускневший от старости целлулоидный футляр; круглое зеркальце и другое — четырехугольное, правда, разбитое, но наилучшего качества, с гранеными краями; пузырек скипидара, пузырек с ми-

неральным маслом, почти пустой, и еще один пустой пузырек; бляха от немецкого пояса с надписью: «С нами бог», кисточка темляка того же происхождения; завернутая в бумагу «авиастрела», похожая на стальной карандаш, острая, как игла; складные ножницы и складная ложка-вилка; огрызок карандаша и огарок свечи; стеклянная трубочка с аспирином, в которой лежат еще таблетки опиума; несколько жестяных коробок.

Заметив, что я рассматриваю его личное имущество, Вольпат дает мне объяснения:

— Вот старая офицерская замшевая перчатка. Я срезаю пальцы, чтобы затыкать дуло моего «самострела»; это телефонная проволока (только проволокой и можно пришивать к шинели пуговицы, если хочешь, чтоб они держались). А здесь что? Здесь белые нитки, крепкие, не такие, какими шиты наши солдатские вещи (те нитки вытягиваются, как макароны на вилке); а вот набор иголок; я воткнул их в открытку. Английские булавки отдельно,— вот там... А вот мои бумажки. Целая *биотека!*

Действительно, на выставке предметов, выложенных из карманов Вольпата, поразительное количество бумаг: фиолетовый пакетик почтовой бумаги (скверный печатный конверт истерт); солдатская книжка (переплет затвердел, запылился, словно кожа старого бродяги, обтрепался и уменьшился со всех сторон); клеенчатая облезлая тетрадка, набитая письмами и фотографиями; среди них почетное место занимает карточка жены и детей.

Из связки пожелтевших и почерневших бумаг Вольпат вытаскивает эту фотографию и лишний раз показывает мне. Я опять знакомлюсь с мадам Вольпат, пышногрудой женщиной с рыхлыми кроткими чертами; она сидит между двумя мальчуганами: они в белых воротничках; старший — худой, младший — круглый, как мяч.

— А у меня,— говорит двадцатилетний Бике,— только карточка моих стариков.

Он ставит к свече фотографию старика и старухи; они глядят на нас; у них благонравный вид, как у детишек Вольпата.

— У меня тоже есть карточки родных,— говорит другой.— Я никогда не расстаюсь с фотографией моего выводка.

— Что ж, каждый носит при себе родню,— прибавляет третий.

— Странное дело,— замечает Барк,— если слишком долго смотреть на карточку, она изнашивается. Не надо слишком часто и слишком долго глазеть на нее: не знаю, что там происходит, а только в конце концов сходство от этого пропадает.

— Правда,— говорит Блер.— Я тоже так считаю.

— У меня в моих бумажках есть еще карта этой местности,— продолжает Вольпат.

Он разворачивает карту. Она истерлась по краям, стала прозрачной в сгибах и похожа на шторы, сшитые из квадратов.

— У меня еще газета (он разворачивает статью о солдатах) и книга (роман ценой в двадцать пять сантимов: «Дважды девственница»)... А вот еще клочок газеты «Этампская пчела». Не знаю, зачем я это припрятал. Наверно, была причина. На свежую голову я вспомню. А вот моя колода карт, шахматная доска из бумаги и шашки из чего-то вроде сургуча.

Барк подходит, смотрит и говорит:

— У меня в карманах еще больше разной разности.— Он обращается к Вольпату: — А есть у тебя немецкий воинский билет, гнида ползучая? А пузырьки с йодом? А браунинг? Вот у меня есть. Да еще два ножа.

— На кой мне револьвер или немецкий билет? — отвечает Вольпат.— Я мог бы иметь два ножа и даже десяток, но с меня довольно и одного.

— Как сказать,— возражает Барк.— А есть у тебя металлические пуговицы, эх ты, задница?

— У меня они в кармане! — восклицает Бекюв.

— Солдат не может обойтись без них,— уверяет Ламюз.— А то штаны не будут держаться на помочах.

— А у меня всегда под рукой в кармане набор инструментов,— говорит Блер.

Он вытаскивает их; они лежали в мешочке от противогазовой маски; он потрясает ими. Позвякивают напильники — трехгранный и обыкновенный; звенят необделанные алюминиевые колечки.

— А у меня всегда с собой веревка. Вот это полезная штука! — говорит Бике.

— Не так, как гвозди,— возражает Пепен и показывает три гвоздя: большой, средний и маленький.

Один за другим солдаты вступают в беседу, продолжая работать. Мы привыкаем к полумраку. Но капрал Салавер, заслуживший прозвище «золотые руки», вставляет свечку в «люстру», которую он сфабриковал из коробки от сыра и проволоки. Мы зажигаем свет, и под этой «люстрой» каждый любовно, как мать детьми, похваляется содержимым своих карманов.

— Прежде всего, сколько их у нас?

— Чего — карманов? Восемнадцать,— отвечает кто-то,— конечно, Кокон, человек-цифра.

— Восемнадцать карманов! Ишь загнул, крысиная морда! — восклицает толстяк Ламюз.

— Да, да, восемнадцать,— настаивает Кокон,— посчитай-ка, раз ты такой умный!

Ламюз хочет проверить: он подносит руку к огарку, чтоб сосчитать верней, и начинает загибать свои толстые бурые пальцы: два висячих задних кармана в шинели, карман для перевязочных материалов, который служит для табака, два внутренних кармана в шинели спереди да на каждом боку два внешних кармана с клапаном. Три кармана в штанах, даже три с половиной, ведь есть еще передний карманчик.

— Я держу в нем компас,— объявляет Фарфаде.

— А я шнур от трута.

— А я,— говорит Тирлуар,— маленький свисток. Его мне прислала жена; она написала мне так: «Если тебя ранят в сражении, свистни, чтобы товарищи прибежали спасти тебе жизнь!»

Все смеются над этой простодушной фразой.

Тюлак вступает в беседу и снисходительно говорит Тирлуару:

— Они там в тылу не знают, что такое война. А если ты заговоришь о тыле, ты тоже понесешь околесицу.

— Ну, этого кармана мы считать не будем: он слишком мал,— говорит Салавер.— Итого десять.

— В куртке четыре. Пока всего только четырнадцать.

— Еще два кармана для патронов; это новые карманы; они держатся на ремнях.

— Шестнадцать,— объявляет Салавер.

— Эх ты, раззява! Да погляди на мою куртку! А эти два кармана? Ты их не считал? Чего ж тебе еще нужно? Ведь это настоящие карманы, там, где полагается!

Это штатские карманы: дома ты держишь в них платок для соплей, табак и адреса, куда тебе нужно отвезти товар.

— Восемнадцать! — объявляет Салавер торжественно, как аукционист.— Восемнадцать! Правильно! Присуждено!

В эту минуту кто-то спотыкается о каменный порог, раздаются гулкие шаги, как будто конь бьет копытом землю, фыркает и... чертыхается.

После короткого молчания кто-то зычным голосом повелительно орет:

— Эй, вы там!.. Укладываетесь? Смотрите, чтоб к вечеру все было готово и чтоб свертки были прочные! Нынче идем на передовые позиции, и даже, может быть, дело будет жаркое!

— Ладно, ладно! — рассеянно отвечают несколько солдат.

— Как пишется имя Арнесс? — спрашивает Бенэк. Он стоит на четвереньках и выводит карандашом адрес на конверте.

Кокон диктует ему по буквам: Эрнест, а унтер смывается и повторяет то же самое распоряжение у соседней двери. Блер берет слово и говорит:

— Слушайте, ребята! Всегда держите флягу в кармане! Уж я пробовал держать ее то тут, то там, но удобней всего в кармане, верьте мне. Если ты в походе, в полном снаряжении или в окопах, налегке, все равно, она у тебя всегда под рукой, на всякий случай: бывает, у товарища есть винцо, и он хочет тебе добра, и говорит тебе: «Дай-ка твою флягу», или, скажем, по дороге попадется виноторговец. Слушайте, друзья, что я вам скажу, и вы будете всегда довольны: держите флягу в кармане!

— Как бы не так,— отвечает Ламюз,— никогда я не положу флягу в карман. Это чепуха на постном масле, ни больше, ни меньше; лучше привесить ее на крючке к ремню.

— Нет, лучше привязать ее к пуговице шинели, как противогазовую маску. А то снимешь снаряжение и вместе с ним флягу, и вдруг как раз можно купить винца...

— У меня немецкая фляжка,— говорит Барк.— Она плоская; ее можно держать в боковом кармане; она от-

лично входит и в подсумок, если патроны выбросить или пересыпать в сумку.

— Немецкая фляга никуда не годится,— возражает Пепен.— Она не держится стоймя. Только занимает место.

— Погоди, долдон,— говорит Тирет, не лишенный сообразительности,— если мы пойдем в атаку, как сказал унтер, ты, может быть, найдешь немецкую флягу, вот будет здорово!

— Унтер, правда, это говорил,— замечает Эдор,— но он не знает.

— В немецкой фляге больше четверти,— заявляет Кокон,— а точная вместимость четверти отмечается у них чертой пониже горлышка. Всегда выгодно иметь флягу побольше: ведь если твоя фляга вмещает ровно четверть кофе, или вина, или святой водицы, или чего другого, ее надо наполнять до краев, а это никогда не делается при раздаче, а если и делается, все равно ты сам прольешь.

— Еще бы, конечно, не делается,— говорит Паради, возмущенный воспоминанием об этой несправедливости.— Капрал при раздаче сунет во флягу палец да еще похлопает раза два по дну. Словом, тебя надувают на одну треть, и ты остаешься с носом.

— Правильно,— говорит Барк.— Но слишком большая фляга — это тоже невыгодно: раздатчик тебе не доверяет, боится налить лишку и потому недоливает, и ты оказываешься в убытке.

Между тем Вольпат сует обратно в карманы один за другим выставленные им предметы. Когда доходит очередь до кошелька, Вольпат смотрит на него с жалостью.

— Совсем отощал, бедняга!

Он считает:

— Три франка! Эх, брат, надо тебе опять потолстеть, а то на обратном пути у меня не будет ни шиша!

— Не у тебя одного пусто в кошельке!

— Солдат тратит больше, чем зарабатывает. Это уж так. Спрашивается, что было б с нами, если б мы жили только на паек.

Паради отвечает с корнелевской простотой:

— Подохли бы.

— А у меня в кармане всегда вот что.

И Пепен весело показывает серебряный столовый прибор.

— Он принадлежал обезьяне, у которой мы жили в Гран-Розуа.

— Может быть, он ей принадлежит еще и теперь?

Пепен отвечает неопределенным жестом, выражающим одновременно и гордость и скромность. Вдруг он смелеет, улыбается и говорит:

— Я знаю эту старую каргу. Наверно, теперь она до конца жизни будет искать по всем углам свой прибор.

— А мне,— говорит Вольпат,— удалось стибрить только пару ножниц. Другим везет. А мне — нет. Зато уж я берегу эти ножницы, хотя, можно сказать, они мне ни к чему.

— Я стянул несколько вещиц, да что толку? Пустяковые. Саперы всегда успевали спереть до меня.

— Что ни делай, всегда кто-нибудь пролезет вперед. Ну, да ничего.

— Эй вы, кому дать йоду? — кричит санитар Сакрон.

— ...Я берегу письма жены,— говорит Блер.

— Я отсылаю их ей обратно.

— А я берегу. Вот они.

Эдор вытаскивает связку потертых, лоснящихся бумаг; их чернота стыдливо скрывается в полумраке.

— Я их берегу. Иногда перечитываю. Когда холодно и невмоготу, я их перечитываю. Это не согревает, но всетаки кажется, что становится теплее...

В этих словах таится глубокий смысл: многие поднимают голову и говорят:

— Да, да. Правильно!

Разговор ведется бессвязно; в глубине сарая копошатся огромные тени, в углах сгущается мрак и мерцают редкие свечи.

Люди как-то странно мельтешат передо мной, ходят взад и вперед, нагибаются, ложатся на пол; они деловито говорят сами с собой или окликают друг друга и натыкаются на кучи наваленных вещей. Они показывают свои богатства:

— На, погляди!

— Ну и штука! — завистливо отвечает другой.

Каждый хочет иметь все то, чего у него нет. У нас во взводе есть баснословные сокровища, предметы всеоб-

щей зависти: например, двухлитровая фляга Барка, раздутая умелым холостым выстрелом и вмещающая теперь два с половиной литра; нож Бертрана — знаменитый нож с роговым черенком.

Среди суеты и шума каждый искоса посматривает на эти музейные экспонаты, потом опять, не отрываясь, глядит только на собственный «товар» и старается привести его в порядок.

Действительно, жалкий товар! Все сделанное для солдатского обихода уродливо, скверного качества, начиная от башмаков с картонными подметками до плохо скроенного, плохо сшитого платья из гнилого, плохо окрашенного сукна; оно просвечивает, как промокательная бумага, выцветает на солнце за один день, промокает от дождя за один час; ремни перетираются и рвутся, как стружки, не выдерживая тяжести ружья. Фланелевое белье тоньше бумажного, а табак похож на солому.

Мартро стоит рядом со мной. Он показывает мне на товарищей:

— Погляди, как эти бедняги рассматривают свой скарб: ни дать ни взять, матери загляделись на своих ребят. Послушай, как они называют все эти штуковины! Вот этот говорит: «Мой нож!» Будто отец говорит: «Мой Леон», или «Мой Шарль», или «Мой Адольф». И знаешь, они никак не могут брать с собой меньше клади. Не то что они этого не хотят (ведь от нашего ремесла сил не прибавляется, правда?). А не могут. Они слишком любят свой скарб.

Поклажа!.. Она чудовищна, и солдаты знают, что от каждого лишнего предмета, от каждой вещи она еще мучительней.

Ведь, кроме всего того, что суешь в карманы и сумки, еще взваливаешь себе тяжелый груз на спину.

— Ранец — это сундук и даже шкаф. И старый солдат чудесно умеет его набивать, искусно укладывая вещи и хозяйственные запасы. Кроме положенного по уставу обязательного груза (две коробки говяжьих консервов, дюжина сухарей, две плитки кофе, два пакета сгущенного супа, мешочек сахару, смена белья и запасные башмаки), мы ухитряемся втиснуть туда еще несколько коробок консервов, табак, шоколад, свечи, плетеные туфли, даже мыло, спиртовку, сухой спирт и вязаные ве-

щи. Да еще одеяло, одеяльце для ног, полотнище палатки, мелкие инструменты, котелок и лагерные принадлежности; вот поклажа и растет, увеличивается, разбухает, становится огромной и тяжелой. Мой сосед прав: отмахав много километров по дорогам и ходам сообщения, солдат дает себе обещание избавиться от уймы лишних вещей, освободиться от этого ярма. Но каждый раз, готовясь двинуться дальше, он опять наваливает на плечи ту же изнурительную, чуть не сверхчеловеческую ношу и никогда с ней не расстается, хоть и всегда ее проклинает.

— Бывают ловкачи, они умеют устраиваться,— говорит Ламюз,— они ухитряются положить кое-что в ротную повозку или в санитарный фургон. Я знаю одного парня: у него две новые рубахи и одна пара кальсон в ящике у унтера, но, понимаешь, в роте двести пятьдесят человек, и этот фокус известен, и мало кто может им воспользоваться,— только унтеры: чем больше у них нашивок, тем ловчей они прячут свой скарб... Да еще майор иногда осматривает фургон и, если найдет твое барахло в какой-нибудь колымаге, где не полагается, выбросит его прямо на дорогу: «К черту!», а то еще выругает тебя и посадит под арест.

— В начале войны было легко. Некоторые, я сам видел, везли свои сумки и даже ранец в детской колясочке.

— Эх! Хорошее было времечко! А теперь все переменилось.

Вольпат остается глух ко всем этим речам; закутавшись в одеяло, как в шаль, похожий на старую ведьму, он вертится вокруг какого-то предмета, лежащего на земле.

— Не знаю,— говорит он, не обращаясь ни к кому в отдельности,— взять этот поганый бидон или нет. Он у нас единственный во взводе; я всегда таскал его с собой. Так-то так, но он дырявый, течет, что твое сито.

Он никак не может решиться; это настоящая сцена расставания.

Барк поглядывает на него со стороны и, посмеиваясь, бормочет: «Старый хрыч! Полоумный!» Но вдруг он умолкает.

— В конце концов на его месте всякий был бы таким же болваном!

Вольпат откладывает решение:

— Посмотрю завтра утром, когда уложу ранец.

Солдаты осматривают и набивают карманы; потом доходит очередь до сумок и подсумков; Барк поучает нас, как втиснуть две сотни патронов в три подсумка. Пачками — невозможно. Патроны надо распаковать и положить их рядками, стоймя, один головкой вверх, другой — вниз. Так можно набить каждый подсумок до отказа и сделать себе пояс весом в шесть кило.

Ружье уже вычищено. Проверяют обмотку казенной части и затыкают дуло: эта предосторожность необходима в окопной войне.

Каждый должен легко находить свое ружье.

— Я сделал зарубки на ремне. Видишь, я вырезал край.

— А я привязал к ремню шнурок от башмака: так я узнаю его и на глаз и на ощупь.

— А я прицепил металлическую пуговицу. Верное дело. В темноте я ее сейчас же нащупаю и узнаю: «Это мой карабин». Понимаешь, ведь бывают ребята, которым на все наплевать; пока товарищ чистит ружье, они бьют баклуши; потом, не торопясь, тихонько хватают ружье того растяпы, что почистил, и даже так обнаглеют, что скажут: «Капитан, у меня ружье чистехонько, «ол-ред». Но со мной этот номер не пройдет. Это система «И», а от системы «И» мне блевать хочется.

И хотя все ружья одинаковы, они все отличаются друг от друга, как почерки.

* * *

— Странное и чудное дело,— говорит мне Мартро,— завтра мы идем в окопы, а до сих пор нет еще ни пьянства, ни драки; сегодня вечером — послушай! — до сих пор еще не было даже ссоры. А я...

— Конечно,— сейчас же спохватывается он,— двое уже дернули и обалдели... Они еще не вполне готовы, но уже клюкнули, чего там...

— Это Пуатрон и Пуальпо из взвода Бруайе.

Они лежат и вполголоса беседуют. Круглый нос и зубы Пуатрона поблескивают у самой свечи; он под-

нял палец, и тень четко воспроизводит пояснительные движения его руки.

— Я умею разводить огонь, но не умею зажечь его опять, если он потух,— заявляет Пуатрон.

— Балда! — говорит Пуальпо.— Если ты умеешь развести огонь, значит, ты умеешь зажечь и потухший огонь: ведь если ты его зажигаешь, значит, он раньше потух, и можно сказать, ты его не разводишь, а заново зажигаешь.

— Толкуй! Все это брехня! Ты мудришь. Плевать мне на все твои словечки. Я тебе говорю и повторяю: разводить огонь я мастер, а чтобы зажечь его опять, когда он потух,— нечего и думать. И все тут.

Я не слышу возражений Пуальпо.

— Да черт тебя дери! Втемяшил себе в голову. Вот упрямый осел! — хрипит Пуатрон.— Тридцать раз говорят тебе: не у-ме-ю. Ну и тупая башка!

— Потеха, да и только! — шепчет мне Мартро.

Да, пожалуй, он слишком поторопился, когда говорил, что нет пьяных.

В логовище, устланном пыльной соломой, царит возбуждение, вызванное прощальными возлияниями; солдаты чинят, приспособляют, собирают свое добро; одни, опустившись на колени, стучат молотком, как углекопы; другие стоят, не зная, на что решиться. Все галдят и размахивают руками. В облаке дыма мелькают лица; темные руки движутся в сумраке, как марионетки.

Из соседнего сарая, отделенного от нашего только перегородкой высотой в человеческий рост, раздаются пьяные крики. Два солдата отчаянно, бешено ссорятся. Воздух сотрясается от грубейших слов, какие только существуют на земле. Но одного из буянов — солдата другого взвода — жильцы сарая выставляют за дверь, и фонтан ругательств оставшегося солдата мало-помалу иссякает.

— Наши все держатся! — с некоторой гордостью замечает Мартро.

Это правда. Благодаря капралу Бертрану, который ненавидит пьянство, эту роковую отраву, наш взвод меньше других развращен вином и водкой.

...Там кричат, пьют, беснуются. И без конца хохочут.

Пробуешь разгадать некоторые лица, вдруг поражающие взгляд в этом зверинце теней и отражений. Но не удается. Видишь людей, но не можешь проникнуть в их тайны.

* * *

— Уже десять часов, друзья! — говорит Бертран.— Ранцы уложите завтра. Пора на боковую!

Все медленно ложатся. Но болтовня не прекращается. Когда солдата не торопят, он делает все с прохладцей. Каждый куда-то идет, возвращается, что-то несет; я вижу скользящую по стене непомерную тень Эдора; он проходит мимо свечи, придерживая кончиками пальцев два мешочка камфары.

Ламюз ворочается, стараясь улечься поудобней. Он чувствует себя плохо: как ни велика вместимость его желудка, сегодня он явно объелся.

— Не мешайте спать! Эй вы, заткните глотку! Скоты! — кричит со своей подстилки Мениль Андре.

Этот призыв на минуту успокаивает солдат, но гул голосов еще не стихает и хождение взад и вперед не прекращается.

— Правда, нас завтра погонят в окопы,— говорит Паради,— а вечером на передовые линии. Но никто об этом даже не думает. Это известно, вот и все.

Мало-помалу каждый занимает свое место. Я вытягиваюсь на соломе. Мартро свернулся рядом со мной.

Осторожно, стараясь не шуметь, входит какая-то громада. Это старший санитар, брат марист, толстый бородач в очках; он снимает шинель, чувствуется, что ему неловко показывать свои ляжки. Силуэт этого бородатого гиппопотама спешит улечься. Он отдувается, вздыхает, что-то бормочет.

Мартро кивает мне на него головой и шепчет:

— Погляди! Эти господа постоянно брешут. Спросишь его, что он делал до войны, он не скажет: «Я был монахом и преподавал в церковно-приходской школе»; нет, он посмотрит на тебя из-под очков и скажет: «Я был профессором». Когда он встает ранехонько, чтобы пойти к мессе, и замечает, что разбудил тебя, он не скажет: «Я иду к заутрене», а соврет: «У меня живот болит. Надо пойти в нужник, ничего не поделаешь».

Немного дальше дядя Рамюр рассказывает о своих краях:

— У нас маленький поселок. Небольшой. Мой старик целый день обкуривает трубки; работает ли, или отдыхает, он дымит в воздух или в пар от миски...

Я прислушиваюсь к этому рассказу; вдруг он принимает специальный, технический характер:

— Для этого он приготовляет соломенную оплетку. Знаешь, что это такое? Берешь стебелек зеленого колоса, снимаешь кожицу. Разрезаешь надвое, потом еще надвое, и получаются стебельки разной длины, так сказать, разные номера. Потом веревочкой и четырьмя стеблями соломы обматываешь чубук трубки.

На этом урок прекращается. Не нашлось ни одного охотника послушать.

Теперь горят только две свечи. Крыло тени покрывает лежащих вповалку людей.

В этом первобытном общежитии еще слышатся отдельные разговоры. До меня доносятся их обрывки.

Дядюшка Рамюр возмущается майором:

— У майора, брат, четыре галуна, а он не умеет курить. Тянет-тянет трубку и сжигает ее. У него не рот, а пасть. Дерево трескается, накаляется; глядишь, это уже не дерево, а просто уголь. Глиняные трубки прочней, но и они у него лопаются. Ну и пасть! Вот увидишь: когда-нибудь выйдет такой скандал, какого еще никогда не бывало: трубка накалится докрасна, прожарится до самого нутра и при всех взорвется в его пасти. Увидишь!

Мало-помалу в сарае воцаряется тишина, покой, мрак; сон побеждает заботы и хоронит надежды постояльцев. Эти люди улеглись, завернулись в одеяла, превратились в свертки; их ряды кажутся трубами огромного органа, звучащего разнообразными храпами.

Уже уткнувшись носом в одеяло, Мартро рассказывает мне о себе:

— Я торговал всякой рухлядью, иначе говоря, я старьевщик, но оптовик: я скупал у мелких уличных старьевщиков, а склад у меня на чердаке. Я покупал всякую рухлядь, начиная с белья и кончая жестянками

из-под консервов, но больше всего — ручки от щеток, мешки и старые туфли; моя специальность — кроличьи шкурки.

А немного позже он говорит:

— Я хоть низкорослый и нескладный, а могу снести на чердак сотню кило по лестнице, да еще в деревянных башмаках. Раз мне пришлось иметь дело с темным человеком: говорили, что он торгует живым товаром, так вот...

— Черт подери, чего я не могу выносить,— вдруг восклицает Фуйяд,— это упражнений и маршировки! На отдыхе нас изводят учением, у меня ломит поясницу, не могу ни спать, ни разогнуть спину.

Вдруг раздается лязг железа: это Вольпат решился взять свой бидон, хоть и бранит его за то, что он дырявый.

— Эх, когда ж кончится эта война? — стонет кто-то, засыпая.

Раздается упрямый глухой крик возмущения:

— Они хотят нас доконать!

В ответ так же глухо звучит:

— Не горюй!

...Я просыпаюсь ночью; часы бьют два; при белесом, наверно лунном, свете беспокойно ворочается силуэт Пинегаля. Вдали пропел петух. Пинегаль приподнимается на соломе и хрипло говорит:

— Да что это? Ночь, а петух орет. Пьян, что ли?

И смеется, повторяя: «Пьян, что ли?», опять закутывается в одеяло и засыпает; в его горле что-то клокочет: смех смешивается с храпом.

Пинегаль невольно разбудил Кокона. Человек-цифра начинает размышлять вслух и говорит:

— Когда мы пошли на войну, в нашем отделении было семнадцать человек. Теперь в нем тоже семнадцать человек после пополнений. Каждый солдат износил уже четыре шинели: одну синюю, три дымчато-голубых, две пары штанов, шесть пар башмаков. Надо считать по два ружья на человека. Запас провианта выдавали нам двадцать три раза. Из семнадцати человек четырнадцать были у нас отмечены за подвиги в приказе,— из них двое по бригаде, четверо по дивизии, один по армии. Раз мы бессменно оставались в окопах шестна-

дцать дней. Мы были на постое в сорока семи разных деревнях. В нашем полку две тысячи человек, а с начала войны через него прошло двенадцать тысяч...

Вычисления Кокона прерывает странное сюсюканье Это Блер: вставная челюсть мешает ему говорить и есть. Но он каждый вечер надевает ее на всю ночь упорно, мужественно: в фургоне ему сказали, что он привыкнет.

Я приподнимаюсь, как на поле сражения. Я еще раз оглядываю этих людей, которые прошли через много областей и много испытаний. Я смотрю на них; они брошены в бездну сна и забвения; некоторые, со своими жалкими заботами, детскими инстинктами и рабским невежеством, еще стараются ухватиться за край этой бездны.

Меня одолевает сон. Но я думаю о том, что они сделали и сделают. И в недрах убогой человеческой ночи, простертой в этом логовище, под саваном мрака, мне грезится какой-то великий свет.

XV

ЯЙЦО

Мы не знали, что делать. Хотелось есть, хотелось пить, а на этой несчастной стоянке ничего не было.

Обычно регулярное снабжение на этот раз захромало; мы были лишены самого необходимого.

Исхудалые люди скрежетали зубами. На убогой площади со всех сторон торчали облезлые ворота, обнаженные скелеты домов, облысевшие телеграфные столбы.

Мы убеждались, что нет ничего.

— Хлеба нет, мяса нет, ничего нет; придется затянуть пояс.

— А сыра и масла не больше, чем варенья на вертеле.

— Ничего нет, ничего! Хоть тресни, ничего не найдешь.

— Ну и поганая стоянка! Три лавчонки, и везде только сквозняки и дождь!

— Имей хоть кучу денег, а все равно, что ветер свистит у тебя в кармане: ведь торгашей-то нет!

— Будь хоть самим Ротшильдом или военным портным, здесь богатство тебе ни к чему.

— Вчера близ седьмой роты мяукал кот. Будьте уверены, они его уже зажарили.

— Да. Хотя у него были видны все ребра.

— Что и говорить, туго приходится.

— Некоторые ребята,— говорит Блер,— не зевали: как пришли, сейчас же купили несколько бидонов вина вон там, на углу.

— Эх, сукины дети! Везет же им! Теперь они смогут промочить горло!

— Надо сказать, что это не вино, а дрянь: им только полоскать фляги.

— Говорят, некоторые даже пожрали.

— Тьфу ты, пропасть! — восклицает Фуйяд.

— А я почти ничего не ел: у меня осталась одна сардинка, а на дне мешочка — щепотка чаю: я его пожевал с сахаром.

— Ну, этим не насытишься, даже если ты не обжора и у тебя плоская кишка.

— За два дня дали поесть только один раз — какое-то желтое месиво: блестит, как золото. Не то жареное, не то пареное! Все осталось в миске.

— Наверно, из него понаделают свечей.

— Хуже всего, что нечем зажечь трубку!

— Правда. Вот беда! У меня больше нет трута. Несколько штук было, да сплыло. Как ни выворачивай карманы — ничего! А купить — накось выкуси!

В самом деле, тяжело смотреть на солдат, которые не могут закурить трубку или сигарету: они покорно кладут их в карманы и слоняются как потерянные. К счастью, у Тирлуара есть зажигалка и в ней немного бензина. Те, кто об этом знает, вертятся вокруг него, держа в руках набитую трубку. Нет даже куска бумаги, которую можно было бы зажечь: приходится прикуривать прямо от фитиля и тратить последние капли бензина, оставшиеся в тощей, словно выжатой, зажигалке.

Но мне повезло... Я вижу: Паради бродит, задрав голову, мурлычет и покусывает щепку.

— На, возьми! — говорю я.

— Коробка спичек! — восклицает он и с восхищением смотрит на нее, как на драгоценность.— Вот здорово! Спички!

Через минуту он уже закуривает трубку; его сияющее лицо багровеет от огня: все вскрикивают.

— У Паради есть спички!

К вечеру я его встречаю у какого-то разрушенного дома, на углу двух единственных улиц этой самой жалкой из всех деревень. Паради зовет меня:

— Пс-с-т!

У него странный, несколько смущенный вид.

— Послушай,— растроганно говорит он, глядя себе под ноги,— ты подарил мне коробку спичек. Так вот, я тебя отблагодарю. Держи!

Он кладет мне что-то в руку.

— Осторожней! — шепчет он.— Может разбиться!

Ослепленный белизной, великолепием его подарка, я смотрю и не верю своим глазам... Яйцо!

XVI

ИДИЛЛИЯ

— Право,— сказал Паради, шагая рядом со мной,— верь не верь, но я чертовски устал, сил больше нет. Ни один переход не осточертевал мне так, как этот.

Он волочил ноги, сгибаясь всем своим крупным телом под тяжестью мешка; объем и сложные очертания этой ноши казались невероятными. Два раза он споткнулся и чуть не упал.

Паради вынослив. Но всю ночь, пока другие спали, ему пришлось носиться по траншее, исполняя обязанности связиста: неудивительно, что он устал.

Он ворчит:

— Да что они, резиновые, что ли, эти километры? Наверно, резиновые...

Через каждые три шага он резким движением подтягивал мешок и отдувался; он составлял единое целое

со своими свертками и тюками; он покачивался и кряхтел, как старый, доверху нагруженный воз.

— Скоро придем,— сказал какой-то унтер.

Унтер говорил так всегда, по любому поводу. Но, несмотря на это, к вечеру мы действительно пришли в деревню, где дома, казалось, были нарисованы мелом и тушью на синеватой бумаге неба, а черный силуэт церкви со стрельчатой колокольней и тонкими островерхими башенками высился, как огромный кипарис.

Но, придя в деревню, где назначена стоянка, солдат еще не избавляется от мучений. Взводу редко удается поселиться в предназначенном для него месте: оказывается, оно уже отдано другим; возникают недоразумения и споры; их приходится разбирать на месте, и только после многих мытарств каждому взводу, наконец, предоставляют временное жилье.

Итак, после обычных блужданий нам отвели навес, подпертый четырьмя столбами; стенами служили ему четыре стороны света. Но крыша была хорошая; это ценное преимущество. Здесь уже стояли двуколка и плуг; мы поместились рядом. Пока приходилось топтаться и ходить взад и вперед по деревне, Паради все ворчал и бранился; а тут он бросил ранец, потом бросился сам на землю и некоторое время не двигался, жалуясь, что у него онемела спина, болят ступни и старые раны.

Но вот в доме, которому принадлежал этот сарай, прямо перед нами, появился свет. В скучных сумерках солдата больше всего привлекает окно, где звездой сияет лампа.

— Зайдем-ка туда! — предложил Вольпат.

— Ну, что ты!..— сказал Паради. Однако он приподнялся и встал. Ковыляя от усталости, он направился сначала к засветившемуся в полумраке окну, а затем к двери.

За ним пошел Вольпат, а за ними я. Мы постучали; нам открыл старик с трясущейся головой, с лицом помятым, как старая шляпа; мы спросили, нет ли вина для продажи.

— Нет,— ответил старик, качая лысой головой, на которой кое-где еще росли седые волоски.

— Нет ли пива, кофе? Чего-нибудь?

— Нет, друзья мои, ни-че-го. Мы не здешние... Беженцы...

— Ну, если ничего нет, пошли!

Мы повернулись, чтоб уйти. Все-таки минутку мы попользовались теплом комнаты и полюбовались светом лампы... Вольпат уже дошел до порога; его спина исчезла в потемках.

Вдруг я заметил старуху; она сидела на стуле в другом углу кухни и, видно, была очень занята какой-то работой.

Я ущипнул Паради за руку.

— Вот красавица хозяйка. Поухаживай за ней!

Паради с гордым равнодушием махнул рукой. Плевать ему на женщин: ведь уже полтора года все женщины, которых он видит, не для него. А если б даже они и были для него, все равно наплевать!

— Молодая или старая, все равно! — сказал он и зевнул.

Но все-таки от нечего делать, от нежелания уйти он подошел к этой старухе.

— Добрый вечер, бабушка! — пробормотал он, еще не кончив зевать.

— Добрый вечер, детки! — прошамкала старуха.

Вблизи мы ее разглядели. Она — сморщенная, сгорбленная, скрюченная; бледное лицо похоже на циферблат стенных часов.

А что она делала? Поместившись между стулом и краем стола, она старательно чистила ботинки. Это был тяжелый труд для ее детских рук; они двигались неуверенно; иногда она попадала щеткой мимо, а ботинки были прегрязные.

Заметив, что мы на нее смотрим, она сказала, что должна непременно в этот вечер почистить ботинки своей внучки, которая рано утром отправляется в город, где работает модисткой.

Паради нагнулся, чтобы получше рассмотреть эти ботинки. Вдруг он протянул к ним руку.

— Дайте-ка, бабушка! Я вам в два счета начищу эти башмачки.

Старуха отрицательно покачала головой и пожала плечами.

Но Паради силой отобрал у нее ботинки; слабая старуха попробовала сопротивляться, но тщетно.

Паради схватил каждой рукой по ботинку, и вот он нежно держит их, минуту созерцает и даже, кажется, сжимает.

— Ну и маленькие! — говорит он таким голосом, каким никогда не говорил с нами.

Он завладел щетками; усердно и осторожно чистит ими ботинки, не сводит глаз со своей работы и улыбается.

Очистив ботинки от грязи, он кладет ваксу на кончик двойной щетки и заботливо смазывает их.

Ботинки изящные. Видно, что это ботинки кокетливой девушки; на них блестит ряд мелких пуговиц.

— Все пуговки на месте,— шепчет мне Паради, и в его голосе слышится гордость.

Ему больше не хочется спать; он уже не позевывает. Напротив, он сжал губы; лицо озарено юным, весенним светом; только что казалось, он вот-вот заснет, а теперь он как будто проснулся.

Он проводит пальцами, почерневшими от ваксы, по ботинку, который расширяется кверху; можно угадать форму ноги. Паради умеет чистить ботинки, но вертит и перевертывает их неуклюже; он улыбается и мечтает о чем-то далеком. Старуха воздевает руки к небу и, призывая меня в свидетели, восхищенно говорит:

— Вот услужливый солдат!

Готово! Ботинки начищены и блестят, как зеркало. Делать больше нечего...

Паради ставит их на край стола осторожно, как реликвию, и, наконец, выпускает их из рук.

Он долго не сводит с них глаз, потом опускает голову и глядит на свои башмаки. Сравнив их с ботинками девушки, этот рослый парень — герой, цыган и монах — улыбается еще раз от всего сердца.

...Вдруг старуха привстала. У нее мелькнула мысль.

— Я ей скажу. Она вас поблагодарит. Эй, Жозефина! — кричит она, поворачиваясь к двери.

Но Паради останавливает ее широким, величественным движением руки.

— Нет, бабушка, не стоит! Не надо ее беспокоить! Мы уходим. Право, не стоит!

Он так убежденно и властно сказал это, что старуха послушно села и замолчала.

Мы пошли под навес спать в объятиях поджидавшего нас плуга.

Паради опять принялся зевать, но еще долго при свече видно было, что с его лица не сходит счастливая улыбка.

XVII

ПОДКОП

После сутолоки раздачи писем, когда солдаты возвращаются, кто — обрадованный письмом, кто — полуобрадованный открыткой, кто с новым грузом ожидания и надежды, какой-то товарищ, размахивая листком бумаги, сообщает нам необыкновенную новость:

— Помните деда Хлопотуна из Гошена?

— Того чудилу, что искал клад?

— Да. А ведь старик нашел!

— Да что ты? Врешь!..

— Говорят тебе, нашел, образина! Что мне тебе еще сказать? Молитву прочесть, что ли? Не умею... Ну, так вот, двор его дома обстреляли, и у стены, в развороченной земле оказался ящик, полный монет: старик получил свой клад прямо в руки. Даже поп тихонько примазался к этому делу, хотел объявить это чудом и приписать его к поповскому счету.

Мы разинули рот:

— Клад!.. Вот так история!.. Ай да старый хрыч!

Эта неожиданная новость повергает нас в бездну размышлений.

— Да, никогда нельзя знать наперед!

— А как мы смеялись над этим старым сморчком, когда он нес околесицу о своем кладе, и все уши нам прожужжал, и морочил нам голову!

— Помнишь, мы там говорили: «Все может быть. Никогда нельзя знать!» Тогда мы и не думали, что это так и есть, помнишь?

— Все-таки кое-что знаешь наверняка,— говорит Фарфаде.

Как только мы заговорили о Гошене, он задумался и смотрел неподвижным взглядом, словно ему улыбался любимый образ.

— Но этому я бы тоже не поверил!..— прибавил он.— После войны я туда вернусь; вот уж, наверно, старик будет хвастать своим кладом!

* * *

— Требуется доброволец: кто хочет помочь в работе саперам? — говорит рослый унтер.

— Нашел дураков! — ворчат солдаты и не двигаются.

— Надо вызволить товарищей! — настаивает унтер.

Ворчание прекращается; кое-кто поднимает голову.

— Есть! — говорит Ламюз.

— Собирайся, брат, пойдем со мной!

Ламюз застегивает ранец, свертывает одеяло, надевает сумки.

С тех пор как его несчастная страсть к Эдокси угасла, он еще помрачнел и, хотя все еще неудержимо продолжает толстеть, замкнулся, держится в сторонке и молчит.

День прошел. Вечером кто-то приближается к нам, поднимаясь и опускаясь по буграм и впадинам, как будто плывет в полумраке, и время от времени протягивает руки, словно зовет на помощь.

Это Ламюз. Он подходит к нам. Он весь в грязи, обливается потом, вздрагивает и как будто чего-то боится. Он шевелит губами, долго мычит и не может выговорить ни слова.

— В чем дело? — напрасно спрашивают его.

Он валится в угол и вытягивается.

Ему предлагают вина. Он знаками отказывается. Поворачивается ко мне и подзывает меня кивком головы. Я подхожу к нему; он шепчет мне тихо, как в церкви:

— Я видел Эдокси.

Он хочет вздохнуть; из его груди вылетает свист; уставившись в какое-то далекое страшное видение, Ламюз говорит:

— Она сгнила! Это было в том месте, которое захватили немцы,— продолжает Ламюз,— наши колони-

альные войска отбили его в штыковой атаке дней десять назад.

Сначала пробили дыру. Я работал вовсю. Я сделал больше других и оказался впереди. Остальные расширяли и укрепляли проход позади меня. Вдруг вижу груду балок: наверно, я попал в старую засыпанную траншею. Она была засыпана, но не совсем: были и пустые места. Я убирал один за другим наваленные куски дерева, и вот смотрю: стоит что-то вроде большого мешка, набитого землей; на нем что-то висит.

Вдруг балка подалась, и этот чудной мешок свалился на меня. Он меня придавил; я чуть не задохся от трупного запаха... Из этого мешка торчала голова, а то, что на нем висело, оказалось волосами.

Понимаешь, было темно, плохо видно. Но я все-таки узнал эти волосы (других таких волос не сыщешь в целом свете), узнал и лицо, хотя оно совсем распухло и покрылось плесенью; вместо шеи какая-то каша; Эдокси умерла, может быть, месяц тому назад. Это была Эдокси; верно тебе говорю.

Да, это была женщина, к которой я раньше никогда не мог подойти; ведь я смотрел на нее только издали и никогда не мог к ней прикоснуться: она была не для меня, как жемчужина. Помнишь? Эдокси бегала повсюду. Она шныряла даже по передовым позициям. Наверно, в нее угодила пуля. Эдокси, наверно, была убита и затерялась в траншее, и вот благодаря этому подкопу я случайно ее нашел.

Понимаешь, в чем дело? Мне пришлось кое-как поддерживать ее одной рукой, а другой работать. Эдокси валилась на меня всей тяжестью. Да, брат, она хотела меня поцеловать, а я не хотел. Это было страшно. Она как будто говорила: «Ты меня хотел, что ж, целуй». У нее на... вот здесь был приколот букет цветов; он хлестал меня по носу, он тоже сгнил, как труп какого-то зверька.

Пришлось поднять ее на руки и вместе с ней осторожно повернуться, чтобы сбросить ее по ту сторону насыпи. Было так тесно, что, поворачиваясь, я невольно прижал ее к груди изо всех сил, как прижал бы ее живую, если б она только пожелала...

Потом я полчаса отряхивался от этого прикосновения и запаха, которым она обдавала меня против моей,

да и против своей воли. Эх, хорошо еще, что я устал, как собака.

Он поворачивается на живот, сжимает кулаки и засыпает, уткнувшись носом в землю, измученный воспоминаниями о любви и тлене.

XVIII

СПИЧКИ

Пять часов вечера. Три человека копошатся на дне черной траншеи.

Они черные, страшные, зловещие в этом углублении, у потухшего костра. От дождя и небрежности солдат огонь погас, и трое поваров смотрят на головешки, погребенные под пеплом, на остатки холодеющего костра, пламя которого умерло, исчезло.

Вольпат, шатаясь, подходит к этой кучке людей и сбрасывает с плеч какую-то черную ношу.

— Я потихоньку вытащил это из стены землянки.

— Значит, дрова есть,— говорит Блер.— Но надо их зажечь. А то как же сварить мясо?

— Хороший кусок,— стонет другой черный человек.— Грудинка. По мне, это лучший кусок говядины: грудинка!

— Огня! — требует Вольпат.— Нет больше спичек, нет больше ничего!

— Да, нужен огонь! — ворчит Пупарден; он нерешительно топчется и покачивается в этой темной яме, как огромный медведь в клетке.

— Что и говорить, нужен! — подтверждает Пепен, вылезая из землянки, словно трубочист из камина.

Он высится в сумраке темной громадой.

— Будьте благонадежны, я уж достану,— гневно и решительно говорит Блер.

Он стал поваром совсем недавно и старается преодолеть все трудности.

Сейчас он повторил слова Мартина Сезара, который всегда умел найти огонь. Блер во всем подражает великому легендарному повару, как офицеры пытаются подражать Наполеону.

— Если понадобится, я сорву всю обшивку с офи-

церской землянки. Я отберу спички у самого полковника. Я пойду...

— Пойдем за огнем!

Пупарден шагает впереди. Его темное лицо похоже на дно закопченной кастрюли. Холод лютый; Пупарден плотно закутался. На нем шуба, частью из козьего меха, частью из овчины, полубурая, полубелая, и в этой лохматой оболочке с двумя геометрически очерченными полосами он похож на некоего апокалипсического зверя.

На Пепене вязаная шапка, до того почерневшая и засаленная, что ее можно принять за шапку из черного атласа. Вольпат в своих шерстяных шлемах и фуфайках кажется движущимся стволом дерева; в плотной коре этого двуногого бревна квадратный вырез, и в нем виднеется желтое лицо.

— Пойдем к десятой роте! У них там всегда есть все, что нужно. Это на Пилонской дороге, за Новым ходом.

Четыре страшных чудовища пускаются в путь; они движутся, подобно туче; траншея извивается перед ними, как кривая, немощеная, темная и небезопасная улица. В этом месте она необитаема; она служит ходом сообщения между первыми и вторыми линиями окопов.

В пыльных сумерках повара встречают двух марокканцев. У одного лицо цвета черного сапога, у другого — цвета желтого башмака. В сердцах поваров появляется проблеск надежды.

— Спички есть, ребята?

— Нету! — отвечает черный и смеется, оскалив длинные словно фарфоровые зубы.

Желтый подходит и спрашивает в свою очередь:

— Табак? мало-мало табак?

Он протягивает руку, словно сделанную из мореного дуба; у него лиловатые ногти, зеленовато-желтый рукав.

Пепен рычит, шарит по своим карманам, вытаскивает щепотку табака, смешанного с пылью, и дает его марокканцу.

Немного дальше повара натыкаются на часового он дремлет в полумраке, среди обвалов. Еще не совсем проснувшись, он говорит:



— Направо, потом опять направо, а потом все прямо. Не сбейтесь с дороги!

Они идут дальше. Долго идут.

— Мы, наверно, далеко,— говорит Вольпат после получасовой бесполезной ходьбы по безлюдной траншее.

— Погляди-ка, здесь крутой спуск, правда? — замечает Блер.

— Не беспокойся, старая крыса,— подсмеивается Пепен.— А если трусишь, поворачивай оглобли...

Они идут дальше. Спускается ночь... Все еще пустынная траншея — страшная, бесконечная пустыня — приняла обветшалый, странный вид. Насыпи разрушены; от обвалов дно превратилось в «американские горы».

По мере того как четверо охотников за огнем углубляются во мрак этой чудовищной дороги, их охватывает смутное беспокойство.

Пепен теперь идет впереди; он останавливается и движением руки останавливает товарищей.

— Кто-то идет!..— шепчут они.

В глубине души им страшно. Напрасно они вышли из прикрытия все вместе и так долго отсутствуют. Они провинились. И неизвестно, чем это еще кончится.

— Влезем сюда! Скорей! Скорей! — говорит Пепен.

Он показывает на прямоугольное отверстие на уровне земли. Они его ощупывают. Прямоугольная тень оказывается входом в прикрытие. Они входят туда один за другим; последний нетерпеливо подталкивает остальных, и все прячутся в непроницаемом мраке узкой норы.

Шаги и голоса раздаются все отчетливей.

Из кучки четырех солдат, забившихся в эту дыру, высунулись руки, они шарят по земле. Вдруг Пепен бормочет сдавленным голосом:

— Что там такое?

— Что? — спрашивают остальные.

— Обоймы! — вполголоса отвечает Пепен.— Немецкие обоймы! Мы попали к бошам!

— Удирай!

Трое бросаются к выходу.

— Осторожней, дьяволы! Не двигайтесь! Идут!..

Быстрые шаги. Идет только один человек.

Повара не двигаются, не дышат. Их глаза на уровне земли; они видят, как справа шевелится мрак, потом тень отделяется, приближается, проходит... Она принимает более четкие очертания. На голове у нее каска, покрытая чехлом, под которым можно угадать острие. Слышны только шаги.

Едва немец прошел, как четыре повара единым прыжком, не сговариваясь, кидаются вперед, толкают друг друга, бегут, как сумасшедшие, и набрасываются на него.

— Камрад!.. Месье!..— кричит он.

Вдруг сверкнул нож. Немец падает, словно погружаясь в землю. Пепен хватает каску и не выпускает ее из рук.

— Надо стрекача задавать! — ворчит Пупарден.

— Обыскать боша!

Они приподнимают, переворачивают и опять приподнимают рыхлое, теплое, влажное тело. Вдруг немец кашляет.

— Он еще жив!

— Нет, подох. Это из него воздух выходит.

Они выворачивают карманы убитого. Слышится прерывистое дыхание четырех черных людей, согнувшихся над трупом.

— Каска — мне! — заявляет Пепен.— Это я пустил ему кровь. Не отдам каску.

У мертвеца отбирают бумажник с еще теплыми бумагами, бинокль, кошелек и краги.

— Спички! — восклицает Блер, потрясая коробком.— Есть!

— А-а, скотина! — тихонько вскрикивает Вольпат.

— А теперь — дра́ла!

Они швыряют труп в угол и убегают во всю прыть, охваченные паникой, не думая о шуме, который они производят.

— Сюда!.. Сюда!.. Ребята, поднажмем!

Они молча мчатся по лабиринту небывало пустынных бесконечных проходов.

— У меня в груди сперло,— хрипит Блер,— мне каюк!..

Он шатается и останавливается.

— Ну, понатужься, старая калоша,— кричит Пепен задыхаясь.

Он хватает его за рукав и тащит за собой, как упрямую лошадь.

— Пришли! — говорит Пупарден.

— Да, я узнаю это дерево.

— Это Пилонская дорога!

— А-а-а! — стонет Блер, прерывисто дыша и сотрясаясь, как мотор. Он бросается вперед из последних сил и садится на землю.

— Стой! — кричит часовой.— Да откуда вы? — бормочет он, узнав их.

Они хохочут, прыгают, как паяцы; их потные, забрызганные кровью лица и руки кажутся еще черней; в руках Пепена поблескивает каска немецкого офицера.

— Вот так история! — изумленно бормочет часовой.— В чем дело?

Они ликуют и беснуются.

Все говорят сразу. Наспех, кое-как рассказывают драму, после которой еще не успели прийти в себя. Дело в том, что, расставшись с полусонным часовым, они заблудились и попали в Международный ход, часть которого принадлежит нам, а часть — немцам. Между обеими частями нет никакого заграждения. Только что-то вроде нейтральной зоны, на обоих концах которой стоят часовые. Наверно, немецкий часовой не стоял на посту, или спрятался, заметив четыре тени, или отступил и не успел вызвать подкрепления. А может быть, немецкий офицер случайно зашел слишком далеко в нейтральную зону... Словом, так и нельзя разобраться в том, что произошло.

— Смешней всего,— говорит Пепен,— что мы это знали и не остереглись, когда пошли...

— Мы ведь искали огня! — говорит Вольпат.

— И достали! — кричит Пепен.— Ты не потерял спички, старый хрыч?

— Будьте благонадежны! — отвечает Блер.— Немецкие спички получше наших. Без них у нас бы не было огня! Потерять спички? Посмел бы их кто-нибудь у меня отнять!

— Мы опаздываем. Вода в котле, небось, замерзла. Навострим лыжи и махнем к себе. А потом расскажем товарищам, какую штуку мы сыграли с бошами...

XIX

БОМБАРДИРОВКА

Мы в открытом поле, среди необозримых туманов.

Над нами темно-синее небо. К концу ночи пошел снег; он осыпает плечи и забивается в складки рукавов. Мы идем по четверо в ряд. Все надели капюшоны. В полумраке мы кажемся каким-то племенем, переселяющимся из одной северной страны в другую северную страну.

Мы прошли через разрушенный Аблен-Сен-Назер, мельком видели беловатые груды домов и темную паутину ободранных крыш. Деревня очень длинная; мы вошли в нее ночью, а когда выходили, ее последние домишки уже белели от предутреннего инея. Через решетку в каком-то подвале, на берегу волн этого окаменелого океана, мы заметили огонь, поддерживаемый сторожами мертвого города. Мы шлепали по болотистым полям, блуждали по безлюдной местности, где ноги вязли в грязи, потом ступили на более или менее твердую почву; вышли на дорогу, ведущую из Каранси в Суше. Высокие придорожные тополя разбиты, стволы расщеплены; в одном месте тянется колоннада огромных сломанных деревьев. Дальше в темноте, с обеих сторон, нас сопровождают карликовые призраки деревьев, они расколоты надвое, похожи на пальмы или растерзаны, превращены в деревянную корпию, в пучки волокон; другие согнулись и словно стоят на коленях. Кое-где путь преграждают глубокие рытвины. Вместо дороги — лужа; идешь на каблуках, расплескивая воду ногами, как веслами. Местами проложены доски. Там, где они лежат косо, по ним скользишь. Иногда столько воды, что они плавают и под тяжестью человека с хлюпаньем тонут, а человек спотыкается или падает и бешено ругается.

Теперь, наверно, часов пять утра. Снег перестал; обнаженная, застывшая в ужасе пустыня проясняется, но мы еще окружены широким кольцом туманов и мрака.

Мы идем, мы идем дальше. Доходим до места, где можно различить темный пригорок; внизу копошатся люди.

— Подходите по двое! — командует начальник отряда.— Каждые два человека будут нести по очереди балку или плетень!

В каждой паре один солдат берет у другого винтовку. А тот поворачивает и с трудом вытаскивает из кучи длинную, грязную, скользкую балку весом чуть не в сорок кило, или плетень из покрытых листьями веток величиной с дверь; их можно нести на спине, только согнувшись, подняв руки и придерживая за края.

Мы идем дальше. Мы рассыпались по сероватой дороге, идем медленно-медленно, тяжело-тяжело ступаем, глухо кряхтим, ругаемся сдавленным от усилий голосом. Пройдя сотню метров, каждые два солдата обмениваются ношей: тот, кто нес два ружья, теперь несет балку или плетень, и, пройдя две сотни метров, все, кроме унтеров, обливаются потом, хотя дует резкий предрассветный ветер.

Вдруг там, в пустынных местах, куда мы идем, вспыхивает и расцветает звезда: это ракета. Она освещает небосвод молочным сиянием, затмевает созвездия и летит вниз, пленительная, как фея.

Там, впереди, какой-то беглый свет; вспышка, грохот.

Это — снаряд.

В небе от взрыва на миг появляется отблеск, и приблизительно на расстоянии километра, с востока на запад, мы ясно различаем возвышенность.

Она принадлежит нам — вся видимая отсюда часть до вершины, занятой нашими войсками. На другом склоне, в ста метрах от наших передовых позиций, находятся передовые позиции немцев.

Снаряд упал на вершину, в наше расположение. Это стреляет неприятель.

Второй снаряд. Третий, четвертый. На вершине холма возникают столбы лиловатого света, тускло озаряющего весь горизонт.

И вот уже весь холм сверкает ослепительными звездами; внезапно вырастает лес фосфоресцирующих султанов, и над бездной ночи вспыхивает сине-белый волшебный свет.

Те из нас, кто изо всех сил старается удержать на спине тяжелую, грязную, скользкую ношу и удержать-

ся на скользкой земле, не видят ничего и молчат. Другие дрожат от холода, лязгают зубами, фыркают, сопят, утирают нос мокрым платком и проклинают размытую дорогу, но все-таки смотрят и поясняют это зрелище.

— Совсем как фейерверк! — говорят они.

И вот, дополняя эту феерическую зловещую декорацию, перед которой ползет, копошится и шлепает по грязи черный-пречерный отряд,— взлетает красная звезда, за ней — зеленая, потом, гораздо медленней, целый сноп красных звезд.

Солдаты, которые не несут тяжести, смотрят и невольно, с каким-то простодушным восхищением, бормочут:

— Гляди... красная!.. Гляди... зеленая!..

Это подают сигналы немцы, да и наши: вызывают артиллерию.

Дорога заворачивает и ведет в гору. Наконец светает. Все предстает в грязном обличье. По обеим сторонам дороги, словно покрытой светло-серым грунтом и белыми хлопьями, грустно открывается действительный мир. Мы оставляем позади себя развалины Суше, где дома превратились в площадки, засыпанные строительными материалами, а деревья — в изодранные кусты, устилающие землю. Мы сворачиваем влево и проникаем в зияющую дыру. Здесь ход сообщения.

Мы сваливаем ношу на огороженное место, предназначенное для нее; мы вспотели и вместе с тем продрогли; исцарапанные руки сводит судорога; мы располагаемся в этой траншее и принимаемся ждать.

Мы зарылись в яму по самый подбородок, уперлись грудью в земляную стену, которая служит нам прикрытием, и следим за развертывающейся перед нами ослепительной драмой. Бомбардировка усиливается. На возвышенности светящиеся столбы, при белесом свете зари, превратились в парашюты, в бледных медуз, отмеченных огненной точкой, а по мере того как светлеет — в султаны из дымчатых перьев, в страусовые перья, белые и серые, которые возникают над туманной зловещей высотой 119, в пяти- или шестистах метрах от нас; потом и они медленно исчезают. Это поистине огненный столп и облачный столп из Библии;

они взвиваются вместе, и одновременно раздается грохот. В эту минуту на склоне холма мы видим несколько человек, которые бегут укрыться под землей. Один за другим они исчезают; их поглощают кротовые норы.

Теперь ясней различаешь форму прилетающих «гостинцев»; при каждом залпе в воздухе появляются изжелта-белые хлопья с черным ободком; на высоте метров в шестьдесят они раздваиваются, клубятся, и при взрыве слышен свист пачки пуль, падающих из этих желтых хлопьев.

Стреляют беглым огнем по шести раз подряд: бац, бац, бац, бац, бац, бац! Это семидесятисемимиллиметровые орудия.

Шрапнель семидесятисемимиллиметровок все презирают; тем не менее три дня тому назад Блебуа был убит именно такой шрапнелью. Но вообще она почти всегда разрывается слишком высоко.

Хотя мы это знаем, Барк объясняет:

— «Ночной горшок» достаточно предохраняет башку от свинцовых шариков. Они ранят тебя в плечо и бросают оземь, но не убивают. Конечно, не надо все-таки зевать. Не вздумай задрать хобот или высунуть руку, чтоб узнать, идет ли дождь. А вот наша семидесятипятимиллиметровка...

— У бошей есть не только семидесятисемимиллиметровки,— перебил его Мениль Андре.— Есть и разные другие штуки. Вот!.. Погляди-ка!..

Раздается пронзительный свист, дребезжание, скрежет. И вдали на склонах, где наши сидят в укрытиях, скопляются тучи различных очертаний. К гигантским огненным и туманным перьям примешиваются огромные султаны, метелки, кисти из дыма, которые, опадая, расширяются книзу; все это — белое или серо-зеленое, цвета угля или меди, с золотистыми отсветами или чернильными пятнами.

Два последних взрыва раздались совсем близко; они образуют над притоптанной землей огромные шары бурой и черной пыли, которые вскоре неторопливо улетают по воле ветра, принимая облик сказочных драконов.

Ряды наших голов на уровне земли поворачиваются; из глубины рва мы следим за этим зрелищем, развертывающимся в пространстве, населенном святящимися

жестокими видениями, среди полей, раздавленных гремящим небом.

— Это стопятидесятимиллиметровые.

— Даже двухсотдесятимиллиметровые, голова телячья!

— Есть еще фугасные снаряды! Эх, скоты! Погляди-ка на этот!

Снаряд взорвался на земле и взметнул темным веером землю и обломки. Казалось, сквозь трещины расколовшейся земли извергся страшный вулкан, скрытый в ее недрах.

Вокруг нас дьявольский шум. У меня небывалое ощущение беспрерывного нарастания, бесконечного умножения всемирного гнева. Буря глухих ударов, хриплых яростных воплей, пронзительных звериных криков неистовствует над землей, сплошь покрытой клочьями дыма; мы зарылись по самую шею в землю, которая словно несется куда-то, покачиваясь под шквальным огнем.

— Эй! Каково! — орет Барк.— А говорили, что у них нет больше снарядов!

— Ну да... Знаем мы эти россказни! И еще газетную брехню.

Среди всех этих шумов слышится мерное тиканье. Из всех звуков на войне этот звук трещотки-пулемета больше всего хватает за душу.

— «Кофейная мельница». Это наша: треск ровный, а у бошей промежутки между двумя выстрелами неровные: так... так-так-так... так-так... так!

— Маху дал, брат! Это не «швейная машина» строчит, это мотоциклетка катит по дороге к тридцать первому укрытию.

— Нет, это там, наверху, какой-то парень носится на своей «метле»,— хихикая, говорит Пепен и, задрав голову, ищет в небе самолет.

Возникает спор. В самом деле, трудно разобрать. Среди этих грохотов, несмотря на привычку, теряешься. На днях в лесу целый взвод принял на минуту за хриплый рев снарядов крик мула, который заорал поблизости.

— Ну и «колбас» в воздухе сегодня! — замечает Ламюз.

Мы поднимаем головы и считаем.

— Восемь «колбас» у нас и восемь у бошей,— говорит Кокон (он уже успел подсчитать).

Действительно, на горизонте, на равном расстоянии друг от друга, перед линией неприятельских привязных аэростатов, которые издали кажутся маленькими, парят восемь длинных, легких и зорких «глаз» армии, соединенных живыми нитями с главным командованием.

— Они видят нас, а мы видим их. Как же укрыться от этих идолов?

— Вот наш ответ!

Действительно, вдруг за нашей спиной раздается отчетливый, яростный, оглушительный грохот семидесятипятимиллиметровых орудий.

Этот гром нас бодрит, опьяняет. Мы кричим при каждом залпе, мы не слышим друг друга; доносится только необычайно пронзительный голос горластого Барка среди этого невероятного барабанного боя, каждый удар которого — пушечный выстрел.

Потом мы поворачиваем голову, вытягиваем шею и на вершине холма видим силуэты черных адских деревьев, вросших страшными корнями в невидимую землю склона, где притаился враг.

— Что это такое?

Батарея семидесятипятимиллиметровок в ста метрах от нас продолжает бухать: это четкие удары исполинского молота по наковальне и чудовищно сильные, яростные крики. Но концерт заглушается зловещим урчанием.

Оно тоже доносится с нашей стороны.

— Ну и здоровый дяденька летит!

На высоте в тысячу метров над нами пролетает снаряд. На нас словно опрокидывается гулкий купол неба. Снаряд медленно дышит; чувствуется, что он пузатый, крупней других. Он пролетает, спускается, грузно подрагивая, как поезд подземной железной дороги, прибывающий на станцию; потом его тяжелый свист удаляется. Мы разглядываем холм. Через несколько секунд его обволакивает туча цвета семги; она покрывает полгоризонта.

— Это двухсотдвадцатимиллиметровый, с батареи на пункте «гамма».

— Эти снаряды видишь, когда они вылетают из пушки,— утверждает Вольпат.— И если смотреть в направлении выстрела, видишь их простым глазом, даже когда они уже далеко от орудия.

Пролетает второй снаряд.

— Вот! Гляди! Видел? Опоздал, брат. Ухнуло! Надо быстрей поворачивать башку! А-а, еще один летит! Видал?

— Нет.

— Растяпа! Надо же быть таким рохлей! Видно, твой отец был ротозеем! Скорей! Вот летит! Видишь, балда?

— Вижу. Только и всего?

Несколько человек увидели нечто черное, заостренное, похожее на дрозда со сложенными крыльями, когда клювом вперед он падает с высоты, описывая дугу.

— Эта птичка весит сто восемнадцать кило, старый хрыч,— гордо говорит Вольпат,— и если попадет в землянку, поубивает всех, кто там есть. Кого не разорвет осколками, убьет ветром или удушит газом, люди и ахнуть не успеют!

— Вот тоже хорошо виден двухсотсемидесятимиллиметровый снаряд, когда миномет швыряет его в воздух: гоп!

— И еще стопятидесятипятимиллиметровки Римальо, но за ними не уследишь: они летят прямо и далеко-далеко; чем больше смотришь, тем больше они тают в воздухе.

Над полями носится запах серы, черного пороха, паленых тряпок, испепеленной земли. Как будто разъярились дикие звери: странное, свирепое мычание, рычание, завывание, мяуканье жестоко разрывают наши барабанные перепонки и отдаются в животе, а порой кажется, что протяжно ревет сирена погибающего парохода. Иногда даже раздается нечто похожее на возгласы, и странные изменения тона придают им человеческий звук.

Кое-где поля приподнимаются и опять опускаются: от горизонта до горизонта свирепствует небывалая буря.

А далеко-далеко чуть слышится приглушенный грохот тяжелых орудий, но его сила чувствуется в порыве ветра, ударяющего нам в уши.

...А вот колышется и тает над зоной обстрела кусок зеленой ваты, расплывающейся во все стороны. Это цветное пятно выделяется и привлекает внимание; все пленники траншеи поворачивают головы и смотрят на этот уродливый предмет.

— Это, наверно, удушливые газы. Приготовим маски!

— Свиньи!

— Это уж бесчестный способ,— говорит Фарфаде.

— Какой? — насмешливо спрашивает Барк.

— Ну да, некрасивый способ. Газы!..

— Ты меня уморишь своими «бесчестными» или «честными» способами,— говорит Барк.— А ты что, никогда не видал людей, распиленных надвое, рассеченных сверху донизу, разодранных в клочья обыкновенным снарядом? Ты не видал, как валяются кишки, словно их разбросали вилами, а черепа вогнаны в легкие как будто ударом дубины? Или вместо головы торчит только какой-то обрубок и мозги текут смородинным вареньем на грудь и на спину? И после этого ты скажешь: «Это честный способ, это я понимаю!»

— А все-таки снаряд — это можно; так полагается...

— Ну и ну! Знаешь, что я тебе скажу? Давно я так не смеялся.

Барк поворачивается к Фарфаде спиной.

— Эй, ребята, берегись!

Мы навострили уши; кто-то бросился ничком на землю; другие бессознательно хмурят брови и смотрят на укрытие, куда им теперь не добежать. За эти две секунды каждый втягивает голову в плечи. Все ближе, ближе слышен скрежет гигантских ножниц, и вот он превращается в оглушительный грохот, словно разгружают листовое железо.

Этот снаряд упал недалеко: может быть, в двухстах метрах. Мы нагибаемся и сидим на корточках, укрываясь от дождя мелких осколков.

— Лишь бы не попало в рожу, даже на таком рас-

стоянии! — говорит Паради; он вынимает из земляной стенки осколок, похожий на кусочек кокса с режущими гранями и остриями, и подбрасывает его на руке, чтобы не обжечься.

Вдруг он резко нагибается; мы — тоже.

Бз-з-з-з, бз-з-з-з...

— Трубка!.. Пролетела!..

Дистанционная трубка шрапнели взлетает и вертикально падает; в снаряде фугасного и осколочного действия ударная трубка после взрыва отделяется от раздробленного стакана и обычно врезается в землю там, где падает; но иногда она отскакивает куда попало, как большой раскаленный камень. Ее надо остерегаться. Она может броситься на вас уже через много времени после взрыва, черт ее знает как пролетая поверх насыпей и ныряя в ямы.

— Подлейшая штука! Раз со мной случилось вот что...

— Есть штуки и похуже всего этого,— перебивает Багс, солдат одиннадцатой роты,— это австрийские снаряды: сто тридцать и семьдесят четыре. Вот их я боюсь. Говорят, они никелированные; я сам видел: они летят так быстро, что от них не убережешься; как только услышишь их храп, они и разрываются.

— Когда летит немецкий сто пять, тоже не успеешь броситься на землю и укрыться. Мне рассказывали артиллеристы.

— Я тебе вот что скажу: снаряды морских орудий летят так, что не успеешь и услышать, а они в тебя уже угодили.

— А есть еще этот подлый новый снаряд; он разрывается после того, как попадет в землю рикошетом, отскочит метров на шесть и нырнет опять разок-другой... Когда я знаю, что летит такой снаряд, меня дрожь пробирает. Помню, как-то раз я...

— Это все пустяки, ребята,— говорит новый сержант (он проходил мимо и остановился).— Вы бы поглядели, чем нас угощали под Верденом, я там был. Только «большаками»: триста восемьдесят, четыреста двадцать, четыреста сорок. Вот когда тебя так обстреляют, можешь сказать: «Теперь я знаю, что такое бомбардировка!» Целые леса скошены, как хлеба, все укрытия пробиты, разворочены, даже если на них в

три ряда лежали бревна и земля; все перекрестки политы стальным дождем, дороги перевернуты вверх дном и превращены в какие-то длинные горбы; везде разгромленные обозы, разбитые орудия, трупы, словно наваленные в кучи лопатой. Одним снарядом убивало по тридцать человек; некоторых подбрасывало в воздух метров на пятнадцать; куски штанов болтались на верхушках тех деревьев, что еще уцелели. В Вердене снаряды триста восемьдесят попадали в дома через крыши, пробивали два, а то и три этажа, взрывались внизу, и вся конура взлетала к черту, а в поле целые батальоны рассыпались и прятались от этого вихря, как бедная беззащитная дичь. На каждом шагу в поле валялись осколки толщиной в руку, широченные; чтобы поднять такой железный черепок, понадобилось бы четыре солдата. А поля... Да это были не поля, а нагромождения скал!.. И так целые месяцы. А тут что? Пустяки! — повторил сержант и пошел дальше, наверно, поделиться теми же воспоминаниями с другими солдатами.

— Капрал, погляди-ка на этих ребят! Рехнулись они, что ли?

На бомбардируемой позиции какие-то крошечные люди бежали к месту взрывов.

— Это артиллеристы,— сказал Бертран.— Как только «чемодан» разорвется, они бегут искать в яме дистанционную трубку; по ее положению и по тому, как она вошла в землю, можно узнать позицию батареи, понимаешь? А расстояние стоит только прочесть: его отмечают на делениях, нарезанных по кольцу трубки, когда закладывают снаряд.

— Все равно... Ну и молодцы эти «артишоки»! Выйти под такой обстрел!..

— Артиллеристы,— сказал солдат из другой роты, который прогуливался по траншее,— артиллеристы либо очень хороши, либо ничего не стоят. Либо молодцы, либо дрянь. Раз как-то я...

— Это можно сказать обо всех солдатах.

— Может быть. Но я говорю тебе не обо всех. Я говорю об артиллерии, и еще я говорю, что...

— Эй, ребята, поищем укрытие, побережем свои старые кости! А то осколок угодит нам в башку.

Чужой солдат так и не кончил своей истории и пошел дальше рассказывать ее другим, а Кокон из духа противоречия заявил:

— Нечего сказать, весело будет в укрытии, если уже здесь мы не очень приятно проводим время.

— Гляди, они швыряют минами! — сказал Паради, показывая направо на наши позиции.

Мины взлетали прямо или почти прямо, как жаворонки, подрагивая и шурша, останавливались, колыхались и падали, возвещая в последние секунды о своем падении хорошо знакомым нам «детским криком». Отсюда казалось, что люди на горном кряже выстроились в ряд и играют в мяч.

— Мой брат пишет, что в Аргоннах их обстреливают «горлицами»,— говорит Ламюз.— Это большие тяжелые штуки; ими стреляют с близкого расстояния из минометов. Они летят и воркуют, право, воркуют, а как разорвутся, поднимается такой кавардак!..

— А хуже всего «крапуйо»: он как будто гонится за тобой и бросается на тебя, сносит насыпь и разрывается в самой траншее.

— А-а!.. Слышал?

До нас донесся свист и вдруг утих: снаряд не разорвался.

— Этот снаряд говорит: «Начхать!» — заметил Паради.

Мы навострили уши, чтобы иметь удовольствие услышать (или не услышать) свист других снарядов.

Ламюз сказал:

— Тут все поля, все дороги, все деревни усеяны неразорвавшимися снарядами разных калибров, и, надо признаться, нашими тоже. Вся земля, наверно, набита ими, но их не видать. Спрашивается, что делать, когда придет время сказать: «Надо опять пахать землю!»

В своем неистовом однообразии огненный и железный вихрь не утихает: со свистом разрывается шрапнель, наделенная металлической душой, обуянная бешенством; грохочут крупные фугасные снаряды, словно разлетевшийся паровоз с размаху разбивается о стену или груды рельсов и стальных стропил катятся вниз по

склону. Воздух уплотняется; его рассекает чье-то тяжелое дыхание; кругом, вглубь и вширь, продолжается разгром земли.

И другие пушки вступают в действие. Это — наши. По звуку их выстрелы похожи на выстрелы семидесятипятимиллиметровых орудий, но сильней; эхо гремит протяжно и гулко, как отзвук грома в горах.

— Это длинные стодвадцатимиллиметровки. Они стоят на опушке леса, в одном километре отсюда. Славные пушечки, брат; они похожи на серых гончих. Тонкие, с маленьким ротиком. Так и хочется сказать им: «Мадам!» Это не то, что двухсотдвадцатимиллиметровки: у них только пасть — какое-то ведро из-под угля, они харкают снарядом снизу вверх. Здорово работают! Но в артиллерийских обозах они похожи на безногих калек в колясочках.

Беседа не клеится. Кое-кто позевывает.

Воображение утомлено величием этого артиллерийского урагана. Он заглушает голоса.

— Я никогда еще не видал такой бомбардировки,— кричит Барк.

— Так всегда говорят,— замечает Паради.

— А все-таки,— орет Вольпат.— На днях толковали об атаке. Припомните мое слово, это уже начало!..

— А-а! — восклицают другие.

Вольпат выражает желание вздремнуть; он устраивается на голой земле, прислоняется к одной стенке и упирается ногами в другую.

Болтают о том, о сем. Бике рассказывает о крысе:

— Большущая, жирная! Лакомка!.. Я снял башмаки, а она взяла да изгрызла верха! Прямо кружево! Надо сказать, я смазал их салом...

Неподвижно лежавший Вольпат заворочался и кричит:

— Эй, болтуны! Спать мешаете!

— Никогда не поверю, старая шкура, что ты можешь дрыхнуть, когда здесь такой кавардак,— говорит Мартро.

— Хр-р-р! — отвечает захрапевший Вольпат.

* * *

— Стройся! Марш!

Мы трогаемся в путь. Куда нас ведут? Неизвестно. Мы только знаем, что мы в резерве и нас гоняют с места на место: то требуется укрепить какой-нибудь пункт, то надо очистить проходы,—производить там передвижение войск, не допуская затора и столкновений, так же трудно, как наладить пропуск поездов на крупных узловых станциях. Невозможно ни понять смысл огромного маневра, в котором наш полк — только маленькое колесико, ни разобрать, что́ готовится на всем участке фронта. Мы блуждаем в подземном лабиринте, без конца ходим взад и вперед, мы измучены длительными остановками, обалдели от ожидания и шума, отравлены дымом, но мы понимаем, что наша артиллерия все усиливает огонь и что наступать будут, наверное, на другом направлении.

* * *

— Стой!

По брустверам траншеи, где нас остановили в эту минуту, барабанили пули. Бешеная, неслыханная ружейная пальба.

— Ну и старается бош! Боится атаки, с ума сошел от страха. Ну и старается!

Пули градом сыпались на нас, рассекали воздух, усеивали всю равнину.

Я посмотрел в бойницу. На миг предстало странное зрелище.

Перед нами, самое большее метрах в десяти, вытянувшись в ряд, лежали неподвижные тела — скошенная шеренга солдат; со всех сторон пули летели тучей и решетили этих мертвецов.

Пули царапали землю прямыми бороздами, поднимали легкие четкие облачка пыли, пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали руки, ноги, впивались в бледные, изнуренные лица, пробивали глаза, разбрызгивая кровавую жижу, и под этим шквалом ряды трупов кое-где чуть шевелились.

Слышался сухой треск: острые куски металла с налету рвали ткани и мясо; этот звук был похож на

свист неистового ножа или бешеного удара палки по одежде. Над нами неистовствовал шквал пронзительных свистов и раздавалось более низкое, более глухое пение рикошетов. И под этим яростным вихрем мы опускали головы.

— Очистить траншею! Марш!

* * *

Мы покидаем этот клочок поля битвы, где ружейные залпы сызнова расстреливают, ранят и убивают мертвецов. Мы идем вправо и назад. Ход сообщения ведет в гору. В верхней части оврага мы проходим мимо телефонного поста, мимо нескольких артиллерийских офицеров и солдат.

Здесь опять остановка. Мы топчемся и слушаем, как наблюдатель выкрикивает приказы, а телефонист, сидящий рядом в прикрытии, их принимает и повторяет:

— Первое орудие, тот же прицел! Левей ноль два! По три в минуту!

Кое-кто из нас решается высунуть голову поверх насыпи и может на мгновение охватить взглядом все поле битвы, вокруг которого наша рота кружит с утра.

Я замечаю серую необъятную равнину, где ветер поднимает мутные легкие волны пыли с гребнями дыма.

Огромное пространство, где солнце и тучи отбрасывают черные и белые пятна, вспыхивают то тут, то там огоньки: это стреляют наши батареи; я вижу, как все покрывается вспышками. Потом, на мгновение, часть полей исчезает за туманной беловатой завесой, как в снежную метель.

Вдали, над выцветшими зловещими полями, разрушенными, как древние кладбища, смутно виднеется нечто вроде клочка разорванной бумаги — это скелет церкви, и во всю ширь пространства тесные ряды вертикальных подчеркнутых линий, похожих на палочки в детской тетради: это дороги, обсаженные деревьями. Равнина исчерчена в клетку, вдоль и поперек, извилинами, а эти извилины усеяны точками — людьми.

Мы различаем обрывки линий, образуемых живыми точками, которые выходят из вырытых борозд и движутся по равнине под грозным разъяренным небом.



Трудно поверить, что каждое из этих пятнышек — живая плоть, живое существо, вздрагивающее и хрупкое, совершенно беззащитное в этом мире, полное глубоких мыслей, воспоминаний и образов: мы ослеплены этой пыльцой, этим множеством людей, крохотных, как звезды в небе.

Бедные ближние, бедные незнакомцы, теперь ваш черед принести себя в жертву! Потом наступит наш! Может быть, завтра и нам придется почувствовать, как над нами раскалывается небо и под ногами разверзается земля, нас сметет дыхание урагана, в тысячу раз более мощного, чем обычный ураган.

Нас гонят в тыловые укрытия. Из наших глаз постепенно исчезает поле смерти. Гром канонады колотит глуше по чудовищной наковальне туч. Гул всемирного разрушения стихает. Наш взвод себялюбиво окунается в привычные шумы жизни и погружается в ласковую темноту укрытий.

XX

ОГОНЬ

Вдруг кто-то меня будит; в темноте ночи я открываю глаза:

— Что? В чем дело?

— Твоя очередь идти на пост. Уже два часа ночи,— говорит капрал Бертран.

Я его слышу, но не вижу в отверстие норы, на дне которой лежу.

Я ворчу: «Сейчас»,— отряхиваюсь, зеваю в узком гробовом укрытии, потягиваюсь, мои руки касаются мягкой холодной глины. Я ползу в густом мраке, насыщенном тяжелыми запахами, между спящих солдат. Несколько раз я их задеваю, натыкаюсь на ружья, ранцы, ноги и руки, раскинутые во все стороны, беру свое ружье, и вот я уже стою под открытым небом; я еще сонный, плохо держусь на ногах; на меня налетает черный колючий ветер.

Дрожа от холода, я иду за капралом между высоких темных насыпей, которые как-то странно сближаются за нами. Капрал останавливается. Это здесь. Какая-то черная громадина отделяется от призрачной стены и

спускается. Эта громадина громко зевает, словно ржет. Я поднимаюсь в нишу, которую она занимала.

Луна скрыта в тумане, но все озарено мутным светом, к которому глаз привыкает. Этот свет тускнеет: наверху скользит широкий обрывок тучи. Я нащупываю отверстие бойницы на уровне моей головы и в углублении привычной рукой нахожу кучу гранат.

— Смотри в оба, старина! — вполголоса говорит Бертран.— Не забудь, что там впереди, налево, наш сторожевой пост. Ну, пока прощай!

Слышатся его удаляющиеся шаги, а за ними сонные шаги часового, которого я сменил.

Со всех сторон трещат выстрелы. Вдруг о насыпь, к которой я прислонился, ударяется пуля. Я приникаю лицом к бойнице. Наша линия извивается по верху оврага; его откос круто уходит вниз, и в бездне мрака, куда он погружается, не видно ничего. Но в конце концов глаз различает правильную линию кольев нашего проволочного заграждения, торчащих у границы темноты, и круглые ямы — воронки от снарядов, маленькие, средние, большие, огромные; некоторые совсем близко; они завалены какими-то обломками. Ветер дует мне в лицо. Все неподвижно, только пролетает ветер и каплет вода. Холодно так, что без конца дрожишь. Я поднимаю глаза, озираюсь. Везде скорбь, все одето в траур. Я чувствую себя одиноким, я затерян в мире, разрушенном войной.

Вдруг небо стремительно озаряется: взлетела ракета; места, среди которых я затерян, выступают и определяются. Показывается разодранный, взлохмаченный край нашей траншеи; я замечаю тени часовых, приникших к передней стенке через каждые пять шагов, как вертикальные личинки. Их ружья поблескивают каплями света. Траншея укреплена мешками земли; обвалы повсюду ее расширили и кое-где обнажили. При звездном свете ракеты нагроможденные и разъехавшиеся мешки земли кажутся большими плитами древних разрушенных памятников. Я смотрю в отверстие бойницы. В туманном, белесом свете, оставшемся от метеора, я различаю ряды кольев и даже тонкие перекрещенные линии проволочных заграждений. Как будто кто-то

исчеркал изрытое мертвое поле. Ниже, в ночном океане,— тишина и неподвижность.

Я спускаюсь с моего наблюдательного пункта и направляюсь наугад к соседу. Я протягиваю руку и касаюсь его.

— Это ты? — вполголоса говорю я, не узнавая его.

— Да,— отвечает он, тоже не зная, кто я, слепой, как и я.

— Сейчас спокойно,— прибавляет он.— А недавно я думал, они пойдут в атаку; они, может быть, попробовали справа,— метнули кучу гранат. Наши семидесятипятимиллиметровки открыли заградительный огонь бац! бац!.. Ну, брат, я решил: «Здорово они палят! Если боши повылезли, верно, досталось им на орехи». А-а, послушай, опять сыплются шарики! Слышишь?

Он откупоривает флягу, отпивает глоток и, обдавая меня запахом вина, вполголоса говорит:

— Эх! Ну и подлая война! Разве не лучше было б оставаться дома? Ну, в чем дело? Чего всполошился этот черт?

Недалеко от нас раздается выстрел; пуля чертит короткую, резкую, фосфоресцирующую линию. Там и сям, с нашей позиции, раздаются еще залпы; ночью ружейные выстрелы заразительны.

В густом тумане, нависшем над нами, как крыша, мы ощупью идем навести справки. Спотыкаясь, иногда сталкиваясь, мы подходим к какому-то стрелку и касаемся его.

— Что случилось?

Ему почудилось, что кто-то шевелится, а оказалось — никого. Мы с соседом возвращаемся по узкой дороге, затопленной жирной грязью, ступаем неуверенно, согнувшись, словно под тяжестью ноши.

В одной точке горизонта, потом в другой, везде уже гремят пушки; оглушительный рев смешивается с залпами ружейной перестрелки, то усиливающейся, то затихающей, и со взрывами гранат, более звонкими, чем треск «лебелей» и «маузеров», и приблизительно похожими на выстрелы обыкновенного ружья. Ветер усилился; он так резок, что приходится уйти за прикры-

тие; луну заслоняют проносящиеся полчища огромных туч.

Мы здесь вдвоем, совсем близко, так что касаемся друг друга плечом. Мы видим друг друга лишь на мгновение при отсвете пушечных залпов; мы стоим в темноте, а кругом в этом бесовском шабаше вспыхивают и потухают пожары.

— Проклятая жизнь! — говорит сосед.

Мы расходимся, встаем каждый у своей бойницы и впиваемся глазами в неподвижный мир.

Какая грозная, мрачная буря разразится сейчас?

В эту ночь она не разразилась. После долгих часов ожидания, при первом проблеске рассвета, наступило затишье.

Когда заря простерлась над нами, словно грозовой вечер, передо мной еще раз возникли, под черным, как сажа, покровом низких туч, какие-то крутые, печальные, грязные берега, усеянные обломками и отбросами,— края нашей траншеи.

При тусклом свете набитые землей мешки с выпуклыми лоснящимися боками кажутся лиловатыми, раздувшимися, как груды кишок, которыми бы завалили весь мир.

За мной, в стенке, обнаруживается углубление, и там куча распластанных, наваленных друг на друга предметов высится, словно поленья костра.

Стволы деревьев? Нет — трупы людей.

* * *

Над бороздами поднимается птичий гам, поля возрождаются, свет расцветает в каждой былинке. Я смотрю на лощину. Ниже развороченного поля, где земля вздыбилась и зияют воронки, за взъерошенным рядом кольев, все еще стынет озеро мрака, а перед противоположным склоном все еще высится стена ночи.

Я оборачиваюсь и разглядываю мертвецов; мало-помалу они выступают из тени, словно выставляя напоказ свои окостеневшие и замаранные тела. Их четверо. Это наши товарищи — Ламюз, Барк, Бике и маленький Эдор. Совсем рядом с нами они разлагаются, загоро-

див широкую, извилистую и вязкую борозду, которую живым зачем-то еще нужно оборонять.

Их положили сюда кое-как, они лежат один на другом. Верхний завернут в парусину. Головы других прикрыты платками, но по ночам, в темноте, и днем живые по неосторожности задевают мертвецов; платки падают, и приходится жить лицом к лицу с этими трупами, наваленными здесь, как поленья живого костра.

* * *

Они были убиты все вместе четыре ночи тому назад. Я помню эту ночь, как смутный сон. Мы были в разведке,— они, я, Мениль Андре и капрал Бертран. Нам было приказано обнаружить новый сторожевой пост немцев, о котором нам сообщили артиллерийские наблюдатели. К двенадцати часам ночи мы вылезли из траншеи, поползли вниз, цепью, в трех-четырех шагах один от другого, спустились в лощину и увидели простертую, как убитый зверь, насыпь немецкой части Международного хода. Убедившись, что здесь нет поста, мы с бесконечными предосторожностями поползли вверх; я смутно видел моего соседа справа и соседа слева: они были похожи на темные мешки, медленно скользили, колыхались по грязи, в темноте, подталкивая перед собою ружья, поблескивавшие, как иглы. Над нами свистели пули, но они нас не искали. Увидев насыпь нашей траншеи, мы остановились; один из нас вздохнул, другой что-то сказал, третий обернулся всем телом, и его штыковые ножны звякнули о камень. Сейчас же из Международного хода взвилась ракета. Мы припали к земле, застыли и стали ждать, пока не погаснет грозная звезда, которая заливала нас дневным светом, в двадцати пяти — тридцати метрах от нашей траншеи. Тогда пулемет, стоявший по ту сторону оврага, стал поливать место, где мы находились. В ту минуту, когда красная ракета летела, еще не вспыхнув полным светом, капралу Бертрану и мне посчастливилось найти воронку от снаряда; там валялись в грязи сломанные рогатки; мы оба прижались к стенке этой ямы, зарылись как можно глубже в грязь и спрятались за какой-то прогнивший деревянный остов.

Пулеметный огонь несколько раз проносился над нами. Мы слышали пронзительный свист, сухие удары пуль по земле и еще глухое хлопанье, сопровождаемое стонами, вскриками и постепенно затихающим хрипом. Нас с Бертраном чуть не задевал горизонтальный град пуль, которые в нескольких сантиметрах от нас плели сеть смерти и иногда царапали наши шинели; мы все больше приникали к земле, не смея ни приподняться, ни шевельнуться. Мы ждали. Наконец пулемет замолк, и наступила полная тишина. Через четверть часа мы оба вылезли из воронки, поползли и свалились, как мешки, у нашего сторожевого поста. Идти дальше было нельзя: в эту минуту уже сияла луна. Пришлось оставаться на дне траншеи до утра, потом до вечера. Пулеметы безостановочно поливали пулями ее края. В бойницу не видны были простертые тела: их скрывал скат; в поле зрения виднелось только нечто похожее на спину. Вечером мы прорыли ход, чтобы добраться до того места, где пали наши товарищи. Эту работу нельзя было проделать за одну ночь; на следующую ночь нас заменили солдаты-землекопы: мы выбились из сил и больше не могли бодрствовать.

Проснувшись, я увидел четыре трупа; до них солдаты добрались из-под низу, на равнине зацепили крючьями и втащили на веревках в подкоп. У каждого трупа было много ран; дыры от пуль чернели на расстоянии нескольких сантиметров одна от другой. Тела Меniля Андре не нашли. Его брат Жозеф безрассудно искал его повсюду; он вышел один на равнину, несмотря на перекрестный огонь пулеметов. Утром он притащился ползком, как улитка, над насыпью показалось его черное от грязи, неузнаваемое от горя лицо.

Мы втащили его в траншею; его щеки были исцарапаны о колючую проволоку, руки окровавлены, в складки одежды тяжелыми комьями набилась грязь; он весь пропах смертью. Он, как маньяк, повторял: «Его нигде нет!»

Он забился в угол, принялся чистить ружье, не слушая, что ему говорят, и только повторял: «Его нигде нет!»

С тех пор прошло четыре ночи, и я еще раз вижу, как эти тела выступают при свете зари, которая снова встала, чтоб омыть этот земной ад.

Застывший Барк кажется огромным. Его руки прижаты к бокам, грудь провалилась; вместо живота — углубление, похожее на лоханку. Голова приподнята кучей грязи; он словно смотрит поверх своих ног на людей, которые приходят слева; его лицо потемнело, запачкано липким пятном спадающих волос и сгустками запекшейся крови; глаза словно выкипели и залиты кровью. Эдор, наоборот, кажется совсем маленьким; у него белое-белое личико, как у Пьеро; оно выделяется кружком белой бумаги в темной груде серо-синих трупов, и от этого зрелища щемит сердце. Бретонец Бике, коренастый, квадратный, словно каменная плита, кажется, напрягся изо всех сил и старается приподнять туман; от этого страшного усилия искажено его лицо, на котором выступают скулы и выпуклый лоб; взъерошены жесткие, замаранные грязью волосы; разодран последним криком рот, широко открыты мутные, каменные глаза; хватаясь за пустоту, пальцы застыли в предсмертной судороге.

У Барка, у Бике пробит живот, у Эдора — шея. Перетаскивая эти трупы, саперы их еще больше изуродовали. Толстяк Ламюз истек кровью; его лицо опухло и сморщилось; глаза постепенно ввалились в орбиты, один больше другого. Его завернули в парусину; на месте шеи появилось черноватое пятно. Правое плечо изрешетили пули, и рука держится только на обрывках рукава и веревочках, которыми ее кое-как привязали. В первую ночь, когда его сюда положили, эта рука торчала из груды мертвецов, и желтые пальцы, судорожно сжимая комок земли, касались проходивших солдат. Рукав прикололи к шинели.

Туча смрада нависла над останками этих существ, с которыми мы так близко соприкасались, жили так дружно, так долго страдали вместе.

При виде их мы говорим: «Они умерли все четверо». Но они так обезображены, что нельзя действительно поверить: это они. И только отвернувшись от этих неподвижных чудовищ, мы чувствуем пустоту, создавшуюся среди нас и среди воспоминаний, разорванных этой утратой.

Здесь проходят солдаты из других рот или других полков. Ночью они, как и все мы, невольно цепляются за все, что попадается под руку, живое или мертвое,

но днем с отвращением отшатываются от этих трупов, наваленных друг на друга прямо в траншее. Иногда они сердятся:

— Оставили здесь покойников! О чем думает начальство?

— Безобразие!

Но прибавляют:

— Правда, отсюда их никак не убрать.

И пока могила этих трупов только тьма.

Рассвело. Напротив показался другой склон лощины. Там высота 119 — оголенный, облупленный, выскобленный холм, изрезанный ходами сообщения и параллельными окопами, где обнажены глина и мел. Там никто не шевелится, и кажется — наши снаряды, взрываясь, вскипают и разбиваются брызгами пены, как огромные волны, и гулко ударяются о большой разрушенный заброшенный мол.

Наша смена кончилась. Часовые, закутанные в мокрую парусину, исполосованные и облепленные грязью посиневшие от холода, вылезают из углублений, где они стояли, и уходят. У стрелковых ступенек и у бойниц занимает место второй взвод. А мы будем отдыхать до вечера.

Мы зеваем, слоняемся. Проходит один товарищ, потом другой. Снуют офицеры с перископами и призматическими биноклями. Мы узнаем друг друга; начинаем опять жить. Перекидываемся обычными словечками И не будь разрушенной траншеи, разбитых очертаний рва, где мы прячемся, и необходимости говорить вполголоса, можно было бы подумать, что мы находимся где-нибудь в окопах третьей линии. Однако нас всех одолевает усталость; лица пожелтели, от бессонных ночей веки красные, как будто мы долго плакали. За несколько дней мы сгорбились и постарели.

Один за другим солдаты из нашего отделения подходят к повороту траншеи. Они столпились в том месте, где почва совсем меловая; земля ощетинилась перерезанными корнями, и под ее корой обнажены пласты белого камня, которые лежали во мраке больше ста тысяч лет.

В этом расширенном проходе мы и собрались. На-

ши ряды поредели: не говоря уже о четырех товарищах, погибших в ту ночь, среди нас больше нет ни Потерло, убитого во время смены, ни Кадийяка, раненного в ногу осколком в тот же вечер. (Кажется, будто это было уже давно!) Нет Тирлуара и Тюлака, они эвакуированы: один заболел дизентерией, другой — воспалением легких, и дело принимает скверный оборот, как пишет Тюлак в открытках, которые от скуки посылает нам из лазарета.

Я еще раз вижу, как подходят и собираются испачканные землей, закопченные пороховым дымом люди; мне хорошо знакомы их лица и позы; ведь мы не разлучались с начала войны и братски привязаны друг к другу. Но теперь у этих пещерных людей меньше различий в одежде...

Дядюшка Блер щеголяет ослепительными зубами; на всем его жалком лице видишь только эту нарядную челюсть. Он мало-помалу привыкает к этим чужим зубам и пользуется ими для еды; благодаря им изменился его характер и поведение; он больше не черный от грязи и только чуть-чуть неряшлив. Похорошев, он хочет быть изящным. В эту минуту он мрачен, может быть потому (о чудо!), что нельзя умыться. Забившись в угол, он щурит тусклые глаза, жует усы (усы старого вояки, когда-то единственное украшение его лица) и время от времени выплевывает волосок.

Фуйяд простудился, он дрожит от холода или позевывает, подавленный, словно общипанный. Мартро не изменился: по-прежнему бородатый, голубоглазый, такой коротконогий, что всегда кажется: его штаны вот-вот вылезут из-под пояса и свалятся. Кокон — все тот же Кокон с пергаментным лицом; в его голове по-прежнему роятся цифры; но уже с неделю на нем расплодились вши; они выползают на его шею и кисти рук; он уединяется, долго сражается с ними и возвращается к нам сердитый. У Паради почти такой же, как и раньше, хороший цвет лица и хорошее настроение; он не меняется, ему нет сносу. Когда он появляется вдали, на фоне мешков с землей, как новенькая яркая афиша, все улыбаются. Нисколько не изменился и Пепен; он ходит с той же красно-белой клеенчатой шахматной доской на спине; у него лицо острое, как лезвие ножа, глаза зеленовато-серые, холодные, как отблеск стали; ни в чем

не изменились ни Вольпат (у него по-прежнему на ногах короткие гетры, на плечах одеяло; его аннамитское лицо татуировано грязью), ни Тирет (однако с некоторого времени, по какой-то таинственной причине, он возбужден: в его глазах появились кровяные жилки). Фарфаде держится в сторонке; он задумчив, чего-то ждет. В часы раздачи писем он словно пробуждается, но потом опять уходит в себя. Своей тонкой чиновничьей рукой он старательно пишет множество открыток. Он не знает о смерти Эдокси. Ламюз никому, кроме меня, не говорил о последней страшной встрече с этой женщиной. По-видимому, Ламюз жалел, что рассказал мне об этом, и до самой смерти упорно и стыдливо скрывал от других свою тайну. Вот почему Фарфаде по-прежнему живет мечтой об этой златоволосой женщине и разлучается с ней ненадолго, только когда обменивается с нами редкими словами. А капрал Бертран все такой же сосредоточенный и молчаливый; он всегда готов спокойно улыбнуться нам, дать на наши вопросы ясные ответы, помочь каждому, кто об этом попросит.

Мы беседуем, как раньше, как недавно. Но приходится говорить вполголоса; мы говорим меньше, спокойней и печальней.

* * *

Небывалый случай: за последние три месяца смена каждой боевой единицы в окопах первой линии происходила через четыре дня, но здесь мы уже пять дней, а о смене еще и не поговаривают. Ходят слухи о предстоящей атаке; известия приносят связисты или нестроевые, которые через ночь — нерегулярно — доставляют нам продовольствие. Кроме этих слухов, имеются еще другие признаки: отпуска отменены, письма не приходят, офицеры явно изменились: они озабочены и стараются сблизиться с нами. Но когда с ними заговаривают на эту тему, они пожимают плечами: ведь солдата никогда не предупреждают, что собираются с ним сделать; ему завязывают глаза и повязку снимают лишь в последнюю минуту. Мы только повторяем:

— Поживем — увидим!

— Остается только ждать!

Мы предчувствуем трагическое событие, но как будто равнодушны к нему. Потому ли, что мы не можем понять весь его смысл, или больше не надеемся разобраться в недоступных нам решениях, или беспечно примирились, или верим, что и на этот раз избежим опасности? Как бы то ни было, вопреки признакам и пророчествам, которые, по-видимому, уже сбываются, мы бессознательно погружаемся в неотложные заботы: нас мучают голод, жажда; уничтожая вшей, мы окровавили ногти, нас одолевает страшная усталость.

— Видал сегодня Жозефа? — говорит Вольпат.— Бедный парень! Он недолго протянет.

— Он что-нибудь да выкинет. Верно говорю. Парень погибнет, понимаешь? При первом удобном случае сам бросится под пулю. Вот увидишь!

— Да и есть от чего рехнуться! Знаешь, их было шестеро братьев. Четверых ухлопали: двоих в Эльзасе, одного в Шампани, одного в Аргоннах. Если Андре убит,— это пятый.

— Если б он был убит, его тело нашли бы, увидели с наблюдательного пункта. Нечего ломать себе голову. По мне, в ту ночь, когда они пошли на разведку, он на обратном пути заблудился. Пополз в сторону — бедняга! — и попал в плен к бошам.

— Может, напоролся на их проволочные заграждения и его убило током.

— Говорят тебе, его бы нашли, если б он был убит, ведь боши не стали б его хоронить. Словом, его искали повсюду. Раз не нашли, значит (ранен или не ранен), он попал в лапы к бошам.

С этим столь логическим предположением соглашаются все и, решив, что Андре Мениль попал в плен, им больше не интересуются. Но его брат по-прежнему вызывает жалость:

— Бедняга, он такой молодой!

И солдаты нашего взвода украдкой сочувственно посматривают на него.

— Жрать хочется! — вдруг заявляет Кокон.

Давно пора есть; все требуют обед. Впрочем, он уже здесь: это остатки вчерашнего.

— И о чем думает капрал? Хочет нас уморить? А-а, вот он! Ну, погоди, я ему сейчас задам! Эй, капрал, чем ты так занят? Почему не даешь нам жрать?

— Да, да, жрать! — хором повторяют вечно голодные солдаты.

— Сейчас приду,— говорит озабоченный Бертран; он ни днем, ни ночью не знает покоя.

— В чем дело? — вдруг восклицает Пепен.— Надоели мне эти сопливые макароны! Да я в два счета открою коробку мясных консервов!

Драма забыта; начинается ежедневная комедия с едой.

— Не трогайте запасов! — говорит Бертран.— Я вернусь от капитана и сейчас же дам вам поесть.

Скоро он возвращается, приносит и раздает пищу; мы едим салат из картошки с луком, жуем, уплетаем, и наши лица проясняются.

Паради надел к обеду суконную шапку полицейского образца. Это не соответствует ни времени, ни месту, но шапка совсем новая; портной, который обещал сделать ее уже три месяца назад, сдал ее Паради только в тот день, когда нас послали на передовые позиции. Эта «лодочка» из ярко-голубого сукна, надетая на круглую башку Паради, придает ему вид картонного румяного жандарма. Он ест и пристально на меня смотрит. Я подхожу к нему.

— Тебе эта шапка к лицу.

— Все равно! — отвечает он.— Я хочу с тобой поговорить. Пойдем!

Он протягивает руку к фляге, стоящей перед его котелком, и после некоторого колебания решает поместить вино в надежное место — в глотку, а флягу — в карман. Он встает, уходит.

Я иду за ним. По дороге он прихватывает каску, которая валяется на земляной ступеньке. Пройдя шагов десять, он останавливается, смотрит себе под ноги, как в те минуты, когда он взволнован, и тихонько говорит:

— Я знаю, где Мениль Андре. Хочешь на него поглядеть? Иди сюда!

Он снимает полицейскую шапку, складывает ее, сует в карман, надевает каску. Идет дальше. Я молча следую за ним.

Мы проходим метров пятьдесят до нашей общей зем-

лянки и перекрытия из мешков; проползая под ним, мы всегда опасаемся, что эта грязная арка вот-вот обрушится и переломает нам ребра. За перекрытием, в стенке траншеи — углубление и ступенька, сделанная из плетня, облепленного глиной. Паради влезает на нее и знаком зовет меня на эту узкую скользкую площадку. Когда-то здесь была бойница для часового; она разрушена; ее проделали ниже и снабдили двумя щитами. Приходится согнуться, чтобы не высовывалась голова.

Все еще шепотом Паради говорит:

— Это я приделал два щита: я кое-что задумал, мне хотелось посмотреть. Погляди в эту дырку!

— Я ничего не вижу. Что-то ее заслоняет. Что это там за тряпье?

— Это *он,*— отвечает Паради.

Да, это был труп, труп человека, сидящего в яме, ужасающе близко от нас.

Я прижался лицом к стальной пластинке, приник глазом к дыре и увидел труп целиком. Он сидел совсем близко; голова свесилась вниз; руки лежали на коленях, пальцы скрючились. Его можно было узнать, хотя глаза помутнели и выкатились из орбит, хотя облепленная грязью борода затвердела, рот перекосился и виден был оскал зубов. Казалось, мертвец гримасничает и улыбается своему ружью, стоящему перед ним в грязи. Его руки были вытянуты, совсем посинели сверху и побагровели снизу от влажного отсвета ада.

Это был он, Андре Мениль, вымоченный дождем, облепленный грязью, замаранный, страшно бледный; уже четыре дня он сидел совсем рядом с нашей насыпью, в воронке от снаряда.

Между этим мертвецом, покинутым в своем сверхчеловеческом одиночестве, и живыми людьми, населявшими землянку, была только тонкая стенка из земли; я заметил, что место, куда я кладу голову, приходится как раз против ямы, где втиснуто это страшное тело.

Я отхожу от глазка.

Мы с Паради переглядываемся.

— Не надо пока говорить Жозефу,— шепчет он.

— Конечно, нет. Но сейчас...

— Я сказал капитану: «Надо бы у мертвого вынуть из кармана документы!» Капитан тоже сказал: «Не говорите пока брату!»

Пронеслось легкое дуновение ветра.

— Пахнет!

— Еще бы!

Мы потягиваем носом; запах входит в наше сознание, вызывает тошноту.

— Значит,— говорит Паради,— из всех шести братьев остался один Жозеф. Вот что я тебе скажу: мне сдается, что и он не жилец на этом свете, недолго протянет. Этот парень не будет себя беречь, сам постарается, чтоб его укокошили. Хорошо, если ему с неба свалится удачная рана, а не то он пропал. Шесть братьев — это уж слишком! Правда?

Он прибавляет:

— Прямо диву даешься, что он так близко от нас!

— Его рука лежит как раз против того места, куда я кладу голову.

— Да,— говорит Паради,— правая рука, а на ней часы.

Часы!.. Я припоминаю... Мне почудилось? Приснилось? Мне кажется, да, теперь я почти уверен, что три дня назад, в ту ночь, когда мы так устали, я перед сном слышал что-то вроде тиканья часов и даже подумал: где они тикают?

— Да, может, его часы ты и слышал сквозь стенку,— говорит Паради, которому я это рассказываю.— Часы идут себе, даже когда человек остановился навсегда. Чего там, этой штуке до нас нет дела; она спокойно переживает человека и работает, сколько ей полагается.

Я спросил:

— У него кровь на руках; а куда он ранен?

— Не знаю. Наверно, в живот; мне показалось, у него там кровь. Или в голову? Ты не заметил пятнышка на щеке?

Я припоминаю зеленоватое обезображенное лицо мертвеца.

— Да, правда, у него что-то на щеке, вот здесь. Да, может быть, пуля попала сюда.

— Тише! — вдруг перебивает меня Паради.— Вот он! Не надо было здесь оставаться.

Но все-таки мы не уходим, мы стоим в нерешительности, а прямо к нам идет Жозеф Мениль. Он никогда еще не казался нам таким слабым. Уже издали видно,

как он бледен, осунулся, сгорбился; он идет медленно, усталый, измученный неотвязной мыслью.

— Что у вас на лице? — спрашивает он меня.

Он видел, как я показывал Паради, куда попала пуля.

Я притворяюсь, что не понимаю, и отвечаю уклончиво.

— А-а! — рассеянно произносит он.

В эту минуту я с волнением вспоминаю... Трупный запах! Он чувствуется; ошибиться нельзя: там труп; может быть, Жозеф поймет...

Мне кажется, что он вдруг почувствовал жалкий призыв мертвеца.

Но Жозеф молчит, одиноко идет дальше, исчезает за поворотом.

— Вчера,— говорит мне Паради,— он пришел сюда с миской, полной рису; он больше не хотел есть. Как нарочно (вот балда!) остановился здесь и — хлоп!.. Хочет выбросить остатки рису за насыпь, как раз туда, где сидит мертвый брат. Ну, этого я уж не выдержал: как схвачу его за рукав в ту минуту, когда он швырнул рис... И рис вывалился в траншею. Жозеф как обернется ко мне, весь красный, разозлился, как крикнет: «Ты это что? Да ты, часом, не рехнулся?» Я стою дурак дураком, что-то пробормотал,— кажется, что я сделал это нечаянно. Он пожал плечами и посмотрел на меня, как задорный петушок. И пошел дальше. Пробурчал что-то и сказал Монтрелю: «Видал? Бывают же такие олухи!» Знаешь, паренек ведь горячий! Как я ни повторял: «Ну, ладно, ладно!» — он все ворчал; да и я не был рад, понимаешь: ведь я как будто вышел виноватым, а на деле был прав.

Мы молча уходим.

Мы возвращаемся в землянку, где собрались остальные. Это бывший офицерский блиндаж; поэтому здесь просторно.

Мы входим; Паради прислушивается.

— Наши батареи уже час как нажаривают, правда?

Я понимаю, что он хочет сказать, и неопределенно отвечаю:

— Увидим, старина, увидим!..

В землянке, перед тремя слушателями, Тирет рассказывает казарменные истории. В углу храпит Мартро;

он лежит у входа, и приходится переступать через его короткие ноги, как будто вобранные в туловище. Вокруг сложенного одеяла на коленях стоят солдаты; они играют в «манилью».

— Мне сдавать!

— Сорок, сорок два! Сорок восемь! Сорок девять! Ладно!

— Везет же этому голубчику! Прямо не верится! Видно, наставила тебе жена рога! Не хочу больше играть с тобой. Ты меня сегодня грабишь и вчера тоже обобрал!

— А ты почему не сбросил лишние карты? Растяпа!

— У меня был только король, король и ни одной карты той же масти.

— У него был туз.

— Да ведь это редко бывает, слюнтяй!

— Ну и ну! — закусывая, бормочет кто-то в углу. Этот камамбер стоит двадцать пять су, а какая пакость: сверху вонючая замазка, а внутри сухая известка!

Между тем Тирет рассказывает, сколько обид ему пришлось вынести за три недели учебного сбора от батальонного командира.

— Этот жирный боров был подлейшей сволочью на земле. Всем нам круто приходилось, когда мы попадались ему на глаза в канцелярии; сидит, бывало, развалясь на стуле, а стула под ним и не видно: толстенное брюхо, большущее кепи, сверху донизу обшитое галунами, как бочка — обручами. Ох, и лют он был с нашим братом — солдатом. Его фамилия Леб: одно слово — бош!

— Да я его знаю! — воскликнул Паради.— Когда началась война, его, конечно, признали негодным к действительной службе. Пока я проходил учебный сбор, он уже успел окопаться и на каждом шагу ловил нашего брата: за незастегнутую пуговицу — сутки ареста, да еще начнет тебя отчитывать перед всем народом, если на тебе хоть что-нибудь надето не по уставу. Все смеются; он думает — над тобой, а ты знаешь — над ним, но от этого тебе не легче. На гауптвахту, и все тут!

— У него была жена,— продолжал Тирет.— Старуха...

— Я ее тоже помню,— воскликнул Паради,— ну и стерва!

— Бывает, люди водят за собой шавку, а он повсюду таскал за собой эту гадину; она была желтая, как шафран, тощая, как драная кошка, и рожа злющая Это она и натравливала старого хрыча на нас; без нее он был скорей глупый, чем злой, а как только она приходила, он становился хуже зверя. Ну и попадало ж нам!..

Вдруг Мартро, спавший у входа, со стоном просыпается. Он приподнимается, садится на солому, как заключенный; на стене шевелится его бородатая тень. В полутьме он вращает круглыми глазами. Он еще не совсем проснулся.

Наконец он проводит рукой по глазам и, словно это имеет отношение к его сну, вспоминает ночь, когда нас отправляли в окопы; осипшим голосом он говорит:

— Вот кавардак подняли в ту ночь! Что за ночь! Все эти отряды, роты, целые полки орали, и пели, и шли в гору! Было не очень темно. Глядишь: идут, идут солдаты, поднимаются, поднимаются, как вода в море, и размахивают руками, а кругом артиллерийские обозы и санитарные автомобили! Никогда еще я не видел столько обозов ночью, никогда!..

Он ударяет себя кулаком в грудь, усаживается поудобнее и умолкает.

Выражая общую неотвязную мысль, Блер восклицает:

— Четыре часа! Теперь уж слишком поздно: сегодня наши уже ничего не затеют!

В углу один игрок орет на другого.

— Ну, в чем дело? Играешь или нет, образина?

А Тирет продолжает рассказывать о майоре:

— Раз дали нам на обед суп из тухлого сала. Мерзотина! Тогда какой-то солдатик захотел поговорить с капитаном; подносит ему миску к носу...

— Сапог! — сердито кричит кто-то из другого угла.— Почему ж ты не пошел с козыря?..

— «Тьфу! — говорит капитан.— Убрать это от меня! Действительно, смердит».

— Да ведь не мой ход был,— недовольно возражает кто-то дрожащим, неуверенным голосом.

— И вот, значит, капитан докладывает батальонному. Приходит батальонный, размахивает рапортом и орет: «Где этот суп, из-за которого подняли бунт? При-

нести мне его! Я попробую!» Ему приносят суп в чистой миске. Он нюхает. «Ну и что ж? Пахнет великолепно. Где вам еще дадут такого прекрасного супу?..»

— Не твой ход?! Ведь он сдавал. Сапог! Беда с тобой, да и только!

— И вот в пять часов выходим из казармы, а эти два чучела, батальонный с женой, останавливаются прямо перед солдатами и стараются выискать какие-нибудь непорядки в нашей амуниции. Батальонный кричит «А-а, голубчики, вы хотели надо мной посмеяться и пожаловались на отличный суп, а я съел его с удовольствием, пальчики облизывал, и майорша тоже. Погодите, я уж с вами расправлюсь... Эй, вы, там, длинноволосый Артист! Пожалуйте-ка сюда!» И пока эта скотина нас распекала, его кляча стояла, точно аршин проглотила, тощая, длинная, как жердь, и кивала головой: да, да.

— ...Как сказать: ведь у него не было короля пик, это дело особое...

— Вдруг она побелела, как полотно, схватилась за пузо, вся затряслась, уронила зонтик и вдруг среди площади, при всем народе, как начнет блевать!

— Эй, тише! — внезапно кричит Паради.— В траншее что-то кричат. Слышите? Как будто: «Тревога!»

— Тревога? Да ты рехнулся?

Не успели это сказать, как в низком отверстии, у входа, показалась тень и крикнула:

— Двадцать вторая рота! В ружье!

Молчание. Потом несколько возгласов.

— Я так и знал,— сквозь зубы бормочет Паради и на коленях ползет к отверстию норы, где мы лежали.

Разговоры прекращаются. Мы онемели. Быстро приподнимаемся. Шевелимся, согнувшись или стоя на коленях; застегиваем пояса; тени рук мечутся во все стороны; мы суем вещи в карманы. И выходим все вместе, волоча за ремни ранцы, одеяла, сумки.

На воздухе нас оглушает шум. Трескотня перестрелки усилилась; она раздается слева, справа, впереди. Наши батареи безостановочно гремят.

— Как ты думаешь, они наступают? — нерешительно спрашивает кто-то.

— А я почем знаю! — раздраженно отвечает другой.

Мы стиснули зубы. Все хранят про себя свои догадки. Спешат, торопятся, сталкиваются, ворчат, но ничего не говорят.

Раздается команда:

— Ранцы надеть!

— Приказ отменяется!..— вдруг кричит офицер и со всех ног бежит по траншее, расталкивая солдат локтями

Конец этой фразы не слышен.

Отмена приказа! По всем рядам пробегает трепет, у всех сердце сжалось, все поднимают голову, все замирают в тоскливом ожидании.

Но нет: отменяется только распоряжение касательно ранцев. Ранцев не брать; скатать одеяло и привесить к поясу лопату!

Мы отвязываем, выдергиваем, скатываем одеяла По-прежнему молчим; каждый пристально смотрит, крепко сжимает губы.

Капралы и сержанты лихорадочно снуют взад и вперед, подгоняя торопящихся солдат.

— Ну, живей! Ну, ну, чего возитесь? Говорят вам, живей!

Отряд солдат с изображением скрещенных топориков на рукаве пробивает себе дорогу и быстро роет выемки в стене траншеи. Заканчивая приготовления, мы искоса поглядываем на них.

— Что они роют?

— Лестницу.

Мы готовы. Солдаты строятся все так же молча; они стоят со скатанными через плечо одеялами, подтянув ремешки касок, опираясь на ружья. Я вглядываюсь в их напряженные, побледневшие, осунувшиеся лица

Это не солдаты; это люди. Не искатели приключений, не воины, созданные для резни, не мясники, не скот. Это земледельцы или рабочие, их узнаёшь даже в форменной одежде. Это штатские, оторванные от своего дела. Они готовы. Они ждут сигнала смерти и убийства; но, вглядываясь в их лица, между вертикальными полосами штыков, видишь, что это простые люди.

Каждый из них знает, что, прежде чем встретить солдат, одетых по-другому, он должен будет сейчас подставить голову, грудь, живот, все свое беззащитное тело под пули наведенных на него ружей, под снаряды, гра-

наты и, главное, под планомерно действующий, стреляющий почти без промаха пулемет, под все орудия, которые теперь притаились и грозно молчат. Эти люди не беззаботны, не равнодушны к своей жизни, как разбойники, не ослеплены гневом, как дикари. Вопреки пропаганде, которой их обрабатывают, они не возбуждены. Они выше слепых порывов. Они не опьянены ни физически, ни умственно. В полном сознании, в полном обладании силами и здоровьем, они собрались здесь, чтобы лишний раз совершить безрассудный поступок, навязанный им безумием человеческого рода. Все их раздумье, страх и прощание с жизнью чувствуются в этой тишине, в неподвижности, в маске сверхчеловеческого спокойствия, прикрывающей их лица. Это не тот род героев, которых себе представляешь; но люди, не видевшие их, никогда не смогут понять значения их жертвы.

Они ждут. Минуты ожидания кажутся вечностью. Время от времени то один, то другой в ряду чуть вздрагивает, когда пуля, задев переднюю насыпь, впивается в рыхлую землю задней насыпи.

Меркнущий день озаряет мрачным светом эту могучую нетронутую толпу живых, из которых только часть доживет до ночи. Идет дождь: воспоминание о дожде примешивается к моим воспоминаниям о всех трагедиях этой войны. Надвигается вечер; он готовится расставить этим людям большую, как мир, западню.

* * *

Из уст в уста передаются новые приказы. Нам раздают гранаты с железными кольцами. «Каждому взять по две гранаты!»

Проходит майор; он в походной форме, подтянут, держится проще. Он говорит:

— Добрые вести, ребята! Боши удирают! Вы будете молодцами, правда?

Известия вихрем облетают наши ряды:

— Впереди нас идут марокканцы и двадцать первая рота. Атака началась на правом фланге.

Капралов зовут к капитану. Они возвращаются с охапками металлических предметов. Бертран меня ощу-

пывает. Он что-то прицепил к пуговице моей шинели. Это кухонный нож.

— Гляди, что я тебе привесил на шинель! — говорит он. Он смотрит на меня, уходит, ищет других людей.

— А мне? — спрашивает Пепен.

— Нет,— отвечает Бертран.— Брать добровольцев для этого дела запрещено.

Мы ждем в глубинах дождевого пространства, сотрясаемого залпами, лишенного других границ, кроме линий свирепой канонады. Бертран роздал ножи и возвращается. Несколько солдат садятся на землю; некоторые позевывают.

Вот пробирается самокатчик Бийет; он держит на руке резиновый плащ офицера и явно отворачивается от нас.

— Ты что ж? Не идешь с нами? — кричит ему Кокон.

— Нет,— отвечает Бийет.— Я в семнадцатой роте, пятый батальон не идет в атаку.

— А-а! Везет этому пятому батальону. Он никогда так не работает, как мы!..

Бийет уже далеко; все смотрят ему вслед и недовольно хмурятся.

К Бертрану подбегает какой-то солдат и что-то шепчет. Бертран оборачивается к нам и говорит:

— Пошли! Наш черед!

Все вместе мы трогаемся в путь. Ставим ноги на ступеньки, вырытые саперами; локоть к локтю вылезаем из траншеи и взбираемся на бруствер.

* * *

Бертран стоит на скате. Он окидывает нас беглым взглядом. Мы все в сборе. Он командует:

— Вперед!

Голоса звучат странно. Мы выступили очень быстро, неожиданно. Все это, как сон. В воздухе не слышно свиста. Среди рева пушек явственно различаешь необычайное затишье в ружейной пальбе...

Мы, как автоматы, спускаемся по скользкому неровному скату, иногда опираясь на ружье с примкнутым штыком. Глаз невольно замечает какую-нибудь подробность: развороченные участки земли, редкие колья с

оборванной проволокой, обломки в ямах. Трудно поверить, что мы днем стоим на этом скате; несколько уцелевших солдат еще помнят, как они со всяческими предосторожностями проникали сюда в темноте, а другие только украдкой посматривали в эту сторону сквозь бойницы. Нет, нас не обстреливают. Целый батальон вышел из-под земли, и это, кажется, осталось незамеченным! Затишье таит все нарастающую угрозу. Бледный свет ослепляет нас.

Весь откос покрылся людьми; они спускаются одновременно с нами. Справа вырисовывается рота, которая направляется в овраг через ход 97, когда-то вырытый немцами и теперь почти разрушенный.

Мы выходим за наши проволочные заграждения. Нас еще не обстреливают. Неловкие солдаты спотыкаются, падают и поднимаются. По ту сторону заграждений мы перестраиваемся и спускаемся немного быстрей. Наше движение невольно ускоряется. Вдруг до нас долетает несколько пуль. Бертран велит приберечь гранаты, ждать до последней минуты.

Но звук его голоса заглушается: внезапно над нами, во всю ширину спуска, вспыхивают зловещие огни, раздирая и оглашая воздух страшными взрывами. По всей линии, слева направо, небо мечет снаряды, а земля — взрывы. Ужасающая завеса отделяет нас от мира, отделяет нас от прошлого, от будущего. Мы останавливаемся, как вкопанные, ошалев от внезапной грозы, разразившейся со всех сторон; в едином порыве вся наша толпа стремительно бросается вперед. Мы шатаемся хватаемся друг за друга среди высоких волн дыма. С грохотом проносятся циклоны обращенной в прах земли; в глубине, куда мы несемся все вместе, разверзаются кратеры, одни рядом с другими, одни в других. Мы больше не видим, куда попадают снаряды. Срываются с цепей такие чудовищные, оглушительные вихри, что мы чувствуем себя уничтоженными уже одним шумом этих громовых ливней, этих крупных звездообразных осколков, возникающих в воздухе. Видишь и чувствуешь, что эти осколки проносятся совсем близко над головой, шипят, как раскаленное железо в воде. Вдруг я роняю винтовку: дыхание взрыва обожгло мне руки. Я хватаю

ее, шатаясь, опустив голову, бегу дальше, в бурю, сверкающую рыжими молниями, в разрушительный поток лавы; меня подхлестывают фонтаны пыли и копоти. Пронзительный лязг и треск пролетающих осколков причиняют боль ушам, ударяют по затылку, пронзают виски, и невозможно удержаться от крика. От запаха серы переворачивается, сжимается сердце. Дыхание смерти нас толкает, приподнимает, раскачивает. Мы бросаемся вперед прыжками, не зная куда. Глаза мигают, слезятся, слепнут. Впереди пылающий обвал. Путь отрезан.

Это заградительный огонь. Надо пройти через огненный вихрь, сквозь эти страшные вертикальные тучи. Мы проходим. Мы прошли. Какие-то призраки кружатся, взлетают и падают, озаренные внезапными вспышками света. Я на миг различаю странные лица кричащих людей; эти крики видишь, но не слышишь. Какие-то огромные красные и черные громады падают вокруг меня, разворачивают землю, вырывают ее из-под моих ног и отбрасывают меня в сторону, как игрушку. Помню, как я перешагнул через какой-то труп; он горел, весь черный; пунцовая кровь потрескивала на огне, и, помню, рядом со мной полы чьей-то шинели запылали и оставили дымный след. Справа, вдоль всего хода 97, вспыхивали и теснились, как люди, вереницы страшных огней.

— Вперед!

Мы почти бежим. Люди падают; одни валятся всем телом, головой вперед, другие смиренно опускаются, словно садятся на землю. Мы отшатываемся, чтобы не наступить на мертвые тела, простертые или вздыбленные, и на раненых,— эта западня опасней: раненые бьются и цепляются за живых.

Международный ход!

Мы добежали. Длинные, вьющиеся стебли колючей проволоки вырваны с корнем, отброшены, спутаны, сметены бомбардировкой. Между этими железными кустарниками, мокрыми от дождя, земля разрыта и свободна.

Международный ход не защищен. Немцы его оставили, или первая волна атаки уже прошла здесь... Изнутри он ощетинился ружьями, поставленными вдоль насыпи. На дне валяются трупы. В канаве из кучи тел тор-

чат неподвижные руки в серых рукавах с красными кантами и ноги в сапогах. Кое-где насыпь снесена, деревянное крепление раздроблено: весь бок траншеи разбит, завален неописуемым мусором. В других местах зияют круглые колодцы. У меня особенно сохранилось воспоминание о траншее, одетой в странные лохмотья, покрытой разноцветными тряпками: для выделки мешков немцы использовали сукна, бумажные и шерстяные ткани с яркими разводами; все это награблено в каком-нибудь мебельном магазине. Эта пестрядь, эти изрезанные, изорванные лоскутья висят, болтаются, хлопают и пляшут на ветру.

Мы рассыпались по траншее. Лейтенант перепрыгнул на другую сторону, нагибается, зовет нас криками и знаками:

— Не задерживайтесь! Вперед! Дальше!

Мы карабкаемся по насыпи, хватаясь за ранцы, ружья, плечи. Дно оврага разворочено снарядами, завалено обломками, кишит лежащими телами. Одни неподвижны, как неодушевленные предметы, другие тихо шевелятся или судорожно дергаются. Заградительный огонь продолжает действовать адскими залпами позади нас, в том месте, которое мы уже прошли. Но там, где мы находимся, у подножия пригорка,— мертвая зона для неприятельской артиллерии.

Недолгое сомнительное затишье. Мы слышим немного лучше. Переглядываемся. Глаза лихорадочно блестят, к лицам прилила кровь. Все дышат с трудом; в груди колотится сердце.

Мы смутно узнаем друг друга, как будто встречаемся лицом к лицу где-то на далеких берегах смерти. В этом проблеске, среди кромешного ада, мы перекидываемся отрывистыми фразами:

— Это ты?

— Ну и достается нам!

— Где Кокон?

— Не знаю.

— Видел капитана?

— Нет...

— Ты жив?

— Да...

Лощина уже позади. Перед нами противоположный



склон. Мы взбираемся гуськом по лестнице, высеченной в земле.

— Осторожно!

Дойдя до середины лестницы, какой-то солдат, раненный осколком снаряда в бок, падает, как пловец, вытянув вперед руки; с головы свалилась каска. Черная тень ныряет куда-то в пропасть: я мельком замечаю, как над его черным профилем развеваются волосы.

Мы поднимаемся на верх склона.

Перед нами простирается бесцветный пустырь. Сначала мы видим только меловую каменистую изжелта-серую степь; ей нет конца. Впереди ни одной человеческой волны, ни одного живого человека, только мертвецы; свежие трупы как будто еще страдают или спят; старые останки размыты дождями или почти поглощены землей.

Наша цепь бросается вперед рывками, я чувствую, что рядом со мной два человека ранены, две тени брошены на землю; они падают нам под ноги, один — с пронзительным криком, другой — молча, как оглушенный ударом бык. Третий исчез, неистово взмахнув руками, словно его унес ветер. Мы бессознательно смыкаем ряды и пробиваемся вперед, все вперед; брешь заполняется сама собой. Унтер останавливается, поднимает саблю, роняет ее, опускается на колени, рывками откидывается назад; каска свалилась; он застывает, уставившись в небо. Наша цепь разрывается на бегу, чтобы не потревожить эту неподвижность.

Лейтенанта уже не видно. Начальства больше нет... Живая волна, бьющая в край плоскогорья, нерешительно останавливается. Среди топота ног слышно хриплое дыхание.

— Вперед! — кричит какой-то солдат.

И все еще стремительней бегут вперед, к бездне.

* * *

— Где Бертран? — жалобно стонет кто-то из бегущих впереди.

— Вот! Там!..

Бертран остановился, нагибается к раненому, но бы-

стро покидает его, а раненый протягивает к нему руки и, кажется, рыдает.

Как только он нас догоняет, из-за бугорка раздается трескотня пулемета. Это тревожная минута; она еще страшней той, когда мы шли сквозь землетрясение и заградительный огонь. Знакомый голос пулемета отчетливо и грозно обращается к нам. Но мы больше не останавливаемся.

— Дальше! Дальше!

Мы задыхаемся, хрипло стонем, но несемся дальше, к горизонту.

— Боши! Я их вижу! — кричит кто-то.

— Да... Из траншеи торчат головы... Эта линия — их траншея. Совсем близко. А-а, скоты!

Действительно, мы различаем серые бескозырки; они то поднимаются, то опускаются до уровня земли, в пятидесяти метрах за полосой изрытого чернозема.

Кучку людей, среди которой мчусь и я, что-то подбрасывает. Мы уже так близко; мы невредимы; неужели не дойдем? Нет, дойдем! Мы широко шагаем. Не слышно больше ничего. Каждый бросается вперед; каждого влечет этот страшный ров; все подхвачены единым порывом; никто не может повернуть голову ни вправо, ни влево. Чувствуется, что многие падают. Я отскакиваю вбок, чтоб увернуться от внезапно возникшего передо мной штыка, примкнутого к падающему ружью. Совсем близко от меня окровавленное лицо Фарфаде; он выпрямляется, толкает меня, бросается на Вольпата, бегущего рядом со мной, и хватается за него; Вольпат сгибается, не останавливаясь, волочит его несколько шагов, потом стряхивает его, отталкивает, не глядя, не зная, кто это, и прерывающимся голосом, задыхаясь, кричит:

— Пусти меня! Да пусти ты, черт!.. Тебя сейчас подберут... Не бойся!..

Фарфаде с размаху падает и поворачивается во все стороны лицом, покрытым какой-то пунцовой маской, лишенной всякого выражения, а Вольпат уже далеко; он бессознательно повторяет сквозь зубы: «Не бойся!» — и, не отрываясь, смотрит на линию немецких окопов.

Вокруг меня градом сыплются пули; все чаще солдаты внезапно останавливаются, медленно падают, бранятся, размахивают руками, падают, как подкошенные, кри-

чат, испускают глухие, бешеные, отчаянные вопли или страшный стон, которым мгновенно исходит вся жизнь. А мы, еще уцелевшие, смотрим вперед, бежим среди игр смерти, поражающей наугад живую плоть наших рядов.

Проволочные заграждения. Здесь есть нетронутая зона. Мы ее обходим. Дальше пробита широкая, глубокая брешь: это огромная воронка, составленная из множества воронок, баснословный кратер вулкана, вырытый снарядами.

Это зрелище ошеломляет. Кажется, что все это разрушение исходит из недр земли. При виде подобного разрыва пластов почвы мы еще яростней бросаемся вперед; некоторые мрачно покачивают головой и не могут удержаться, чтоб не закричать даже в такую минуту, когда слова с трудом вырываются из глотки:

— Вот так так! Ну и всыпали им! Вот так так!

Нас словно несет ветром; мы бежим то вверх, то вниз, поднимаемся на пригорки, спускаемся в низины, бежим сквозь эту непомерную брешь, образовавшуюся в земле, истоптанной, почерневшей, обожженной неистовым пламенем. Ноги прилипают к глине. Мы злобно их отдираем. Предметы снаряжения, лоскутья материи устилают рыхлую мокрую землю; белье вывалилось из разодранных сумок; поэтому мы не увязаем в грязи и стараемся ставить ногу на это тряпье, когда прыгаем в ямы или взбираемся на бугры.

Позади кричат, подгоняют нас:

— Вперед, ребята! Вперед, черт подери!

— За нами идет весь полк!

Мы не оборачиваемся, но наэлектризованные этим известием, наступаем еще уверенней.

За насыпью, к которой мы приближаемся, больше не видно бескозырок. Впереди валяются трупы немцев; они или навалены в кучи, или вытянуты в линию. Мы подходим. Насыпь четко вырисовывается во всем своем коварном обличии. Бойницы... Мы близко, невероятно близко от них...

Перед нами что-то падает. Граната. Ударом ноги капрал Бертран отбрасывает ее так ловко, что она взлетает и разрывается как раз над траншеей.



И после этой удачи наш взвод подходит к самому рву.

Пепен ползет по насыпи между трупов. Достигает края и исчезает в траншее. Он вошел первым. Фуийяд размахивает руками, кричит и прыгает в траншею почти одновременно с ним... Я мельком вижу ряд черных дьяволов: они нагибаются, спускаются с гребня насыпи в черную западню.

Прямо перед нами в упор раздается страшный залп; вдоль всего земляного вала вспыхивает цепь огней. Придя в себя, мы отряхиваемся и смеемся во все горло злорадным смехом: пули пролетели слишком высоко. И сейчас же, с криком и ревом, радуясь избавлению, мы скользим, катимся и живыми вваливаемся в брюхо траншеи.

* * *

Нас обволакивает непонятный дым. В этой душной бездне я вижу сначала только серо-голубые шинели. Мы идем то вправо, то влево, подталкиваем друг друга; рычим, ищем. Оборачиваемся; в руках у нас ножи, ружья, гранаты; сначала мы не знаем, что делать.

— Скоты! Они в укрытиях! — орут кругом.

Земля сотрясается от глухих взрывов: бой идет под землей, в укрытиях. Нас обволакивают чудовищные клубы густого дыма; мы больше ничего не видим. Мы барахтаемся, как утопающие, в едких волнах дыма. Мы наталкиваемся на какие-то рифы: это скорчились, скрючились люди; где-то в глубине они истекают кровью и кричат. Мы едва различаем стены, обложенные мешками с землей; белый холст разорван, как бумага. Иногда тяжелые испарения колышутся и редеют, и тогда опять видишь полчища нападающих. Словно вырванный из этой пыльной картины боя, на бруствере в тумане вырисовывается поединок; оба силуэта падают и погружаются во тьму. Я слышу несколько слабых возгласов: «Камрад!» Это кричат бледные, исхудалые солдаты в серых куртках; они загнаны в развороченный угол траншеи. Под чернильной тучей опять надвигается грозная человеческая лавина, она движется в том же направлении, вправо, движется с подскоками, завихрениями вдоль мрачной, разбитой траншеи.

* * *

И вдруг мы чувствуем: все кончено. Мы видим, слышим, понимаем, что наш поток, докатившись сюда, через все заграждения, не встретил равного потока и что враг отступил. Человеческая стена распалась перед нами. Тонкая завеса распылилась: немцы укрылись в норах, и мы их хватаем, словно крыс, или убиваем. Больше нет сопротивления: пустота, безмерная пустота. Мы идем вперед, как грозные ряды зрителей.

Вся траншея разрушена. Белые стены обвалились; траншея кажется вязким, разрыхленным руслом реки, иссякшей в каменистых берегах, а кое-где плоской, круглой впадиной высохшего озера; по краям, на откосе, на дне — ледяные груды трупов. И все это заливают новые волны наших прибывающих частей. Укрытия извергают дым; подземные взрывы сотрясают воздух. Я добираюсь до густой толпы людей, которые цепляются друг за друга и вертятся на утоптанной площадке. Когда мы приходим, битва кончается; вся груда людей рушится; я вижу: из-под нее вылезает Блер; его каска повисла на ремне и держится на шее; лицо исцарапано; он испускает дикий вопль. Я натыкаюсь на человека, который ухватился за что-то у входа в прикрытие. Остерегаясь черного, зияющего, предательского люка, он держится левой рукой за столб, а правой несколько секунд размахивает ручной гранатой. Сейчас она разорвется... Она исчезает в дыре. Взрыв!.. В недрах земли раздается страшное эхо: вопль погибающих людей. Человек хватает вторую гранату.

Другой солдат, подобрав с земли кирку, колотит ею и разбивает подпорки у входа в другое укрытие. Происходит обвал. Вход засыпан. Несколько фигур размахивают руками и утаптывают эту могилу.

Один, другой... Среди уцелевших людей, добравшихся до этой желанной траншеи под градом снарядов и пуль, я с трудом узнаю знакомые лица, как будто вся прежняя жизнь вдруг стала чем-то далеким. Люди потеряли свой облик. Все охвачены неистовством.

— Почему мы остановились? — восклицает один, скрежеща зубами.

— Почему мы не идем к следующей траншее? — в

бешенстве спрашивает меня другой.— Раз мы уж здесь, мы добежим туда в два счета!

— Я тоже хочу идти дальше!

— Я тоже! А-а, скоты!

Они трепещут, как знамена; они, как славой, гордятся своей удачей: ведь они выжили. Они неумолимы, упоены, опьянены самими собой.

Мы стоим, топчемся на завоеванном участке, на этой странной разрушенной дороге, которая извивается по равнине и ведет от неизвестного к неизвестному.

— Направо!

Мы идем дальше в определенном направлении. Наверно, это передвижение задумано где-то там, начальством. Мы ступаем по мягким телам; некоторые еще шевелятся, стонут и медленно перемещаются, истекая кровью. Трупы, наваленные вдоль и поперек, как балки, давят раненых, душат, отнимают у них жизнь. Чтобы пройти, я отталкиваю чье-то обезглавленное, растерзанное тело; из его шеи хлещет кровь.

Среди этого крушения, среди глыб обвалившейся или вздыбленной земли и грузных обломков, над кишащей на дне грудой раненых и мертвецов, сквозь движущиеся струи дыма, поднявшегося над траншеей и вокруг нее, видишь только воспаленные, потные, багровые лица и сверкающие глаза. Люди как будто пляшут, потрясая ножами. Они веселы, уверены в себе, свирепы.

Бой незаметно утихает. Какой-то солдат спрашивает:

— Ну, а теперь что делать?

Внезапно бой опять разгорается: метрах в двадцати отсюда, на равнине, у поворота серой насыпи, раздается треск ружейных выстрелов, мечущих искры вокруг невидимого пулемета, который прерывисто стрекочет и как будто отбивается.

Под крылом какого-то синевато-желтого сияния люди все тесней обступают машину, изрыгающую огонь. Я узнаю недалеко от себя силуэт Мениля Жозефа: он выпрямился, даже не старается укрыться, идет прямо туда, где прерывисто лает пулемет.

Между Жозефом и мной из траншеи раздается залп. Жозеф зашатался, нагибается и припадает на одно колено. Я подбегаю к нему; он говорит:

— Ничего... В бедро... Как-нибудь доползу.

Он становится благоразумным, послушным, как ребенок. Он тихонько ползет к оврагу.

Я еще точно представляю себе, откуда прилетела ранившая Жозефа пуля. Я пробираюсь слева, обходя опасное место.

Я встречаю только одного из наших. Это Паради.

— Ты?

Я смотрю на него.

Он молча смотрит на меня.

Нас толкают солдаты; они несут на плечах или под мышкой какие-то железные орудия, похожие на больших насекомых. Они загромождают проход и разделяют нас.

— Седьмая рота захватила пулемет! — кричат вокруг.— Он больше не будет кусаться! Скотина бешеная! Скотина!

— А теперь что делать?

— Ничего.

Мы остаемся здесь. Мы сбились в кучу. Садимся. Живые больше не задыхаются, умирающие больше не хрипят среди дыма, пламени и грохота пушек, доносившегося со всех сторон. Мы не знаем, где мы. Больше нет ни земли, ни неба; одна сплошная туча. В этой драме хаоса намечается первое затишье. Везде замедляются движения и шумы. Канонада ослабевает, и где-то уже далеко небо сотрясается, словно от кашля. Возбуждение улеглось; остается только бесконечная усталость. И опять начинается бесконечное ожидание.

* * *

Где же неприятель? Он везде оставил трупы; мы видели целые ряды пленных: вот там виднеется еще один ряд, скучный, неясный, серый под грязным небом. Основные силы врага, видимо, скрылись где-то вдали. До нас долетает несколько снарядов, но мы над ними смеемся. Мы спасены, спокойны, одни в этой пустыне, где бесчисленные трупы соприкасаются с линией живых.

Наступает ночь. Пыль улеглась. Над длинной канавой, набитой людьми, простерся мрак. Люди сходятся, садятся, встают, идут, держась или цепляясь друг за

друга. Они собираются между прикрытий, заваленных трупами, садятся на корточки.

Кое-кто положил ружье на землю и отдыхает на краю рва, устало опустив руки; вблизи видно, что лица почернели, обгорели, исполосованы грязью, что глаза воспалены. Все молчат, но поиски начинаются...

Мы замечаем силуэты санитаров; они ищут, нагибаются, идут дальше, по двое тащат тяжелую ношу. Справа слышатся удары кирки и лопаты.

Я брожу среди этой мрачной сутолоки.

В том месте, где снижается насыпь траншеи, разрушенная бомбардировкой, кто-то сидит. Еще не совсем стемнело. Спокойная поза этого человека, который на что-то задумчиво смотрит, удивительно скульптурна. Я нагибаюсь и узнаю: это капрал Бертран.

Он поворачивается ко мне; в сумерках я чувствую: он улыбается своей тихой улыбкой.

— Я как раз собирался пойти за тобой,— говорит он.— Мы организуем охрану траншеи, пока не получим известий о том, что сделали другие и что происходит впереди. Я поставлю тебя часовым, в паре с Паради, на сторожевой пост.

Мы смотрим на тени мертвецов и живых; на фоне серого неба трупы выделяются чернильными пятнами, сгорбленные, скрюченные в разных позах вдоль всего разрушенного бруствера. Странно видеть эти таинственные движения, в которых участвуют неподвижные мертвецы, среди полей, где уже два года гремят сражения и целые солдатские города бродят и стынут на огромных и бездонных кладбищах.

В нескольких шагах от нас проходят две тени; они беседуют вполголоса:

— Ну, я, конечно, не стал его слушать и так всадил ему в брюхо штык, что еле вытащил.

— Их было четверо в этой норе. Я крикнул, чтоб они вышли: они вылезали один за другим, я их тут же приканчивал. Кровь текла у меня по рукам до самых локтей. Даже рукава слиплись.

— Эх,— продолжал первый,— когда мы об этом будем рассказывать дома, собравшись у очага или вокруг свечи (если только вернемся), никто этому не поверит! Вот беда, правда?

— Ну, на это мне наплевать, только бы вернуться! — отвечает другой.— Скорей бы конец!

Бертран обычно говорит мало и никогда не говорит о самом себе, однако теперь он вспоминает:

— Мне пришлось иметь дело с тремя сразу. Я колол штыком, как сумасшедший. Да, все мы озверели, когда ввалились сюда!

Сдерживая волнение, он повышает голос и вдруг восклицает, как пророк:

— Будущее! Какими глазами потомство будет смотреть на наши подвиги, раз мы сами не знаем, сравнивать ли их с подвигами героев Плутарха и Корнеля или с подвигами апашей! И все-таки... посмотри! Есть человек, который возвысился над войной; в его мужестве бессмертная красота и величие...

Я опираюсь на палку и, склонившись, слушаю, впиваю в себя звучащие в тишине вечера слова этого обычно молчаливого человека. Бертран звонко кричит:

— Либкнехт!

Бертран встает, скрестив руки. Его голова опускается на грудь; прекрасное лицо величественно; он похож на мраморную статую. Но он еще раз прерывает молчание и повторяет:

— Будущее! Будущее! Дело будущего — стереть это настоящее, решительно уничтожить его, стереть, как нечто гнусное и позорное. И все-таки это настоящее было необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армиям, позор солдатскому ремеслу: оно превращает людей то в тупые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но эта правда еще не для нас. Запомни то, о чем мы сейчас говорим! Это станет правдой, когда будет записано среди других истин, которые постигнет человек. Мы еще блуждаем далеко от этих времен.

Он особенно звучно рассмеялся и задумчиво прибавил:

— Как-то раз, чтобы приободрить их и заставить идти вперед, я им сказал, что верю в пророчества.

Я сел рядом с Бертраном. Этот солдат всегда делал больше, чем полагалось по долгу службы, и все-таки уцелел; в эту минуту он являл мне образ людей, воплощающих высокое нравственное начало, имеющих силу преодолеть все случайное и в урагане событий стать выше своей эпохи.

— Я тоже так думал всегда,— пробормотал я.

— А-а! — воскликнул Бертран.

Мы переглянулись чуть удивленно и задумались. После долгого молчания Бертран сказал:

— Ну, пора за работу! Бери ружье, пойдем!

* * *

... С нашего сторожевого поста мы видим, как на востоке разгорается зарево, бледней и печальней пожара. Оно рассекает небо под длинной черной тучей, которая простирается, как дым огромного потухшего костра, как пятно на лике мира. Это опять наступает утро.

Так холодно, что невозможно оставаться неподвижным, несмотря на усталость, сковывающую тело. Дрожишь, трясешься, лязгаешь зубами. Глаза слезятся. Мало-помалу, невыносимо медленно в небе пробивается свет. Все леденеет, все бесцветно и пусто; всюду мертвая тишина. Иней, снег под тяжестью мглы. Все бело. Паради шевелится; он — белесый призрак; мы тоже совсем белые. Я положил сумку на земляной вал, и теперь она словно завернута в бумагу. На дне ямы плавают хлопья мокрого, изъеденного, серого снега, а под ним черная вода, как в грязной лохани. Снаружи выступы, выемки, груды мертвецов покрыты белой кисеей.

В тумане показываются две сгорбленные неуклюжие фигуры; они темнеют, приближаются, окликают нас. Это пришла смена. У солдат красно-бурые, влажные от холода лица; скулы, как глянцевые черепицы; но их шинели не обсыпаны снегом; эти люди спали под землей.

Паради вылезает из ямы. Я иду за ним по равнине; спина у него белая, как у Деда Мороза; походка — утиная; башмаки облеплены снегом; на них белые, словно войлочные, подошвы. Сгибаясь в три погибели, мы возвращаемся в окопы; на легкой белой пелене, покрывающей землю, чернеют следы сменивших нас солдат.

Над траншеей кое-где, в виде больших неправильных палаток, натянут на колья брезент, расшитый белым бархатом или испещренный инеем; там и сям стоят часовые. Между ними прикорнули тени; одни кряхтят, стараются укрыться от холода, уберечь от него убогий очаг — свою грудь; другие навсегда закоченели. Нава-

лившись грудью на бруствер, раскинув руки, чуть косо стоит мертвец. Смерть застигла его за работой; он убирал комья земли. Его лицо, обращенное к небу, покрыто ледяной корой, как проказой, веки и глаза — белые, на усах застыла пена. Кругом зловоние.

Спят еще другие люди, но не такие белые: слой снега не тронут только на неодушевленных предметах и на мертвецах.

— Надо поспать.

Мы с Паради ищем уголок, нору, где бы укрыться и сомкнуть глаза.

— Не беда, если там мертвяки,— бормочет Паради.— В такой холод они продержатся и не очень будут смердеть.

Мы идем дальше, мы так устали, что наши взгляды словно волочатся по земле.

Вдруг я вижу: рядом никого нет. Где Паради? Наверно, улегся в какую-нибудь яму. Может быть, он меня звал, а я не слышал.

Навстречу мне идет Мартро.

— Ищу, где бы поспать; я стоял на часах,— говорит он.

— Я тоже. Поищем вместе.

— А что это за кавардак? — спрашивает Мартро.

Из хода сообщения, совсем близко, раздается топот ног и гул голосов.

— Полным-полно солдат... Вы кто такие?

Какой-то парень отвечат:

— Мы — пятый батальон.

Прибывшие остановились. Они в полном снаряжении. Наш собеседник садится передохнуть на выпирающий из ряда мешок и кладет на землю гранаты. Он вытирает нос рукавом.

— Зачем вы сюда пришли? Вам сказали, зачем?

— Ясное дело, сказали. Мы идем в атаку. Туда, до конца.

Он кивает головой в сторону севера. Мы с любопытством разглядываем их, замечаем подробности и спрашиваем:

— Вы захватили с собой все барахло?

— Не пропадать же ему! Вот и тащим!

— Вперед! — раздается команда.

Они встают, идут дальше; у них сонные лица; глаза опухли; морщины углубились. Тут и юноши с тонкой шеей, с тусклым взглядом, и старики, и люди среднего возраста. Они идут обычным мирным шагом. То, что им предстоит совершить, кажется нам выше человеческих сил, хотя накануне мы сами уже совершили все это. Выше человеческих сил... А между тем эти солдаты идут на север.

— Смертники! — говорит Мартро.

Мы расступаемся перед ними с каким-то восхищением и ужасом.

Они прошли. Мартро качает головой и бормочет:

— Там, на другой стороне, тоже готовятся. Там люди в серых шинелях. Ты думаешь, они рвутся в бой? Да ты рехнулся! Тогда зачем же они пришли? Их пригнали, знаю, но все-таки и они кое в чем виноваты, раз они здесь... знаю, знаю, но все это странно.

Проходит какой-то солдат, и Мартро вдруг говорит:

— А-а, вот идет этот, как его, верзила, знаешь? Ну и громадина! Я-то ростом не вышел, сам знаю, но этого уж слишком вытянуло вверх. Каланча! А какой всезнайка! Его уж никто не переплюнет! Спросим его, где найти землянку.

— Есть ли укрытия? — переспрашивает великан, возвышаясь над Мартро, как тополь.— Еще бы. Сколько хочешь.— Он вытягивает руку, как семафор.— Гляди: вот «Вилла фон Гинденбург», а там «Вилла Счастье». Если будете недовольны, значит, вы очень уж привередливые господа. Правда, там на дне есть жильцы, но они не шумят, при них можно говорить громко!..

— Эх, черт! — восклицает Мартро через четверть часа после того, как мы устроились в одной из этих ям.— Здесь жильцы, о которых этот страшенный громоотвод не говорил.

Глаза Мартро слипаются и приоткрываются; он почесывает бока и руки.

— Спать хочется до черта! А уснуть не придется! Не выдержишь!

Мы начинаем зевать, вздыхать и наконец зажигаем маленький огарок; он мокрый и не хочет гореть, хотя мы

прикрываем его рукой. Мы зеваем и смотрим друг на друга.

В этом немецком убежище несколько отделений. Мы прислоняемся к перегородке из плохо прилаженных досок; за ней, в землянке № 2, люди тоже не спят: сквозь щели пробивается свет и слышатся голоса.

— Это ребята из другого взвода,— говорит Мартро.

Мы бессознательно прислушиваемся.

— Когда я был в отпуску,— гудит невидимый рассказчик,— мы сначала горевали: вспоминали моего беднягу брата, он в марте пропал без вести, наверно, убит, и нашего сынишку Жюльена, призыва пятнадцатого года (он был убит в октябрьском наступлении). А потом понемногу мы с женой опять почувствовали себя счастливыми. Что поделаешь? Уж больно нас забавлял наш малыш, последний, ему пять лет... Он хотел играть со мной в солдаты. Я ему смастерил ружьецо, объяснил устройство окопов, а он прыгал от радости, словно птенчик, стрелял в меня, кричал и смеялся. Молодчина мальчугашка! Ну и старался ж он! Из него выйдет отличный солдат. В нем, брат, настоящий воинский дух!

Молчание. Потом гул разговоров, и вдруг слышится слово: «Наполеон», потом другой солдат или тот же самый говорит:

— Вильгельм — вонючая тварь: ведь это он захотел воевать. А Наполеон — великий человек.

* * *

Мартро стоит недалеко от меня на коленях, на дне этой плохо закупоренной ямы, тускло освещенной огарком; сюда вдруг врывается ветер, здесь кишат вши; воздух, согретый дыханием живых, насыщен трупным запахом...

Мартро смотрит на меня; он, как и я, еще помнит слова неизвестного солдата, который сказал: «Вильгельм — вонючая тварь, а Наполеон — великий человек», и восхвалял воинский дух единственного оставшегося в семье ребенка.

Мартро опускает руки, качает головой, и от слабого света на стене появляется тень этих движений, резкая карикатура на них.

— Эх,— говорит мой скромный товарищ,— все мы неплохие люди, да еще и несчастные. Но мы слишком глупы, слишком глупы!

Он опять поворачивается ко мне. У него заросшее лицо, похожее на морду пуделя, и прекрасные, как у собаки, глаза, которые удивляются, о чем-то смутно размышляют и, в чистоте своего неведения, начинают что-то постигать.

Мы выходим из прикрытия. Немного потеплело; снег растаял, и все опять покрылось грязью.

— Ветер слизал сахар,— говорит Мартро.

* * *

Мне приказано отвести Жозефа Мениля на Пилонский перевязочный пункт. Сержант Анрио выдает мне эвакуационное свидетельство для раненого.

— Если встретите по дороге Бертрана,— говорит Анрио,— скажите ему, чтоб поторапливался. Он пошел сегодня ночью связным; его ждут уже час; ротному не терпится; он вот-вот рассвирепеет.

Я отправляюсь вместе с Жозефом; он еще бледней обычного; как всегда, молчит и медленно тащится. Время от времени он останавливается и морщится от боли. Мы идем по ходам сообщения.

Вдруг навстречу нам идет человек. Это Вольпат. Он говорит:

— Я пойду с вами до конца спуска.

Ему нечего делать; он помахивает великолепной витой палкой и щелкает, словно кастаньетами, драгоценными ножницами, с которыми никогда не расстается.

Пушки молчат. Там, где скат скрывает нас от пуль, мы все трое вылезаем из траншеи. Льет дождь. Выйдя, мы тотчас же натыкаемся на сборище солдат. У их ног, во мгле, на бурой равнине, лежит мертвец.

Вольпат юркает в толпу и протискивается к простертому телу, вокруг которого стоят эти люди. Вдруг он оборачивается к нам и кричит:

— Это Пепен!

— А-а! — говорит Жозеф, почти теряя сознание.

Он опирается о мою руку. Мы подходим. Пепен лежит, вытянувшись во весь рост; руки судорожно сжа-

ты; по щекам стекают струи дождя; лицо опухло и чудовищно посерело.

Здесь же стоит солдат с киркой в руках; он вспотел; у него черноватые морщинистые щеки; он рассказывает о смерти Пепена:

— Он вошел в укрытие, где спрятались боши. А мы этого не знали и стали прокуривать нору, чтоб очистить ее от немцев; мы проделали эту штуку и нашли беднягу мертвым; он вытянулся, как кошачья кишка, среди этой немчуры, которой он успел пустить кровь. Молодчина! Хорошо поработал! Могу это подтвердить: ведь я мясник из предместья Парижа.

— Одним парнем меньше в нашем взводе! — говорит Вольпат.

Мы идем дальше. Теперь мы — в верхней части оврага, там, где начинается плоскогорье; мы пробежали его во время атаки вчера вечером, а сегодня уже не узнаём.

Равнина казалась мне совсем плоской, а на самом деле она покатая. Это невиданная живодерня. Земля усеяна трупами, словно кладбище, где разрыты могилы.

Здесь бродят солдаты; они разыскивают тех, кто был убит накануне и ночью, ворошат останки, опознают их по какой-нибудь примете, а не по лицу. Один солдат, стоя на коленях, берет из рук мертвеца изодранную, стершуюся фотографию — убитый портрет.

К небу от взрывов снарядов поднимаются кольца черного дыма; они выделяются вдали, на горизонте; небо усеяно черными точками: это реют стаи воронов.

Внизу, среди множества неподвижных тел, бросаются в глаза зуавы, стрелки и солдаты Иностранного легиона, убитые во время майского наступления; их легко узнать: они разложились больше других. В мае наши линии доходили до Бертонвальского леса, в пяти-шести километрах отсюда. Началась одна из страшнейших атак за время этой войны и всех войн вообще; солдаты единым духом добежали сюда. Они составляли тогда клин, который слишком выдался вперед, и попали под перекрестный огонь пулеметов, стоявших справа и слева от пройденной линии. Вот уже несколько месяцев, как смерть выпила глаза и сожрала щеки убитых, но даже

по этим останкам, разбросанным, развеянным непогодой и почти превращенным в пепел, мы представляем себе, как их крошили пулеметы; бока и спины продырявлены, тела разрублены надвое. Валяются черные и восковые головы, похожие на головы египетских мумий, усеянные личинками и остатками насекомых; в зияющих черных ртах еще белеют зубы; жалкие потемневшие обрубки раскиданы, как обнаженные корни, и среди них — голые желтые черепа в красных фесках с серым чехлом, истрепавшимся, как папирус. Из кучи лохмотьев, слипшихся от красноватой грязи, торчат берцовые кости, а сквозь дыры в тканях, вымазанных чем-то вроде смолы, вылезают позвонки. Землю устилают ребра, похожие на прутья старой, сломанной клетки, а рядом — измаранные, изодранные ремни, простреленные и расплющенные фляги и котелки. Вокруг разрубленного ранца, лежащего на костях и на куче лоскутьев и предметов снаряжения, белеют ровные точки; если нагнуться, увидишь, что это суставы пальцев.

Всех этих непохороненных мертвецов в конце концов поглощает земля,— кое-где из-под бугорков торчит только кусок сукна: в этой точке земного шара уничтожено еще одно человеческое существо.

Немцы, которые еще вчера были здесь, оставили без погребения своих солдат рядом с нашими; об этом свидетельствуют три истлевших трупа; они лежат один на другом, один в другом; на голове у них серые фуражки, красный кант которых не виден под серым ремешком; куртки — желто-серые, лица — зеленые. Я рассматриваю одного из этих мертвецов; от шеи до прядей волос, прилипших к шапке, это — землистая каша; лицо превратилось в муравейник, а вместо глаз — два прогнивших плода. Другой — плоский, иссохший, лежит на животе; спина в лохмотьях; они почти развеваются по ветру; лицо, руки, ноги уже вросли в землю.

— Поглядите! Это свеженький!..

Среди равнины, под дождливым, холодеющим небом, на этом похмелье после оргии резни, воткнута в землю обескровленная, влажная голова с тяжелой бородой.

Это один из наших: рядом валяется каска. Из-под опухших век чуть виднеются застывшие, как будто фарфоровые белки глаз; в зарослях бороды губа блестит,

как улитка. Он, наверно, упал в воронку от снаряда, а ее засыпал другой снаряд и зарыл этого солдата по самую шею, как немца с кошачьей головой у «Красного кабачка».

— Я его не узнаю,— с трудом говорит Жозеф, медленно подходя.

— А я его знаю,— отвечает Вольпат.

— Этого бородача? — слабым голосом спрашивает Жозеф.

— Да у него нет бороды. Сейчас увидишь.

Вольпат садится на корточки, проводит палкой под подбородком трупа и отделяет от него ком грязи, которая служила этой голове оправой и казалась бородой. Он поднимает каску, надевает ее на голову мертвеца и прикладывает к его глазам вместо очков кольца своих знаменитых ножниц.

— А-а! — воскликнули мы.— Это Кокон!

— А-а!

Когда внезапно узнаешь о смерти кого-нибудь из тех, кто сражался рядом с вами и жил одной с вами жизнью, или когда видишь его труп, чувствуешь удар прямо в сердце, даже еще не понимая, что произошло. Поистине узнаешь почти о своем собственном уничтожении. И только поздней начинаешь сожалеть о выбывшем из строя товарище.

Мы смотрим на эту омерзительную голову, похожую на голову ярмарочной мишени; она так изуродована, что стирается всякое воспоминание о живом человеке. Еще одним товарищем меньше!.. Мы стоим вокруг него и ужасаемся.

— Это был...

Хочется что-то сказать. Но не находишь нужных, значительных, правдивых слов.

— Идем! — с усилием произносит Жозеф, страдая от острой физической боли.— У меня больше нет сил останавливаться.

Мы покидаем бедного Кокона, бывшего человека-цифру, бросив на него последний беглый, почти рассеянный взгляд.

— Трудно себе даже представить,— говорит Вольпат.

...Да, трудно себе даже представить. Все эти утраты не умещаются в голове.

* * *

— Погляди, этого ухлопали как будто давно, а...

На шее почти иссохшего тела зияет свежая рана.

— Это крыса...— говорит Вольпат.— Трупы старые, но их жрут крысы... Видишь дохлых крыс? Может быть, они отравились; вот их сколько вокруг каждого трупа. Да вот этот бедняга сейчас покажет нам своих крыс.

Он приподнимает ногой распластанные останки, и действительно мы видим под ними двух дохлых крыс.

— Мне хочется найти Фарфаде,— говорит Вольпат.— Я ему крикнул, чтоб он подождал минутку, помнишь, когда мы бежали и он за меня ухватился. Бедняга! Если б он только дождался!

Он ходит взад и вперед, его влечет к мертвецам какое-то странное любопытство. Они равнодушно отсылают его друг к другу; на каждом шагу он всматривается в землю. Вдруг он испускает отчаянный крик. Он машет нам рукой и становится на колени перед каким-то трупом.

— Бертран!

Мы чувствуем острую, щемящую боль. Значит, он тоже убит, а ведь он больше всех воздействовал на нас своей волей и ясностью мысли! Он пал, он пал, как всегда исполняя свой долг. Он нашел смерть на поле брани!

Мы глядим на него, отворачиваемся и смотрим друг на друга.

— А-а!..

Отвратительное зрелище! Смерть придала нелепо смешной вид человеку, который был так спокоен и прекрасен. Волосы растрепались и упали на глаза, усы мусолятся во рту, лицо распухло; мертвец смеется. Один глаз широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут. Руки раскинуты крестом, пальцы растопырены. Правая нога тянется в сторону; левая — вывихнутая, влажная, бескостная; она пробита осколком; это и вызвало кровотечение, от которого, наверно, умер Бертран. По иронии судьбы, он дергался в предсмертных судорогах, как паяц.

Мы его бережно выпрямляем и укладываем, мы возвращаем покой этой страшной маске. Вольпат вынимает

из кармана убитого бумажник, чтобы отнести в канцелярию, и благоговейно кладет среди своих бумаг, рядом с фотографией своей жены и детей.

— Да, брат, это был настоящий человек! Если он что говорил, ему можно было верить. Эх, как он был нам нужен!

— Да,— отвечаю я,— он всегда был бы нам нужен.

— Беда!..— бормочет Вольпат и дрожит.

Жозеф шепотом повторяет:

— Эх, черт подери, эх, черт подери!

По равнине снуют люди, как на городской площади. Идут отряды, посланные на работу, и солдаты-одиночки. Санитары терпеливо и старательно приступают к своей непосильной работе.

Вольпат уходит в траншею сообщить товарищам о наших новых утратах и особенно о великой потере: о смерти Бертрана. Он говорит Жозефу:

— Не будем терять друг друга из виду! Ладно? Время от времени пиши просто: «Все хорошо. Подпись: Камамбер». Ладно?

Он исчезает среди людей, снующих на этом пространстве, которым уже завладел унылый, бесконечный дождь.

Жозеф опирается на мою руку. Мы спускаемся в овраг.

Откос, по которому мы спускаемся, называется «Ячейки зуавов»... Здесь, во время майского наступления, зуавы начали рыть индивидуальные прикрытия, у которых их и перебили. Некоторые убиты на самом краю ямы и еще держат в истлевших руках кирку-лопату или смотрят на нее глубокими черными глазницами. Земля так переполнена мертвецами, что после обвалов обнаруживаются целые заросли ног, полуодетых скелетов, груды черепов, выстроившихся в ряд, как фарфоровые чаши.

Здесь, в недрах земли, лежит несколько пластов трупов; во многих местах снаряды вырыли самые старые из них и бросили на новые. Дно оврага сплошь устлано обломками оружия, клочьями белья, остатками утвари. Мы ступаем по осколкам снарядов, железной рухляди,

кускам хлеба и даже сухарям, выпавшим из ранца и еще не размытым дождями. Миски, коробки консервов, каски пробиты пулями и кажутся шумовками всевозможных видов, а уцелевшие вывернутые колья продырявлены.

В этой низине окопы похожи на сейсмические трещины, и кажется, что на развалины после землетрясения вывалились целые возы разных предметов. А там, где нет мертвецов, сама земля стала трупом.

У поворота извилистого рва мы пересекаем Международный ход, все еще усеянный разноцветными лохмотьями; беспорядочные кучи рваных тканей придают этой траншее вид убитого существа. Во всю длину, до земляной насыпи, навалены трупы немцев: они переплелись, они извиваются, как вереницы грешников в аду; некоторые высовываются из грязных ям, среди невообразимого нагромождения балок, веревок, проволоки, туров, плетней и щитов. На этой баррикаде виден труп; он воткнут стоймя в кучу других трупов; там же, но в зловещей пустоте, наклонно стоит другой; все вместе это кажется большим обломком колеса, увязшего в грязи, оторванным крылом мельницы, и среди всего этого разгрома, среди нечистот и разлагающихся тел валяются открытки, иконки, благочестивые книжонки, листки с молитвами, отпечатанными готическим шрифтом; все это выпало из разодранных карманов. Испещренные словами бумажки, казалось, украсили тысячами белых цветов обмана и бесплодия эти зачумленные берега, эту долину уничтожения.

Я ищу надежное место, чтобы провести Жозефа; он постепенно теряет способность двигаться; он чувствует, как боль распространяется по всему телу. Я его поддерживаю; он уже ни на что не смотрит, а я смотрю на это разрушение.

Прислонившись к расщепленным доскам разбитой караульной будки, сидит унтер. Под глазом у него маленькая дырка: удар штыка в лицо пригвоздил его к этим доскам. Перед ним сидит человек, упершись локтями в колени, подперев кулаками шею; у него снесена вся крышка черепа: это похоже на вскрытое яйцо всмятку. Рядом с ним, как чудовищный часовой, стоит полчеловека: человек расколот, рассечен надвое от черепа до таза, он прислонился к земляной стенке. Неизвестно, куда

делась вторая половина этого кола; глаз повис вверху; синеватые внутренности спиралью обвились вокруг единственной ноги.

Мы наступаем на согнутые, искривленные, скрюченные французские штыки, покрытые запекшейся кровью.

Сквозь брешь в насыпи виднеется дно; там стоят на коленях, словно умоляя о чем-то, трупы солдат прусской гвардии; у них в спинах пробиты кровавые дыры. Из груды этих трупов вытащили к краю тело огромного сенегальского стрелка; он окаменел в том положении, в каком его застигла смерть, скрючился, хочет опереться о пустоту, уцепиться за нее ногами и пристально смотрит на кисти своих рук, наверно, срезанных разорвавшейся гранатой, которую он держал; все его лицо шевелится, кишит червями, словно он их жует.

— Здесь,— говорит проходящий альпийский стрелок,— боши хотели проделать фортель: они выкинули белый флаг, но им пришлось иметь дело с «арапами», и этот номер не прошел!.. А-а, вот и белый флаг; им и воспользовались эти скоты!

Он подбирает с земли и встряхивает длинное древко; белый квадратный лоскут невинно развевается.

...По разбитому ходу идет процессия солдат; они несут лопаты. Им приказано засыпать окопы, чтобы тут же похоронить всех мертвецов. Так эти труженики в касках совершат дело правосудия: они вернут полям обычный вид, засыплют землей рвы, уже наполовину заваленные трупами захватчиков.

* * *

По ту сторону прохода меня окликают: там, прислонясь к колу, на земле сидит человек. Это дядюшка Рамюр. Из-под расстегнутой шинели и куртки на его груди видны повязки.

— Санитары меня перевязали,— говорит он глухим голосом,— но не смогут унести отсюда раньше вечера. Я знаю, что помру с минуты на минуту.

Он покачивает головой и просит:

— Побудь немного со мной!

Он взволнован. Из его глаз текут слезы. Он протя-

гивает мне руку и удерживает меня. Ему хочется многое сказать мне, почти исповедаться.

— До войны я был честным человеком,— говорит он, глотая слезы.— Я работал с утра до ночи, чтобы прокормить семью. И вот я пришел сюда убивать бошей... А теперь меня самого убили... Послушай, послушай, послушай, не уходи, послушай!..

— Мне надо отвести Жозефа; он еле стоит. Я вернусь.

Рамюр поднимает на Жозефа заплаканные глаза.

— Как? Он не только жив, но еще и ранен? Избавлен от смерти? А-а, везет же некоторым женам и детям! Ну, ладно, отведи его и приходи обратно!.. Может быть, я еще дождусь тебя...

Теперь надо взобраться на другой склон оврага. Мы проникаем в бесформенно изувеченное углубление старого хода 97.

Вдруг воздух раздирают остервенелые свистки. Над нами проносится шквал шрапнели... В недрах бурых туч она разрывается, проливаясь смертоносным дождем. Снаряды то и дело взвиваются в небо, разбиваются о склоны, разворачивают холмы и вырывают из них старые кости мира. Громовые вспышки множатся по всей линии фронта.

Опять начинается заградительный огонь.

Мы, как дети, кричим:

— Довольно! Довольно!

В этом неистовстве смертоносных машин, механического разрушения, преследующего нас повсюду, есть нечто сверхъестественное. Я держу Жозефа за руку; он оглядывается, смотрит на ливень пуль, как затравленный, обезумевший зверь, и только бормочет:

— Как? Опять? Значит, еще не кончилось? Мы ведь всего насмотрелись, всего натерпелись!.. И вот начинается опять! Так нет же, нет!

Задыхаясь, он падает на колени, озирается с бессильной ненавистью и повторяет:

— Значит, это никогда не кончится, никогда?!

Я беру его под руку и поднимаю.

— Пойдем! Для тебя это скоро кончится!

* * *

Здесь, прежде чем отправиться дальше, надо подождать. Я хочу пойти к умирающему Рамюру: он меня

ждет. Но за меня цепляется Жозеф, и к тому же у того места, где я оставил умирающего, суетятся люди. Я догадываюсь: теперь уже не стоит туда идти.

Дно оврага, где мы прижимаемся друг к другу под этой бурей, сотрясается, и при каждом залпе чувствуется глухой шквал снарядов. Но в этом углублении мы не подвергаемся опасности. При первом затишье люди, пережидавшие, как и мы, отделяются от нас, идут в гору: это санитары; они с невероятными усилиями тащат тела убитых и, словно упрямые муравьи, скатываются обратно; другие идут попарно или в одиночку: это раненые или связисты.

— Идем,— говорит Жозеф, согнувшись, измеряя взглядом склон, последнюю часть своего мученического пути.

Здесь деревья: ряд ободранных стволов ивы, одни кажутся широкими, плоскими; другие — зияют, словно стоячие отверстые гробы. Вся местность разворочена, изуродована: холмы, пропасти и мрачные бугры, как будто сюда низверглись все тучи бури. Над черной, истерзанной землей вырисовывается разгром стволов; тускло поблескивает бурое с молочными прожилками небо, похожее на оникс.

У отверстия хода 97 лежит поперек дуб; все его крупное тело скрючено и разбито.

Ход заткнут трупом. Голова и ноги застряли в земле. Струящаяся по дну мутная вода покрыла туловище песчаным студнем. Под этим мокрым саваном выпирают грудь и живот, прикрытые рубашкой.

Мы переступаем через останки, ледяные, липкие и светлые, как брюхо ящерицы; это трудно: почва рыхлая и скользкая.

В эту минуту над нами раздается адский свист. Мы сгибаемся, как тростник. В воздухе разрывается шрапнель; она оглушает, ослепляет нас, обволакивает черным свистящим дымом. Перед нами солдат взмахивает руками и исчезает в какой-то бездне. Крики поднимаются и падают, словно обломки. Ветер срывает с земли черный покров и отбрасывает в небо; видно, как санитары ставят носилки, бегут к месту взрыва и поднимают что-то неподвижное. Я вспоминаю незабываемую ночь, когда мой брат по оружию Потерло, никогда не терявший на-

дежды, раскинул руки и, казалось, улетел вместе с пламенем взрыва.

Наконец мы взбираемся на вершину; открывается страшное зрелище: на ветру стоит раненый, ветер встряхивает его, но он стоит как вкопанный; поднятый капюшон развевается; лицо судорожно подергивается, рот широко раскрыт; раненый воет, и мы проходим мимо этого кричащего изваяния.

* * *

Мы добрались до нашей бывшей первой линии, откуда мы пошли в атаку. Мы сели на ступеньку для стрельбы и прислонились к выступам, сделанным в последнюю минуту саперами для нашего наступления. Проходит самокатчик Этерп и здоровается с нами. Пройдя мимо, он возвращается и вытаскивает из-за обшлага конверт, край которого вылезал оттуда и казался белым галуном.

— Это ты берешь письма покойного Бике? — спрашивает меня Этерп.

— Да.

— Вот его письмо: оно вернулось обратно. Адреса не разберешь.

Конверт, наверно, лежал в пачке сверху, попал под дождь, и теперь среди лиловатых разводов уже нельзя разобрать адрес. Только в углу уцелел адрес отправителя... Я осторожно вынимаю письмо: «Дорогая матушка»...

— А-а, помню!

Бике лежит под открытым небом в той самой траншее, где мы теперь отдыхаем. Он написал это письмо недавно, на стоянке в Гошен-л'Аббе, в сияющий великолепный день; он отвечал на письмо матери, которая тогда тревожилась напрасно и рассмешила этим сына...

«Ты думаешь, мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности. Ничего подобного! Напротив. Все это кончилось. Теперь жарко, мы потеем; делать нам нечего, мы слоняемся и греемся на солнышке. Мне было смешно читать твое письмо...»

Я кладу это письмо в измятый, истрепанный конверт; если бы не случайность, старая крестьянка, по новой иронии судьбы, прочла бы эти строки как раз в то время, когда от тела ее сына под ледяной бурей осталась только горсть мокрого праха, стекающего темным ручейком по насыпи траншеи.

Жозеф откинул голову. Глаза его смыкаются; он тяжело дышит.

— Крепись! — говорю я.

Он открывает глаза.

— Эх, не мне надо это сказать,— отвечает он.— Поглядите вот на этих! Они возвращаются туда, и вы тоже скоро вернетесь. Для вас все это еще не кончилось. Да, надо быть сильным, чтоб выносить все это еще и еще!

XXI

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТ

Отсюда неприятель уже видит нас с наблюдательных пунктов,— больше нельзя вылезать из окопов. Сначала мы идем по ходу сообщения у Пилонской дороги. Траншея вырыта вдоль нее, а сама дорога исчезла: деревья вырваны с корнем, во всю длину траншея наполовину изгрызла и поглотила дорогу, а что оставалось, покрылось землей, заросло травой и за долгий срок смешалось с полями. Там, где прорвался мешок с землей, теперь грязная впадина,— на уровне наших глаз опять показывается изгрызенный, мощеный край бывшей дороги или корни деревьев, срубленных и использованных на укрепление насыпи. Насыпь изрезана неровно, как волна земли, обломков и черной пены, которая докатилась по огромной равнине до самого края рва.

Мы добираемся до скрещения ходов; на вершине пригорка, под серой тучей, наклонно стоит кол со зловещей надписью. Сеть ходов все сужается; со всех сторон к перевязочному пункту идут люди; их все больше и больше на этих подземных дорогах.

Мрачные переулки усеяны трупами. В стене, через неровные промежутки, зияют совсем свежие дыры, воронки; они резко выделяются в искалеченном грунте; землистые люди сидят на корточках, поджав колени к

зубам, или стоят, прислонясь к стенке, молчаливые и прямые, как ружья, которые ждут рядом с ними. Некоторые из этих стоящих мертвецов обращают к живым забрызганные кровью лица или смотрят в пустоту неба.

Жозеф останавливается, чтобы передохнуть. Я говорю ему, как ребенку:

— Скоро придем, скоро придем!

Скорбный путь со зловещими укреплениями еще сужается. У нас появляется чувство удушья; кошмарный спуск становится все у́же. Стены как будто сближаются, смыкаются, мы вынуждены поминутно останавливаться, пролезать, нарушая покой мертвецов; на нас напирают: все валом валят в тыл — здесь и посыльные и калеки; раненые стонут, кричат, спешат, багровые от лихорадки или смертельно бледные, и содрогаются от боли.

* * *

Вся эта толпа наконец докатывается, скопляется и стонет на перекрестке, где открываются отверстия — входы перевязочного пункта.

Врач размахивает руками и орет, чтоб отстоять хоть немного свободного места под натиском этой людской лавины. Под открытым небом, у входа в убежище он наскоро перевязывает раненых; по слухам, он и его помощники за целый день и за целую ночь еще не отдыхали ни минуты; это сверхчеловеческая работа.

Пройдя через его руки, часть раненых попадает в укрытие этого пункта, другая эвакуируется в тыл, на другой перевязочный пункт, устроенный в траншее Бетюнской дороги.

В этой узкой впадине, на перекрестке рвов, как в глубине «Двора чудес», мы ждем два часа; мы зажаты, стиснуты, почти задушены, ослеплены, мы напираем друг на друга, словно скот в тесном загоне, пропитанном запахами мяса и крови. С каждой минутой лица все больше искажаются и бледнеют. Какой-то раненый больше не может удержать слезы; они текут ручьями, он мотает головой, и слезы капают на соседей. У другого из раны хлещет кровь; он кричит: «Эй, вы, займитесь мною!» Молодой солдат с воспаленными глазами возде-

вает руки к небу, воет, как грешник в аду: «Я горю!», и от него пышет жаром, словно от костра.

* * *

Жозефу сделали перевязку. Он проталкивается ко мне, протягивает мне руку и говорит:

— Рана, кажется, неопасная! Прощай!

Нас сейчас же разделяет толпа. Я в последний раз смотрю на Жозефа, у него измученное лицо; он поглощен болью, никого и ничего не замечает, дивизионный санитар берет его под руку и уводит. Я их больше не вижу.

На войне и жизнь и смерть разлучают людей, прежде чем успеваешь об этом подумать.

Мне советуют не оставаться здесь и идти вниз, на перевязочный пункт, чтобы отдохнуть перед возвращением.

Здесь два входа, совсем низко, на самом уровне земли. Сюда выходит покатая галерея, узкая, как сточная канава. Чтобы проникнуть в помещение перевязочного пункта, надо сначала повернуться спиной к отверстию этой узкой трубы и спускаться задом, нащупывая ногой ступеньки; высокая ступенька — через каждые три шага.

Когда входишь внутрь, попадаешь словно в тиски, и кажется, что невозможно ни спуститься, ни подняться. Углубляешься в эту бездну, испытывая то же кошмарное чувство удушья, которое все нарастало, пока приходилось пробираться по окопам, прежде чем добраться сюда. Наталкиваешься на стенки, останавливаешься, застреваешь. Приходится передвигать на поясе подсумки, брать мешки в руки, прижимать их к груди. На четвертой ступеньке чувство удушья усиливается, тебя охватывает смертельный ужас; чуть только занесешь ногу, чтобы спуститься, стукаешься спиной о свод. В этом месте приходится ползти на четвереньках, задом наперед. Чем ниже спускаешься, тем трудней дышать тяжелым, зачумленным воздухом. Рука чувствует холодное, липкое, могильное прикосновение глиняной стенки. Земля нависает, теснит со всех сторон, облекает в зловещее одиночество, как в саван, и веет в лицо запахом плесени. После долгих усилий добираешься до последних

ступенек; вдруг доносится какой-то странный гул, он вырывается из ямы, как жар из натопленной кухни.

Наконец спускаешься на дно этого хода, но страшный сон еще не кончен; попадаешь в темный погреб, высотой не больше полутора метров. Чуть выпрямишься и разогнешь спину — с размаху больно стукаешься головой о балки, и вновь прибывшие более или менее громко, смотря по состоянию духа и здоровья, неизменно ворчат: «Н-да, хорошо еще, что я в каске».

В углублении сидит на корточках человек. Это дежурный санитар; он однообразно твердит каждому посетителю: «Вытрите ноги!» Здесь уже выросла целая куча грязи, о нее спотыкаешься, в ней увязаешь у нижней ступеньки, на пороге этого ада.

* * *

В гуле стонов и жалоб, среди острого запаха, исходящего от бесчисленных ран, в этой призрачной пещере, где ютится неясная, непонятная жизнь, я прежде всего стараюсь осмотреться. В укрытии мерцают свечи, кое-где чуть рассеивая мрак. Вдали, как в конце подземного каземата, брезжит тусклый дневной свет. Можно различить какие-то большие предметы, расставленные вдоль коридора: это носилки, низкие, как гробы. Вокруг них и над ними суетятся согнувшиеся, исковерканные тени; у стен кишат вереницы и гроздья призраков.

Я оборачиваюсь. На другом конце, противоположном тому, где пробивается дневной свет, теснятся люди перед полотнищем парусины, протянутым от свода до земли. Сквозь охровую, наверно, промасленную ткань виднеется свет. Там, в отгороженном закоулке, при ацетиленовой лампе, делают прививки против столбняка. Когда этот занавес приподнимают входящие или выходящие люди, свет внезапно озаряет оборванных раненых солдат. Они толпятся здесь в ожидании прививки, стоят, согнувшись под низким потолком, сидят, ползают на коленях. Они отталкивают друг друга, чтобы не потерять своей очереди или захватить очередь другого, и кричат, словно лают: «Я! Я! Я!» В этом углу, где идет глухая борьба, задыхаешься от теплой вони ацетилена и крови.

Я отхожу в сторону. Ищу, где бы присесть. Я продвигаюсь ощупью, по-прежнему согнувшись и вытянув руки.

При свете раскуриваемой кем-то трубки я замечаю скамью, занятую ранеными.

Глаза привыкают к полумраку; я смутно различаю ряд сидящих людей, забинтованные головы, руки, ноги.

Искалеченные, изуродованные, неподвижные или беспокойные люди цепляются за скамью, как утопающий за лодку; здесь целая коллекция разнообразных бед и страданий.

Один из них вдруг кричит, привстает и опять садится. Его сосед в разорванной шинели покачивает обнаженной головой, смотрит на него и говорит:

— Ничего, потерпи!..

Эти слова он повторяет много раз, уставившись в одну точку, не снимая рук с колен.

Посреди скамьи сидит молодой человек и разговаривает сам с собой. Он — летчик. У него ожоги на боку и на лице. Он весь горит в лихорадке; ему кажется, что его все еще жжет пламя, вылетающее из мотора. Он бормочет: «С нами бог!»

Зуав с перевязанной рукой нагнулся, как будто плечо стало для него непосильной ношей; он спрашивает летчика:

— Ты свалился с самолета, а?

— Чего я только не насмотрелся,— с трудом говорит летчик.

— Да и я насмотрелся! — перебивает его солдат.— Многие бы спятили, если б увидели то, что я видел.

— Садись сюда! — говорит кто-то из сидящих на скамье и дает мне место.— Ты ранен?

— Нет, я привел раненого и пойду обратно.

— Ну, значит, тебе еще хуже, чем раненым. Садись!

— Я был мэром у нас в деревне,— объясняет другой,— но когда я вернусь, никто меня не узнает: ведь столько пришлось маяться!

— Я уже четыре часа торчу здесь,— стонет солдат, похожий на нищего; его рука трясется, голова опущена, спина согнута; он держит на коленях каску, как кружку для подаяния.

— Ждем, чтоб нас эвакуировали,— говорит мне раненый толстяк; он задыхается, потеет, от него так и пы-

шет жаром; его усы свисают, словно отклеиваясь от мокрого лица, мутные глаза широко раскрыты. Его ран не видно.

— Оно самое, ждем,— говорит другой.— Сюда набились все раненые из нашей бригады да еще из других частей. Погляди-ка: здесь мусорный ящик целой бригады.

— У меня гангрена, у меня переломы, у меня все внутри изодрано в клочья,— причитает раненый, закрыв лицо руками.— А еще на прошлой неделе я был молодым, я был чистым. Меня подменили: теперь у меня старое, изуродованное, поганое тело, и приходится с ним возиться.

— Вчера мне было двадцать шесть лет,— говорит другой.— А сегодня сколько?

Он старается поднять свою трясущуюся голову, показать состарившееся за одну ночь, изможденное лицо; его щеки ввалились; в глазах тусклый маслянистый свет, как в потухающем ночнике.

— Мне больно,— скромно говорит невидимое существо.

— Ничего, потерпи,— бессознательно повторяет другой.

Молчание. Летчик вскрикивает:

— С обеих сторон священники старались перекричать друг друга!

— Это что такое? — с удивлением спрашивает зуав.

— Да у тебя что́, не все дома, бедняга? — восклицает стрелок, раненный в руку; она привязана к телу; он на минуту отводит глаза от своей окаменелой ладони и смотрит на летчика.

Летчик смотрит остановившимся взглядом и пытается описать таинственное видение, которое всюду его преследует:

— Сверху, с неба, знаете, мало что видно. Поля — квадратики, деревни — кучки; дороги кажутся белыми нитками. Видишь еще какие-то длинные желобки; они как будто нацарапаны острием булавки на мелком песке. Сети, которые окаймляют равнину прерывистыми чертами, это — окопы. В воскресенье утром я летал над линией огня. Между нашими первыми линиями и немецкими, между крайними выступами, между ободками двух огромных армий, которые стоят одна против дру-

гой, смотрят одна на другую и не видят, и ждут,— расстояние небольшое; иногда сорок, иногда шестьдесят метров. А сверху, с высоты, мне казалось — один шаг. И вдруг вижу: и у бошей и у наших, на этих параллельных линиях, которые как будто соприкасаются, что-то происходит: там какая-то каша, живое ядро, а вокруг что-то похожее на черные песчинки, рассыпанные по серому полю. Все это не движется, замерло, как будто нет тревоги! Я снизился, чтоб узнать, в чем дело.

Я понял: было воскресенье, и подо мной служили две мессы; я видел алтарь, священников и стадо молящихся. Чем больше я снижался, тем ясней я видел, что эти две толпы одинаковы, совсем одинаковы, так что все казалось нелепостью. Любая из этих двух церемоний была отражением другой. Мне казалось, что у меня в глазах двоится. Я снизился еще; в меня не стреляли. Почему? Не знаю. Я летел медленно. И вот я услышал... Я услышал рокот, единый рокот. Я разобрал, что это молитва; это было единое песнопение; оно поднималось к небу мимо меня. Я летал взад и вперед, чтобы послушать этот смутный хор; молитвы звучали с обеих сторон, но все-таки сливались воедино, и чем больше две толпы хотели перекричать друг друга, тем больше голосов объединялось в небе.

Я летел очень низко и расслышал два возгласа, единый крик: «*Gott mit uns!*»[1] и «С нами бог!» В эту минуту в мой самолет попала шрапнель.

Раненый покачивает перевязанной головой. Его мучает это воспоминание. Он прибавляет:

— В эту минуту я решил: «Я сошел с ума!»

— Это жизнь сошла с ума,— говорит зуав.

У рассказчика горят глаза; он словно бредит; он старается высказать неотвязную мысль.

— Да как же это? Вы только представьте себе: две одинаковые толпы, обе выкликают одинаковые и все-таки противоположные слова, испускают враждебные и в то же время однородные крики? Что должен ответить господь бог? Я знаю, что он знает все, но, даже зная все, наверно, не знает, что делать.

— Вот так история! — восклицает зуав.

— Да богу на нас плевать, не беспокойся!

---

[1] С нами бог! (*нем.*)

— И что тут удивительного? Ведь ружья тоже говорят на одном языке, а это не мешает народам палить друг в друга, да еще как!

— Да,— замечает летчик,— но бог-то один. Я еще понимаю, что люди молятся, но куда эти молитвы доходят?

Беседа прекращается.

— Там лежит уйма раненых,— говорит мне человек с выцветшими глазами.— Прямо диву даешься, да, диву даешься, как это их перенесли вниз. Страшно подумать!

В эту минуту проходят два худых солдата колониального полка; они поддерживают друг друга, как пьяные, натыкаются на нас, пятятся и стараются найти местечко, где бы лечь.

— Эх, старик,— хриплым голосом заканчивает свой рассказ один из них,— в этой траншее мы просидели трое суток без еды; трое суток у нас ничего не было. Что поделаешь! Мы пили свою мочу, но ведь это не вода.

Другой в ответ рассказывает о холере:

— Вот скверная штука: лихорадка, рвота, колики! Я от нее подыхал!

— Но как же,— вдруг кричит летчик, настойчиво стараясь разобраться в чудовищной загадке,— но как же бог позволяет людям думать, что он с ними со всеми? Чего он смотрит? Почему он допускает, чтобы мы все в один голос кричали, как болваны, как сумасшедшие: «С нами бог!» — «Да нет же, нет, вы ошибаетесь, бог с нами!»

Как бы в ответ с носилок раздается стон, и минуту в тишине звучит он один.

* * *

— Я,— слабым голосом говорит кто-то,— не верю в бога. Я знаю, что бога нет. А то почему ж мы страдаем? Нас могут пичкать какими угодно россказнями и выдумывать для этого разные словечки, но чтобы все эти страдания ни в чем не повинных людей были от милосердного бога? Это чепуха!

— А я,— говорит другой солдат на той же скамье,— я не верю в бога из-за холода. Я видел, как люди мало-помалу превращались в трупы попросту от холода. Если

бы существовал милосердный бог, холода не было б В этом можно не сомневаться.

— Чтобы верить в бога, надо, чтобы не существовало то, что существует. А до этого далеко.

Несколько искалеченных людей, хоть и не видят друг друга, одновременно кивают головой в знак согласия.

— Правильно,— говорит один,— правильно!

Эти разбитые люди, одинокие, затерянные и, несмотря на победу, побежденные, начинают прозревать. В исторических трагедиях бывают минуты, когда люди не только искренни, но и глубоко правдивы, когда им открывается истина.

— А я,— замечает новый собеседник,— не верю в бога, потому...

Эту фразу прерывает ужасный приступ кашля. Наконец солдат перестает кашлять; он посинел; на глазах выступили слезы; он тяжело дышит. Его спрашивают:

— Ты куда ранен?

— Я не ранен, я болен.

— А-а! — разочарованно восклицают солдаты тоном, означающим: «Ну, брат, это неинтересно!»

Кашлявший понимает и начинает расписывать свою болезнь:

— Мое дело пропащее: я харкаю кровью. У меня больше сил нет, и, знаешь, когда силы уходят, обратно они уж не возвращаются.

— Гм,— нерешительно произносят товарищи, но все-таки они убеждены в ничтожестве «штатских» болезней по сравнению с полученными на войне ранами.

Больной смиренно опускает голову и тихонько повторяет:

— Я больше не могу ходить! Куда же мне деться?

* * *

В горизонтальном коридоре, уставленном носилками, который тянется, сужаясь, вплоть до бледного просвета; в этом подземелье, где мигает жалкое красноватое лихорадочное пламя свечей и где пляшут по стенам какие-то черные тени; неизвестно отчего поднимается суета. Неразбериха голов, рук и ног приходит в движение; повсюду, как незримые призраки, возникают и проносят-

ся стоны и жалобы. Лежащие люди шевелятся и ворочаются.

В этой берлоге, среди людей, униженных, искалеченных страданием, появляется плотная туша: это санитар; его тяжелые плечи покачиваются, как тюк, положенный поперек спины; зычный голос гулко отдается в погребе:

— Опять ты трогал перевязку! Теля вшивый! Так и быть, перевяжу тебя еще раз, братец, но если ты дотронешься до бинта, увидишь, что я с тобой сделаю!

В полумраке он перевязывает голову малорослого солдата; у раненого волосы взъерошены, борода торчком; опустив руки, он молча дает себя перевязать.

Санитар отходит от него, смотрит вниз и во весь голос кричит:

— Это что такое? Эй, друг, да ты, часом, не рехнулся? Это еще что за новости? Ложиться на раненого?!

Огромной рукой он хватает и встряхивает какое-то тело и из-под него, пыхтя и бранясь, вытаскивает другое, на котором первое вытянулось, как на тюфяке; между тем перевязанный карлик, как только его оставляют в покое, поднимает руки к голове и, ни слова не говоря, опять старается снять повязку, сжимающую его череп.

...Вдруг толкотня, крики; вырисовываясь на светящемся фоне, во мраке этого склепа мечутся какие-то тени. Их много; озаренные свечой, они обступили раненого и, бросаясь из стороны в сторону, с трудом удерживают его на носилках. У него отрезаны ступни. Ноги туго перетянуты, чтоб остановить кровотечение. Обрубки изошли кровью, и полотняные бинты кажутся красными штанами. У него потное, темное, дьявольское лицо; он бредит. Его придерживают за плечи и колени; несмотря на то, что у него отрезаны ступни, он хочет соскочить с носилок и убежать.

— Пустите меня! — кричит он хриплым, дрожащим от гнева и напряжения басом, в котором неожиданно прорываются высокие ноты, как в трубе, на которой хотят играть слишком тихо.— Черт подери! Пустите, говорят вам! У-ух! Да вы что думаете? Я останусь здесь, что ли? Ну, разойдись, или я вас всех изобью!

Он извивается и вытягивается так неистово, что тянет за собой тех, кто навалился на него всей своей тя-

жестью; свеча описывает зигзаги; ее держит, стоя на коленях, солдат; другой рукой он сжимает обезумевшего калеку; калека вопит так громко, что будит спящих и дремлющих. Со всех сторон оборачиваются, приподнимаются, прислушиваются к его воплям и бессвязным жалобам, но в конце концов он утихает. В ту же минуту в другом углу двое раненых, как бы распятые на земле, начинают ссориться, и, чтобы прекратить эту бешеную перебранку, приходится унести одного из них.

Я отхожу в угол, где дневной свет проникает между обнажившимися балками, как сквозь сломанную решетку. Я шагаю через бесконечные ряды носилок, загромождающие всю эту подземную галерею, где я задыхаюсь. При свете блуждающих огней человеческие фигуры, простертые на носилках, больше не двигаются, только глухо стонут и кричат.

На край носилок присел человек; он прислонился к стене; изодранная куртка расстегнута, и видна белая впалая грудь, грудь мученика. Откинутая назад голова скрыта в тени, но видно, как бьется сердце.

Дневной свет каплями просачивается вдали; он появился после обвала: несколько снарядов, попавших в одно и то же место, пробили плотный земляной покров этого перевязочного пункта.

На плечах и на складках серо-голубых шинелей белеют отсветы. Чтобы глотнуть свежего воздуха, выбраться на минуту из этого некрополя, у отверстия теснятся полусонные, полумертвые люди, парализованные слабостью и тьмой. На границе мрака этот угол является оазисом: здесь можно постоять, не сгибаясь, и почувствовать чудесное прикосновение света, льющегося с небес.

— Здесь снаряды выпотрошили нескольких парней,— говорит мне солдат, который ждет очереди при свете проникшего сюда убогого луча.— Ну и каша получилась! Погляди, вот поп собирает требуху, что высыпалась из них!

Старший санитар — толстяк в коричневой мохнатой фуфайке, придающей ему вид гориллы,— снимает кишки и внутренности, обвившиеся вокруг балок разрушенного сруба. Для этого он пользуется винтовкой с примкнутым штыком: не нашлось достаточно длинной палки. Лысый, бородатый великан пыхтит и неловко действует оружи-

ем. У него добродушное, кроткое и жалкое лицо; стараясь зацепить в углах обрывки кишок, он ошеломленно охает. Его глаз не видно под синими очками; он громко пыхтит, у него маленькая голова и непомерно толстая шея конической формы.

Он прокалывает и наматывает на штык длинные ленты внутренностей и собирает куски мяса. Ногами он уперся в землю, между обломков, разбросанных в глубине этого закоулка, полного стонов; можно подумать, что это мясник, занятый какой-то дьявольской работой.

Я привалился в углу, полузакрыл глаза и теперь почти не вижу людей, которые стонут, содрогаются и падают вокруг меня.

Я смутно улавливаю обрывки фраз. Солдаты рассказывают все те же удручающе однообразные истории о ранах.

—...Да, черт их дери! В этом месте казалось, что пули сталкиваются в воздухе...

—...У него была пробита голова навылет от виска к виску. Можно было бы продеть сквозь нее веревку.

Ближе ко мне кто-то в заключение бормочет:

— Во сне мне все кажется, что я его опять убиваю.

Среди заживо погребенных раненых жужжат еще другие обрывки фраз; словно постукивают бесчисленные колеса машины, которые все вертятся, вертятся...

Кто-то идет, нащупывая стену палкой, как слепой, и подходит ко мне. Это Фарфаде! Я его окликаю. Он поворачивается наугад в мою сторону и говорит, что у него поврежден глаз. Другой глаз тоже завязан. Я уступаю ему место и усаживаю у стены, придерживая за плечи. Он садится по-чиновничьи покорно, как в зале ожидания.

Я передвинулся подальше на свободное место. Рядом лежат двое людей и тихонько беседуют; они так близко от меня, что я невольно слышу, о чем они говорят. Это два солдата Иностранного легиона, в касках и темно-желтых шинелях.

— Не стоит вертеться вокруг да около,— с горькой усмешкой говорит один из них.— На этот раз я пропал. Дело ясное: у меня пробиты кишки. Будь я в лазарете, в городе, мне бы сделали операцию вовремя, и, может быть, дело бы пошло на лад. А здесь!.. Я был ранен

вчера. Мы в двух-трех часах от Бетюнской дороги, правда? А от этой дороги сколько часов до лазарета, где можно сделать операцию? Да и когда еще нас подберут!.. В этом, конечно, никто не виноват, но не надо себя обманывать. Конечно, сегодня я еще не помру. Но долго мне не протянуть: ведь у меня все кишки в дырах. Тебе-то лапу вылечат или приделают другую. А я подохну.

— А-а! — говорит другой, убежденный логикой собеседника.

Первый продолжает:

— Послушай, Доминик, ты вел скверную жизнь. Ты здорово пил и с пьяных глаз натворил делов. У тебя большущий список судимостей.

— Не могу сказать, что это неправда, раз это правда,— отвечает другой.— Но тебе-то что?

— После войны само собой ты опять примешься за старое, и у тебя пойдут неприятности по делу с бочаром.

Другой вдруг свирепеет:

— Заткнись! А тебе какое дело?

— У меня не больше родных, чем у тебя. Никого, кроме Луизы, да и она не в счет: ведь мы не регистрировались. За мной не числится никаких дел, кроме кой-каких мелочей по службе. У меня имя чистое.

— Ну так что? Плевать мне на это!

— Вот что я тебе скажу: возьми мое имя. Возьми, я тебе его даю: ведь ни у тебя, ни у меня родных нет.

— Твое имя?

— Тебя будут звать: Леонар Карлотти. Вот и все. Подумаешь, важное дело! Не все ли тебе равно? Тебе не придется отбывать наказание. Тебя не будут преследовать, и ты сможешь зажить счастливо, как жил бы я, если б эта пуля не пробила мне брюхо.

— А-а! Тьфу ты, черт! Ты это сделаешь? Ну, брат, прямо не верится.

— Возьми мое имя. Солдатская книжка у меня в шинели. Так вот, бери мою книжку, а мне дай свою: я унесу все это с собой. Ты сможешь жить, где угодно, кроме тех мест, где меня немного знают: в Лонгвилле, в Тунисе. Запомни это! Ну, да в книжке все записано. Прочти ее хорошенько! Я никому не скажу: чтобы такая штука удалась, надо держать язык за зубами!

Он умолкает и вдруг с дрожью в голосе говорит:

— Все-таки я, может быть, расскажу Луизе: пусть она знает, как я хорошо поступил, и не поминает меня лихом, когда получит от меня прощальное письмо.

Но тут же он спохватывается и с величественным усилием качает головой:

— Нет, не расскажу. Хоть это и она. Женщины болтливы.

Доминик смотрит на него и все повторяет:

— А-а! Тьфу ты, черт!

Не замеченный ими, я ухожу от этой драмы, разыгрывающейся в жалком углу, среди толчеи и шума.

Я стараюсь протиснуться к выходу. Вдруг раздается глухой стук и целый хор восклицаний.

Это упал старший санитар. В брешь, которую он очищал от рыхлых кровавых останков, влетела пуля и пробила ему горло. Он растянулся на земле. Он вращает круглыми, ошеломленными глазами и брызжет пеной.

Скоро его рот и подбородок покрываются розовыми пузырьками. Под голову ему кладут мешок с перевязочными материалами. Мешок пропитывается кровью. Какой-то санитар кричит, чтобы не портили бинты: они нужны. Начинают искать, что подложить под голову; рана безостановочно выделяет красноватую пену. Находят только круглый хлеб и подсовывают его под затылок, на котором слиплись волосы.

Раненого берут за руку, задают ему вопросы, но он только пускает все новые и новые пузырьки; их все больше; широкое лицо и черную бороду видно только сквозь это розовое облако. Он кажется фыркающим морским чудовищем; прозрачная розовая пена скопляется и заливает даже круглые помутневшие глаза, с которых свалились очки.

Он тихонько посапывает. Как ребенок. Он умирает, поворачивая голову вправо и влево, как будто пытаясь сказать: «Нет».

Я смотрю на эту неподвижную тушу и вспоминаю, что это был добрый человек, простодушный, отзывчивый. И как я раскаиваюсь, что иногда бранил его за ограниченность мыслей и за поповскую бестактность! И теперь, среди всех этих бед, я счастлив, да, счастлив: ведь как-то раз, когда он украдкой читал мое письмо, пока я писал,— я удержался и не наговорил ему слов, ко-

торые могли его незаслуженно оскорбить. Я вспоминаю еще, как он меня возмутил своими объяснениями относительно пресвятой девы и Франции. Тогда я не допускал, что он говорит искренне. А почему он не мог сказать это искренне? *Ведь сегодня он взаправду убит!*

...Вдруг удар грома. Почва и стены сотрясаются, и нас швыряет друг на друга. Нависшая над нами земля как будто падает на нас. Часть деревянных креплений рушится, и брешь расширяется. Еще удар,— и еще часть балок с грохотом превращается в прах. Труп старшего санитара откатывается, как ствол дерева, к стене. Все подпорки и стропила, все эти черные, плотные кости подземелья трещат так, что у нас чуть не лопаются барабанные перепонки, и у всех узников этого застенка вырывается крик ужаса.

Новые взрывы грохочут один за другим и разбрасывают нас во все стороны. Бомбардировка рассекает и уродует, пронзает и укорачивает это убежище. Свистящий град снарядов колотит и разбивает земляную стену перевязочного пункта; в проломы врывается дневной свет. Сверхъестественно выступают воспаленные или смертельно бледные лица; глаза потухают в агонии или лихорадочно блестят; тела закутаны в белое, залатаны чудовищными повязками. Все, чего не было видно, теперь выступило наружу. Перед этим прибоем картечи и угля, сопровождаемым ураганом света, обезумевшие люди, мигая, скрючившись, встают, разбегаются, стараются спастись. В ужасе, целыми пачками, они катятся по низкой галерее, как в зыбком трюме погибающего корабля.

Летчик старается выпрямиться во весь рост, упирается затылком в свод, размахивает руками, призывает бога и спрашивает, как его зовут, каково его настоящее имя. Вихрь сбивает с ног и бросает на других раненых солдата, у которого из-под куртки, разверстой, как широкая рана, было видно, как билось сердце. Шинель человека, который однообразно повторял: «Ничего, потерпи!» — вдруг оказалась совсем зеленой, ярко-зеленой, наверно, от пикриновой кислоты, выделенной взрывом, потрясшим его мозг. Остальные, бессильные, искалеченные, шевелятся, тащатся, ползут, залезают в углы, как слепые кроты, как бедные раненые звери, преследуемые грозной сворой снарядов.

Бомбардировка ослабевает, затихает в туче дыма, который еще грохочет среди волн едкого газа. Я вылезаю через брешь и все еще среди отчаянного гула выбираюсь под открытое небо, проваливаюсь в рыхлую землю, спотыкаюсь о балки, утонувшие в ней, цепляюсь за обломки. Вот насыпь! Я ныряю в проходы, издали вижу: они так же мрачны и так же кишат толпами, которые со всех сторон вылезают из окопов и без конца стекаются к перевязочным пунктам.

По целым дням, по целым ночам здесь будут катиться и сливаться бесконечные потоки людей, исторгнутых полем битвы, этой равниной; которая истекает кровью и гниет там, в необозримом пространстве.

XXII

ПРОГУЛКА

Пройдя по бульвару Республики, потом по авеню Гамбетты, мы выходим на площадь Торговли. Наши начищенные башмаки, подбитые гвоздями, звенят по городским тротуарам. Погода отличная. Яркое солнце сверкает, будто сквозь стекла теплицы; витрины магазинов блестят. Полы наших старательно вычищенных шинелей опущены, и так как обычно они бывают подвернуты, на них обозначаются два синих квадрата.

Наша компания останавливается в нерешительности перед «Кафе префектуры», которое также называется «Большое кафе».

— Мы имеем право войти! — говорит Вольпат.

— Там очень много офицеров,— возражает Блер, дерзнув заглянуть поверх кружевной занавески в оконное стекло, между золотых букв.

— Да мы еще не все осмотрели в городе,— говорит Паради.

Мы идем дальше и, какие мы ни есть простые солдаты, производим смотр шикарным лавкам на площади: здесь модные, писчебумажные, аптекарские магазины; витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры. Наши лица расплываются в улыбку. Мы свободны от всякой работы до вечера, мы хозяева своего времени. Мы



ступаем неторопливо, спокойно; ничем не занятые руки болтаются взад и вперед.

— Что и говорить, мы неплохо пользуемся отдыхом! — замечает Паради.

Перед нами открывается город, производящий внушительное впечатление. Мы соприкасаемся с жизнью, с жизнью населения, с жизнью тыла, с обычной, нормальной жизнью. А в окопах мы так часто думали, что никогда не доберемся сюда!

Мы видим мужчин, дам, парочки, окруженные детьми, английских офицеров, летчиков, которых уже издали узнаешь по их стройности, изяществу и орденам, и солдат, которые могут выставить напоказ только выскобленную кожу, поношенную одежду и единственное украшение: номерную бляху, сверкающую на шинели; они осторожно вступают в этот прекрасный мир, избавленный от всяких кошмаров.

Мы ахаем, удивляемся, как путешественники, приехавшие издалека.

— Сколько народу! — восклицает Тирет.

— Да, богатейший город! — замечает Блер.

Проходит работница и поглядывает на нас.

Вольпат подталкивает меня локтем, пожирает ее глазами, вытягивает шею и дальше показывает мне на двух других женщин, которые идут нам навстречу; у него блестят глаза; он убеждается, что город изобилует женским элементом.

— Ну и бабья же здесь!

— Да, старик, чего-чего, а ж... здесь есть!

Преодолев некоторую робость, наш Паради подошел к груде великолепных пирожных, разложенных на прилавке кондитерской, дотронулся до них и съел несколько штук. На каждом шагу приходится останавливаться и ждать Блера: его привлекают и зачаровывают витрины, где выставлены куртки и щегольские кепи, галстуки из светло-голубого тика и красные блестящие, как красное дерево, башмаки. Блер достиг высшей точки преображения. Если раньше он побивал рекорд неряшливости и нечистоплотности, то теперь он опрятней нас всех, особенно с тех пор, как починили и усовершенствовали его вставную челюсть, сломанную во время атаки. Он держится непринужденно.

— Совсем юноша,— говорит Мартро.

Вдруг мы сталкиваемся лицом к лицу с беззубым существом, улыбающимся во весь рот. Из-под шляпы торчат реденькие черные волосы. Рябое лицо с крупными отвратительными чертами похоже на морды, намалеванные на грубом холсте ярмарочных балаганов.

— Красавица! — восклицает Вольпат.

Мартро, которому она улыбнулась, онемел от восторга.

Так восхищаются солдаты, вдруг очутившись во власти очарований города. Они без устали наслаждаются этой красотой и невероятной чистотой. Они сызнова входят во вкус спокойной, мирной жизни, удобств и даже благополучия, ради которого, собственно, и построены дома.

— Знаешь, брат, мы бы к этому все-таки опять привыкли!

Между тем у магазина готового платья собирается публика: здесь торговец соорудил и выставил в витрине нелепую группу из деревянных и восковых кукол.

На песке, усеянном камешками, как дно аквариума, стоит на коленях немец в новехоньком выутюженном мундире и даже с картонным Железным крестом на груди; он протягивает деревянные розовые руки к французскому офицеру, завитый парик которого как будто служит подушкой для детского кепи; щеки у француза пухлые, румяные, а стеклянные глаза, как у небьющейся куклы, смотрят в сторону. Рядом с этими действующими лицами лежит игрушечное ружьецо. Название этого художественного произведения указано в надписи: «Камрад!»

— Ну и ну!..

Только эта ребяческая выдумка напоминает здесь о войне, свирепствующей где-то в мире; мы смотрим, пожимаем плечами и начинаем злиться; мы уязвлены, оскорблены: ведь у нас еще слишком свежи воспоминания. Тирет нахмурился и готовится съязвить; но это возмущение не прорывается; мы еще не пришли в себя от неожиданной перемены обстановки.

Вдруг подходит изящная дама, блестя и шурша фиолетовыми и черными шелками, окутанная облаком благоуханий; она замечает нас, протягивает руку в перчатке

и касается пальчиками рукава Вольпата и плеча Блера. Блер и Вольпат сразу замирают, заколдованные прикосновением этой феи.

— Скажите, господа, вы ведь настоящие солдаты, с фронта! Вы видели все это в окопах, правда?

— Гм... да... да...— оробев, отвечают бедняги, польщенные до глубины души.

— А-а!.. Вот видишь? Они прямо оттуда! — шепчут в толпе.

Оставшись одни на гладких плитах тротуара, Блер и Вольпат переглядываются и покачивают головой.

— Что ж,— говорит Вольпат,— в конце концов это приблизительно так и есть.

— Да, конечно, чего там!

Так в первый раз в этот день мы отреклись от истины.

* * *

Мы входим в «Кафе промышленности и цветов».

Посреди паркета протянута плетеная дорожка. На стенах, на четырехугольных столбах, поддерживающих потолок, и на стойке намалеваны лиловые вьюнки, большие маки цвета смородины, розы, похожие на кочаны красной капусты.

— Что и говорить, у нас, французов, есть вкус,— говорит Тирет.

— Немало пришлось попотеть, чтобы нарисовать все это,— замечает Блер, любуясь многоцветными выкрутасами.

— В таких заведениях не только выпить, но и посидеть приятно,— прибавляет Вольпат.

Тут Паради сообщает нам, что до войны по воскресеньям он частенько ходил в такие же красивые кафе и даже покрасивей этого. Но это было давно, и он отвык. Он показывает на эмалированный, расписанный цветами рукомойник, который висит на стене.

— Здесь даже можно вымыть руки.

Мы степенно направляемся к рукомойнику. Вольпат подает Паради знак открыть кран.

— Пусти в ход плевательную машину!

Мы входим все пятеро в уже переполненный зал и садимся за столик.

— Пять рюмочек вермут-кассиса, ладно?

— Право, мы бы скоро привыкли к этому,— повторяем мы.

Штатские встают со своих мест и подсаживаются поближе к нам. Кто-то вполголоса говорит:

— Адольф, посмотри, у них у всех Военный крест!

— Это настоящие «пуалю»!

Мои товарищи это услышали. Они разговаривают друг с другом уже рассеянно, навострив уши, и бессознательно пыжатся.

Через минуту штатский господин и дама, которые говорили о нас, нагибаются к нам, кладут локти на белый мраморный столик и спрашивают:

— Тяжело жить в окопах, правда?

— Гм... Н-да... Ну, конечно, чего там... Не всегда весело бывает...

— Какая у вас поразительная физическая и моральная стойкость! Ведь в конце концов вы привыкаете к этой жизни, правда?

— Ну, конечно, чего там... Привыкаем, очень даже привыкаем...

— А все-таки это страшная жизнь, и сколько страданий! — тараторит дамочка, перелистывая иллюстрированный журнал и разглядывая снимки — мрачные виды опустошенных местностей.— Адольф, зачем пишут о таких ужасах? Грязь, вши, тяжелые работы!.. Как вы ни храбры, а, наверно, вы несчастны!..

Вольпат, к которому она обращается, краснеет. Он стыдится перенесенных и еще предстоящих бедствий. Он опускает голову и, может быть, не отдавая себе отчета во всем значении своей лжи, отвечает:

— Нет, мы не так уж несчастны... Что вы, все это не так страшно!

Дама соглашается:

— Да, я знаю, ведь у вас есть и радости! Например, атака! Ах, это должно быть великолепно! Правда? Все эти войска, которые идут в бой, как на праздник! И рожок играет: «Там, наверху, можно выпить!» — и солдатиков уже нельзя удержать, и они кричат: «Да здравствует Франция!» — и умирают с улыбкой на устах... Ах, мы не удостоились такой чести, как вы: мой муж слу-

жит в префектуре; сейчас он в отпуску: у него ревматизм.

— Я очень хотел бы быть солдатом,— говорит супруг,— но мне не везет: начальник нашей канцелярии не может без меня обойтись.

Посетители входят и выходят, любезно уступают дорогу. Гарсоны снуют, разнося хрупкие сверкающие стаканы и рюмки, зеленые, красные и ярко-желтые с белым ободком. Скрип шагов по паркету, усыпанному песком, сливается с восклицаниями стоящих или сидящих завсегдатаев, с гулким звоном стаканов и стуком домино на мраморных столиках... В глубине щелкают шары из слоновой кости, и приятели, обступив бильярд, отпускают обычные шуточки.

— Каждому свое, милейший,— говорит прямо в лицо Тирету, за другим концом стола, румяный, холеный здоровяк.— Вы герои. А мы работаем ради экономического процветания страны. Это такая же борьба, как и ваша. Я приношу пользу, не скажу, что больше вас, но во всяком случае не меньше!

Я смотрю на Тирета, нашего балагура и остряка.

В дыму сигар видны его выпученные глаза; сквозь гул голосов чуть слышно, как он смиренно, устало отвечает:

— Да, правда... Каждому свое!

Мы потихоньку уходим.

* * *

Выйдя из «Кафе промышленности и цветов», мы молчим. Мы как будто разучились говорить. От недовольства мои товарищи морщатся и дурнеют. Теперь они, кажется, чувствуют, что при этих важных обстоятельствах не выполнили своего долга.

— Наговорили нам с три короба эти рогачи! — ворчит Тирет; его злоба прорывается и растет.

— Надо было сегодня нахлестаться,— грубо отвечает Паради.

Мы идем дальше, не проронив ни слова. Через некоторое время Тирет продолжает:

— Это слизняки, подлые трусы! Они хотели пустить нам пыль в глаза, надуть нас, но этот номер не пройдет! Если я опять встречусь с ними,— говорит он, все больше раздражаясь,— я уж сумею им ответить!

— Мы с ними больше не встретимся,— возражает Блер.

— Через неделю нас, может быть, ухлопают,— заявляет Вольпат.

Недалеко от площади мы попадаем в толпу, которая выходит из ратуши и из какого-то государственного учреждения; оба здания с фронтоном и колоннами похожи на храмы. Это выходят из канцелярии чиновники: штатские всех видов и возрастов, старые и молодые военные; издали кажется, что они одеты почти так же, как мы... Но вблизи, под солдатским одеянием и галунами, обнаруживается их подлинная сущность: это — «окопавшиеся» и дезертиры.

Их ждут нарядные жены и дети. Торговцы заботливо запирают свои лавки, улыбаются, довольные законченным днем, и предвкушают завтрашний: они упоены беспрерывным ростом прибылей и звоном монет, которые наполняют их кассу. Они остались у своего очага; им стоит только нагнуться, чтобы поцеловать своих детишек. При свете первых фонарей эти богатеющие богачи сияют; все эти спокойные люди с каждым днем чувствуют себя спокойней, но втайне молятся о том, в чем не смеют признаться. Под покровом вечера все они тихонько возвращаются домой, в свои благоустроенные жилища, или идут в кафе, где их усердно обслуживают. Парочки, молодые женщины и мужчины, штатские или солдаты, у которых на воротнике вышит какой-нибудь предохранительный значок, встречаются и спешат сквозь затемненный мир в свою сияющую комнату; ночь сулит им отдых и ласки.

Проходя мимо приоткрытого окна первого этажа, мы замечаем, как теплый ветер вздувает кружевную занавеску и придает ей легкую, нежную форму женской сорочки.

Толпа движется и оттесняет нас: мы ведь здесь только бедные пришельцы.

Мы бродим по улицам в сумерках, уже золотящихся огнями: в городах ночь украшается драгоценностями.

Помимо нашей воли, все, что мы видели, открыло нам великую правду: существует различие между людьми, более глубокое, более резкое, чем различие между нациями,— явная глубокая, поистине непроходимая пропасть между людьми одного и того же народа, между теми, кто трудится и страдает, и теми, кто на них наживается; между теми, кого заставили пожертвовать всем, до конца отдать свою силу, свою мученическую жизнь, и теми, кто их топчет, шагает по их трупам, улыбается и преуспевает.

В толпе выделяются несколько человек, одетых в траур; они, может быть, близки нам, но остальные радуются, а не печалятся.

— Неправда, нет единой страны! — вдруг с необычайной точностью говорит Вольпат, высказывая нашу общую мысль.— Есть две страны! Да, мы разделены на две разных страны: в одной — те, кто дает, в другой — те, кто берет.

— Что поделаешь! Значит, так и полагается, чтоб счастливые пользовались несчастными.

— И чтоб счастливые были врагами несчастных.

— Что поделаешь! — говорит Тирет.

— Ну да ладно! — еще простодушней прибавляет Блер.

— Через неделю нас, может быть, ухлопают,— повторяет Вольпат.

Мы уходим, опустив головы.

XXIII

РАБОТА

На траншею надвигается вечер. Целый день он приближался, невидимый, как неизбежность, и теперь мрак покрывает откосы длинного рва — края беспредельной раны.

В глубине этой трещины с утра мы беседовали, ели, спали, писали. С наступлением вечера в огромной канаве поднялась суматоха; сонные, вялые люди встряхнулись, зашевелились, столпились. Это час, когда надо идти на работу.

Подходят Вольпат и Тирет.

— Вот и еще один день прошел, день, как всякий другой! — говорит Вольпат, глядя на темнеющую тучу.

— Ничего еще не известно: наш день не кончился,— отвечает Тирет.

По долгому горькому опыту он знает, что здесь нельзя предвидеть даже самое недалекое будущее: даже заурядный, уже начавшийся вечер...

— Стройся!

Мы собираемся, по привычке медленно и рассеянно. Каждый является со своим ружьем, флягой, подсумком и мешком, в котором лежит кусок хлеба. Вольпат еще ест; щека у него оттопырилась и ходит ходуном. Паради ворчит и лязгает зубами; нос у него посинел. Фуйяд волочит ружье, как метлу. Мартро рассматривает и кладет в карман затверделый слипшийся носовой платок.

Холодно. Моросит дождь. Все дрожат.

Издали кто-то однообразно гнусавит:

— Две лопаты, одна кирка... Две лопаты, одна кирка...

Мы гуськом подходим к складу инструментов, останавливаемся у входа и шагаем дальше, уже нагруженные лопатами и кирками.

— Все в сборе? Пошли! — говорит капрал.

Мы трогаемся в путь, шагаем. Идем вперед, неизвестно куда. Мы знаем только то, что скоро небо и земля сольются в едином хаосе.

* * *

Мы выходим из траншеи, уже почерневшей, как потухший вулкан, и вот мы опять на равнине в голых сумерках.

Над нами темнеют тучи, набухшие дождем. Серая равнина тускло освещена, поросла грязной травой, покрыта лужами, словно шрамами. От одиноких деревьев остался только застывший в судорогах остов.

В сыром тумане почти ничего не видно. Впрочем, мы смотрим только под ноги, на скользкую землю.

— Ну и грязища!

Мы идем полями, месим жидкую липкую кашу; она расплывается и упорно прилипает к нашим ногам.

— Шоколадный крем!.. Крем мокко!..

На вымощенной части бывших дорог, опустевших, как и поля, наш отряд сквозь липкий пласт толчет ногами мелкие камни; они крошатся и хрустят под нашими подошвами.

— Ходишь, будто по сухарям, помазанным маслом.

Кое-где на пригорках лежит густая черная грязь, засохшая, с глубокими трещинами, какая бывает у деревенских колодцев. Во впадинах — лужицы, лужи, пруды, озера; их неровные берега как будто изодраны в клочья.

Все реже слышатся шутки балагуров, которые сначала были бодры и свежи и, попадая в лужи, кричали: «Кря-кря!» Мало-помалу весельчаки мрачнеют и замолкают. Дождь льет сильней. Мы его слышим. Свет гаснет; затуманенное пространство сужается. По земле и в воде еще тянется полоса желто-свинцового света.

* * *

На западе под дождем вырисовываются мглистые монашьи силуэты. Это рота 204-го полка; солдаты закутались в брезент. Мимоходом замечаешь их серые, выцветшие лица, черные носы. Они похожи на крупных промокших волков. Скоро они исчезают из виду.

Мы идем по полям, местами поросшим травой; эта глинистая равнина исполосована бесчисленными параллельными колеями, истоптана ногами, изрезана колесами в одном и том же направлении; следы ведут и на передовые позиции и в тыл.

Мы перескакиваем через зияющие ходы. Это не всегда легко: после обвалов они расширились, края стали вязкими, скользкими. Нас одолевает усталость. Навстречу несутся повозки; они грохочут и забрызгивают нас грязью. Артиллерийские передки обдают нас тяжелыми струями воды. Вокруг колес грузовиков вращаются как бы вторые колеса из жидкой грязи, которая разлетается во все стороны.

По мере того как темнеет, трясущиеся повозки, лошадиные шеи, всадники, карабины и развевающиеся плащи принимают в тумане причудливые очертания. Вдруг происходит затор: зарядные ящики загромоздили дорогу. Кони останавливаются, топчутся, пока мы проходим. Слышится скрип осей, гул голосов, перебранка, слова

команды и похожий на океанский прибой шум дождя. Над всей этой сумятицей дымятся крупы лошадей и плащи ездовых.

— Осторожней!

Справа на земле что-то лежит. Это ряды мертвецов. Проходя мимо, мы бессознательно стараемся не наступить на них и вглядываемся. Из черной груды торчат подметки, вытянутые шеи, исхудалые лица, судорожно сжатые поднятые руки.

Мы идем, мы идем дальше по этим бледным истоптанным полям, под небом, где развеваются тучи, изодранные, раскиданные, как тряпье, мы идем по чернеющим просторам, которые загрязнились от долгого соприкосновения со всей этой несчастной человеческой толпой.

Мы спускаемся к окопам, расположенным в низине.

Чтоб добраться до них, мы поворачиваем, и те, кто идет в арьергарде, видят, как в сумерках тянется на сто метров вся рота: черные человечки цепляются за склон, ползут один за другим и разъединяются у края траншеи, у них за плечами лопата и ружье; узкой вереницей эти люди идут, углубляются в темноту и словно с мольбой поднимают руки.

Эти ходы составляют еще часть второй линии; они битком набиты людьми. На пороге убежищ, где висит и треплется на ветру баранья шкура или серая парусина, сидят на корточках косматые люди и смотрят на нас бесцветными равнодушными глазами, как будто ничего не видя. Из-под других полотнищ парусины, спущенных донизу, торчат ноги и доносится храп.

— Черт подери! Как это далеко! — начинают ворчать солдаты.

Вдруг толчок; мы пятимся.

— Стой!

Приходится остановиться, пропустить другой отряд. Мы столпились на отлогих скатах траншеи и бранимся. Мимо нас проходит рота пулеметчиков со своей ношей.

Этому нет конца. Долгие остановки изнурительны. Мускулы до боли напряжены. Топтание на месте невыносимо.

Едва мы опять трогаемся в путь, как приходится идти назад до запасного хода, чтобы дать дорогу телефонистам. Мы пятимся, как скот, томящийся в загоне.

Дальше мы идем уже медленней.

— Осторожно! Проволока!

Над траншеей извивается телефонный провод; кое-где он пересекает ее между двух кольев. Если он натянут слабо и повисает, его задевают наши ружья, солдаты стараются высвободить их и проклинают телефонистов за то, что они не умеют привязывать свои «бечевки».

Сплетение нависших проводов все гуще; солдаты вешают ружья на плечо, прикладом вверх, опускают лопаты и идут дальше, согнувшись.

* * *

Внезапно шаг замедляется. Мы продвигаемся еле-еле, наталкиваемся на передних. Головная часть колонны, наверно, проникла в трудный проход.

Мы тоже добираемся до этого места; дорога снижается и ведет к зияющей трещине. Это Крытый ход. Наши товарищи уже исчезли за его низкой «дверью».

— Значит, придется лезть в эту кишку?

Никто не решается войти в черное узкое подземелье. От всех этих колебаний и замедлений в хвосте колонны происходит толкотня, давка и внезапные остановки.

Едва мы вступаем в Крытый ход, как нас окутывает и разделяет густой мрак. Здесь веет запахом болота и плесени. На потолке этого земляного коридора обозначаются белесые полосы и пятна; это щели и дыры в досках, сквозь них кое-где льются струи воды; хотя мы идем осторожно, мы спотыкаемся о куски дерева; ударяемся боком о вертикальные подпорки.

В этом бесконечном закрытом проходе что-то глухо рокочет; здесь установлен мотор прожектора; надо пройти мимо него.

Мы продвигаемся ощупью, увязаем, утопаем; через четверть часа кто-то, изнемогая от мрака и сырости, устав натыкаться на что-то неизвестное, ворчит:

— К черту! Я зажгу свет!

Электрический фонарик вспыхивает ослепительной точкой. Сейчас же сержант орет:

— Черт знает что! Это что за остолоп зажег свет? Обалдел, что ли? Эй ты, вшивый, не понимаешь, что свет видать сквозь щели?

Озарив снопом лучей темные сырые стены, электрическая лампочка потухает. Снова мрак.

— Да кто увидит? — ворчит солдат.— Мы ведь не на первой линии!

— А-а! Кто увидит?!

Сержант, зажатый в наших рядах, продолжает шагать дальше, оборачивается на ходу (в темноте мы это угадываем) и отрывисто ругается:

— Дерьмо! Ишь окаянный штукарь!

Внезапно он орет опять:

— Эй! Кто там курит? Это что за бардак!

На этот раз он хочет остановиться, но, как ни упирается, как ни цепляется за стенку, как ни пыхтит, ему приходится стремительно идти дальше: его уносит поток солдат; ругательства застревают у него в горле, а цигарка, вызвавшая этот гнев, тухнет во мраке и тишине.

* * *

Прерывистый стук усиливается; от машины пышет жаром; чем ближе мы подходим, тем сильней сотрясается тяжелый воздух. От храпа мотора у нас уже шумит в ушах, и мы содрогаемся всем телом. Становится еще жарче: как будто прямо в лицо нам дышит какое-то чудовище. Мы спускаемся в адскую мастерскую; от темно-красного света стены багровеют и на них возникают наши грузные согбенные тени.

Среди всевозрастающих дьявольских шумов, горячих ветров и отсветов мы идем к горнилу. Мы оглушены. Теперь кажется, что мотор несется по галерее нам навстречу, как остервенелый мотоциклет с зажженным фонарем, и вот-вот раздавит нас.

Обожженные, почти ослепленные, мы проходим мимо красного очага и черного мотора; маховик гудит, как ураган. Мы едва успеваем увидеть движение людей. Мы закрываем глаза, задыхаемся от близости этого раскаленного оглушительного дыхания.

Гул и жар неистовствуют уже за нашей спиной и ослабевают... Мой сосед бормочет:

— А этот болван говорил, что виден мой фонарик!

Но вот наконец свежий воздух! Небо темно-синее, чуть светлее земли. Дождь льет вовсю. Мы с трудом ступаем по липкой гуще. Башмаки увязают целиком, и каждый раз приходится с невероятными усилиями вытаскивать ноги из грязи. В темноте ничего не видно. Но при выходе из этой норы замечаешь балки, поваленные в расширенной траншее: это какое-то разрушенное укрытие.

Вдруг прожектор вытягивает над нами свою длинную невероятную руку — свет, блуждающий в пространстве. Среди вывороченных балок и сломанных подпорок мы видим трупы. Совсем близко от меня стоит на коленях мертвец; голова его еще держится; она свисает на спину; на щеке чернеет пятно с зазубринами из капель запекшейся крови. Другое тело судорожно обхватило кол и повисло на нем. Третье свернулось калачиком; снаряд сорвал с него штаны; виден посиневший бок и живот. Четвертое — простерто на краю груды; рука лежит на земле. В этом месте проходят только ночью: днем здесь опасно. Все наступают на эту руку. При свете прожектора я ее разглядел: она — сморщенная, высохшая, расплющенная, как клочок старой бумаги, какой-то омертвевший плавник.

Дождь льет. Шум его потоков заглушает все. Это страшное опустошение. Дождь чувствуешь на всем теле; он нас как будто обнажает. Мы проникаем в открытую траншею, а позади, во мраке, гроза терзает мертвецов, выброшенных сюда и цепляющихся за этот клочок земли, как за плот.

От ветра на наших лицах стынут капли пота. Скоро полночь. Вот уже шесть часов, как мы ходим по непролазной грязи.

В этот час парижские театры сверкают светом ламп и люстр, блистают роскошью, шуршат нарядами, дышат праздничным теплом; беспечная сияющая толпа болтает, смеется, улыбается, рукоплещет; зрители приятно взволнованы сменой острых, все усиливающихся впечатлений, какие вызывает в них комедия, или любуются богатством и великолепием военного апофеоза, поставленного на сцене мюзик-холла.

— Дойдем ли мы? Черт подери, дойдем ли мы когда-нибудь?

Стон вырывается из груди солдат; они плетутся длинной вереницей в этих трещинах земли, несут ружья, лопаты или кирки под беспросветным, беспрерывным, бесконечным ливнем. Мы идем, мы все идем. От усталости мы опьянели; нас бросает во все стороны; мы отяжелели, промокли, мы ударяемся плечом о земляные стенки, мокрые, как и мы сами.

— Стой!

— Пришли?

— Да, пришли! Черта с два!

Все невольно пятятся; проносится слух:

— Заблудились!

Бродячая орда начинает понимать: мы сбились с пути на каком-нибудь повороте, и теперь попробуй найти дорогу!.. Больше того, из уст в уста передается слух, что за нами идет вооруженная рота; она направляется на передовые позиции. Дорога, по которой мы пошли, занята. Это затор.

Надо во что бы то ни стало попробовать добраться до траншеи, которую мы потеряли; говорят, она налево отсюда; надо проникнуть в нее через какой-нибудь ход. Раздражение изможденных людей прорывается в жестах и жалобах. Люди тащатся, но вдруг бросают инструменты и отказываются идти дальше. При белом свете взвивающихся ракет видно, как они кучами бухаются на землю. Отряд растягивается во всю длину с юга на север и под безжалостным дождем принимается ждать.

Наш лейтенант потерял дорогу, но ему удается пробиться сквозь ряды в поисках бокового выхода. Открывается маленький ход, низкий и узкий.

— Сюда! Сюда! Вот дорога! — радостно кричит офицер.— Ну, друзья, вперед!

Все ворчат, но опять наваливают на плечи ношу... Вдруг солдаты, уже проникшие в траншею, разражаются проклятиями и ругательствами.

— Да здесь отхожее место!

Отсюда несет зловонием; понятно, что здесь такое. Кто сюда вошел, останавливается, отказывается идти дальше. Одни натыкаются на других; все столпились у этой клоаки.

— Лучше уж пройти полем,— кричит кто-то.

Но над насыпями со всех сторон тучу рассекают молнии, и смотреть из темной канавы на снопы гремящего

пламени, которое вспыхивает вверху, так страшно, что никто не откликается на предложение этого сумасшедшего.

Волей-неволей пройдешь здесь, раз нельзя вернуться назад.

— Вперед, в дерьмо! — кричит первый в ряду.

Мы бросаемся туда, подавляя отвращение. Вонь становится невыносимой. Мы ступаем прямо по испражнениям и чувствуем, что в них увязают ноги.

Свищут пули.

— Нагнись!

Ход неглубок; приходится согнуться, чтобы не быть убитым, и продвигаться так по куче испражнений, усыпанных бумажками.

Наконец мы опять попадаем в проход, из которого вышли по ошибке. Мы опять пускаемся в путь. Всё идем и всё не приходим.

Ручей, протекающий по дну траншеи, смывает с наших ног вонючую, гнусную грязь; мы бредем молча, мы обалдели, мы шатаемся от усталости.

Все чаще, один за другим, грохочут орудийные залпы, и скоро начинает гудеть вся земля. Со всех сторон выстрелы или взрывы мечут беглые лучи; они рассекают смутными полосами черное небо над нашими головами. Бомбардировка так усиливается, что свет уже не угасает. Среди беспрерывных молний и раскатов грома мы ясно различаем друг друга: с касок струится вода; ремни намокли, поблескивает черное железо лопат и даже беловатые капли вечного дождя. Никогда еще я не присутствовал при подобном зрелище: поистине от пушечной пальбы возникает некий лунный свет.

Одновременно с наших и неприятельских позиций взвивается множество ракет; они объединяются в ослепительное созвездие, и в долине неба, мелькающего между брустверами, на мгновение возникает некая Большая Медведица; она освещает наш ужасающий путь.

* * *

Мы опять заблудились. На этот раз мы, наверно, совсем близко от передовой; но эта часть местности представляет собой котловину, похожую на огромную лохань, где пробегают тени.

Мы прошли траншею сначала в одном, потом в обратном направлении. Среди фосфоресцирующих залпов, прерывистых, как испорченный кинематограф, над бруствером возникают два санитара; они стараются перенести через траншею нагруженные носилки.

Лейтенант по крайней мере знает, куда надо отвести отряд; он окликает санитаров:

— Где Новый ход?

— Не знаю.

Мы из рядов спрашиваем: «Далеко боши?» Санитары не отвечают. Они переговариваются между собой. Тот, что впереди, восклицает:

— Дальше не пойду! Устал.

— Да иди, черт! — сердито кричит другой, грузно шлепая по грязи и с трудом удерживая носилки.— Не плесневеть же здесь!

Они ставят носилки на бруствер; край выступает над траншеей. Проходя внизу, видишь ноги простертого человека; дождь поливает носилки и стекает с них почерневшими каплями.

— Это раненый? — спрашивают снизу.

— Нет. Покойник,— бурчит в ответ санитар,— он весит не меньше восьмидесяти кило! О раненых я не говорю: мы носим их уже два дня и две ночи, но возиться с мертвецами!.. Мочи больше нет таскать их!.. Беда!

Санитар перекидывает ногу через ров на бруствер: раскорячась, с трудом удерживая равновесие, он хватает носилки, старается перетащить их и зовет товарища на помощь.

Немного дальше сгибается тень: это офицер в плаще с поднятым капюшоном. Он подносит руку к лицу; на рукаве поблескивают два золотых галуна.

Он, наверно, покажет нам дорогу... Но вдруг он спрашивает, не видали ли мы его батареи: он ее ищет.

Мы никогда не дойдем.

Но все-таки мы доходим.

Перед нами открывается угольно-черное поле, где торчит несколько тощих кольев; мы молча ползем во все стороны. Это здесь.

Разместить людей — трудное дело. Четыре раза нас заставляют идти вперед, потом назад, чтобы правильно

построить роту во всю длину хода, который предстоит вырыть, и чтобы между партиями было одинаковое расстояние; в каждой из них один солдат с киркой и два — с лопатами.

— Еще три шага вперед!.. Нет, много. Шаг назад! Ну, шаг назад! Оглохли?.. Стой!.. Так!..

Этим размещением руководят лейтенант и офицер саперной части, словно выросший из-под земли. Вместе или каждый в отдельности они суетятся, пробегают вдоль рядов, вполголоса выкрикивают слова команды прямо в лицо солдатам, иногда берут их за руку и ставят, куда надо. Работа, начатая в порядке, превращается в толкотню: изможденным людям беспрестанно приходится вставать с того места, куда они повалились, и они сердятся.

— Мы впереди первой линии,— тихонько говорят вокруг меня.

— Нет,— шепчут другие,— мы как раз позади.

Никто этого не знает. Дождь все льет, хотя слабей, чем раньше. Но что нам дождь! Мы растянулись на земле. Лежать в размякшей грязи так хорошо, что мы остаемся равнодушны к дождю, который покалывает нам лицо, проникает под одежду, поливает наше губчатое ложе.

Но мы едва успеваем передохнуть. Нам не дают безрассудно погубить себя отдыхом. Надо сейчас же приниматься за работу. Уже два часа ночи: через четыре часа будет светло, и немцы нас заметят. Нельзя терять ни минуты. Лейтенант говорит:

— Каждый должен вырыть полтора метра в длину, семьдесят сантиметров в ширину и восемьдесят в глубину. Значит, на каждую партию приходится четыре с половиной метра. Советую поднажать: чем раньше кончите, тем раньше уйдете отсюда.

Знаем мы эти басни! В истории полка не было случая, чтоб отряд землекопов ушел до срока, в который необходимо очистить место, чтобы не быть замеченным и уничтоженным вместе со своей работой.

Кто-то бормочет:

— Да ладно, ладно... Не стоит очки втирать. Прибереги заряд!

Но, кроме нескольких человек (их невозможно разбудить, им скоро предстоит сверхчеловеческий труд), все бодро принимаются за работу.

Мы начинаем пробивать первый пласт земли, поросший травами. Сначала работа идет легко и быстро, как все земляные работы на ровном месте, и нам кажется, что мы скоро кончим и сможем заснуть в нашей норе. Это придает нам силы.

Но оттого ли, что лопаты стучат, или оттого, что некоторые землекопы, вопреки запрещению, болтают довольно громко, наша работа привлекает внимание неприятеля: справа от нас вертикально взлетает ракета, скрежеща и чертя огненную линию.

— Ложись!

Все бросаются плашмя на землю, и бледный свет широко разливается над этим полем смерти.

Когда он погасает, люди шевелятся, встают и уже осторожней принимаются за работу.

Скоро взвивается длинный золотой стебель другой ракеты и озаряет темную линию землекопов; они ложатся и застывают опять. Потом вторая ракета, потом третья.

Вокруг раздирают воздух пули. Кто-то кричит:

— Раненый!

Проходит раненый; его поддерживают товарищи; кажется даже, что раненых много. Мелькают кучки людей; они тащат друг друга и исчезают.

Место становится опасным. Мы нагибаемся, садимся на корточки. Некоторые скребут землю, стоя на коленях. Другие работают, вытянувшись, трудятся, поворачиваются и переворачиваются, как спящие, которых мучают кошмары. Верхний пласт подавался так легко, а теперь земля становится глинистой и вязкой; ее трудно рыть; она прилипает к лопатам и киркам, как замазка. Каждый раз приходится ее соскабливать.

Уже вырастает тощий бугорок земли, каждому кажется, что он укрепит этот зачаток насыпи своей сумкой и скатанной шинелью, все прячутся за этим жалким прикрытием, когда разражается шквал...

Работая, мы потеем; как только мы останавливаемся, нас пронизывает холод. Поэтому приходится преодолевать мучительную усталость и опять приниматься за работу.

Нет, не успеем!.. Земля становится все тяжелее. Рыть все трудней. Какая-то колдовская сила противодействует нам; наши руки цепенеют. Ракеты преследуют нас, охотятся за нами, не дают нам долго двигаться, и, окаменев при каждой вспышке, мы вслед за этим должны справляться с еще более трудной задачей. Мучительно медленно, ценой тяжких страданий, мы углубляем ров.

Почва размягчается, земля словно каплет, течет и рыхло, шумно сыплется с лопаты. Наконец кто-то кричит:

— Здесь вода!

Этот крик разносится по всей цепи землекопов.

— Здесь вода. Ничего не выйдет.

— Партия Мелюсона прорыла еще глубже, и там тоже вода. Мы попали в болото!

— Ничего не выйдет!

Мы останавливаемся, не зная, что делать. Во мраке слышен стук лопат и заступов; их швыряют на землю. Унтеры ощупью ищут офицеров, чтоб спросить указаний. И кое-где, не заботясь о дальнейшем, солдаты с упоением засыпают под лаской дождя и под сверканием ракет.

* * *

Приблизительно в это время, насколько я помню, и началась бомбардировка.

Первый снаряд долетел со страшным треском; воздух, казалось, разорвался надвое; над нами уже раздавались другие свисты, как вдруг от первого взрыва, среди величия ночи и ливня, приподнялась земля, и на возникшем багровом экране взмахнули руки.

Наверно, при свете ракет неприятель нас заметил, и прицел оказался правильным...

Солдаты бросились, скатились в вырытый ими, затопленный водой ров. Забились туда, зарылись, окунулись, прикрыв голову железом лопат. Справа, слева, спереди, сзади снаряды падали так близко, что от каждого взрыва мы сотрясались. Скоро плоть этого мрачного желоба, набитого людьми, покрытого лопатами, как чешуей, затряслась непрерывной дрожью под клубами дыма и вспышками пламени. На освещенном поле выли снаря-

ды, взлетали во всех направлениях обломки и осколки. Не прошло и секунды, как все уже подумали то же самое, что бормотали несколько человек, уткнувшись носом в землю:

— Ну, теперь нам крышка!

Впереди, недалеко от того места, где лежал я, поднялась тень и крикнула:

— Давай уходить!

Простертые тела высунулись из-под савана грязи, стекавшей с них жидкими лохмотьями; эти призраки крикнули:

— Давай уходить!

Мы стояли на коленях, на четвереньках; мы поползли по канаве.

— Подвигайтесь! Да ну, подвигайтесь!

Но длинная вереница не шевелилась. Неистовые крики на нее не действовали. Те, что были в самом конце канавы, не двигались и преграждали путь всем нам.

Через лежавших, как через обломки, переползли раненые; они оросили всю роту своей кровью.

Наконец мы узнали причину нашей безнадежной неподвижности:

— Там, в конце рва,— заграждение!

Солдатами, находившимися здесь, как в тюрьме, овладела паника; послышались нечленораздельные звуки; люди метались на месте и вопили. Но как бы ничтожно ни было убежище в едва намечающемся рву, никто не смел вылезти из этого углубления и подняться над уровнем земли, чтобы бежать от смерти к поперечной траншее, наверно находившейся поблизости... Раненые, которые переползали через живых, подвергались большой опасности; ежеминутно в них попадали пули, и они летели опять вниз, на дно рва.

Всюду поистине низвергался, лил и сливался с дождем огненный дождь. Мы сотрясались с головы до ног, оглушенные сверхъестественным грохотом. Вокруг спускалась, и скакала, и ныряла в волны света отвратительнейшая из всех смертей. Ослепляя нас, она отвлекала наше внимание то в одну, то в другую сторону. Плоть готовилась к чудовищному самопожертвованию! И только в эту минуту ужаса мы вспомнили, что уже не раз испытывали и претерпевали этот воющий, жгучий, вонючий ливень картечи. Только во время новой бомбарди-



ровки по-настоящему вспоминаешь те, которые уже перенес.

И опять безостановочно ползли другие раненые, пытаясь бежать от смерти; они наводили ужас; при соприкосновении с ними мы стонали и твердили про себя:

— Мы отсюда не выйдем живыми; никто не выйдет живым!

Внезапно в толпе людей образовалась брешь; все повалили назад, прочь отсюда.

Мы поползли, потом побежали, согнувшись, по грязи и воде, сверкавшей багровыми отблесками и отсветами; мы шатались и падали, спотыкались о неровности дна, мы сами были похожи на тяжелые снаряды, гонимые громом над самой землей.

Мы пришли к концу рва, который недавно принялись рыть.

— Окопов больше нет! Ничего нет!

Действительно, на равнине, где начались наши земляные работы, глаз не обнаруживал убежища. Даже под стремительным полетом ракет видна была только равнина, огромная, ужасающая пустыня. Траншея, наверно, была недалеко: ведь мы пришли сюда по ходам сообщения. Но как найти ее?

Дождь усилился. На минуту мы остановились в мрачной нерешительности; мы столпились на краю испепеленного, неизвестного мира. И вдруг мы бросились бежать кто куда. Одни устремились влево, другие — вправо, третьи — прямо вперед, и всех нас, совсем маленьких, видимых лишь мгновение, среди гремящего дождя, разделили завеса огненного дыма и черные обвалы.

* * *

Бомбардировка ослабела. Она бушевала больше всего в том месте, которое мы уже покинули. Но с минуты на минуту она могла смести и уничтожить все.

Дождь хлестал все неистовей. Это был потоп в ночи. Над нами навис такой непроницаемый мрак, что ракеты освещали только затуманенные, исполосованные дождем куски равнины, по которой шли, бежали, метались растерянные призраки.

Трудно сказать, сколько времени я бродил с нашим отрядом. Мы шли через рытвины. Напрягая взгляд, мы старались пробраться к насыпи и рву, к траншее, к этой гавани спасения, затерянной где-то там, в бездне.

Наконец сквозь грохот битвы и стихий раздался бодрящий крик:

— Траншея!

Но вдруг насыпь зашевелилась. Здесь оказались люди: они отделялись от нее и разбегались.

— Не останавливайтесь здесь, ребята! — закричали нам беглецы.— Не подходите! Беда! Все валится. Окопы ползут к чертовой матери, землянки закупорены! Все затопила грязь! Завтра утром окопов больше не будет. Конец всем здешним окопам!

Мы двинулись дальше. Куда? Мы забыли спросить дорогу, а едва эти промокшие люди показались, их поглотила тьма.

Среди этого опустошения рассыпался даже наш маленький отряд. Мы больше не знали, с кем идем. Каждый шел куда глаза глядят; то один, то другой исчезал во мраке, ища спасения.

Мы поднимались и спускались по склонам. Я заметил согнувшихся, сгорбленных людей; под глухими зарницами они карабкались по скользкому скату; грязь тянула их назад; ветер и дождь отталкивали их.

Мы попали в болото; мы увязали по колено. Мы шли, высоко поднимая ноги и шумно расплескивая воду, как пловцы. Мы продвигались еле-еле, с каждым шагом все медленней и мучительней.

Здесь мы почувствовали приближение смерти, но вдруг наткнулись на какую-то глиняную плотину, пересекавшую болото. Мы пошли по скользкой поверхности этого жалкого островка, и раз, чтобы не сорваться вниз с рыхлого извилистого хребта, нам пришлось согнуться и подвигаться, держась руками за мертвецов, почти затонувших здесь. Я нащупал плечи, окаменелые спины, лицо, холодное, словно каска, и трубку, зажатую в зубах.

Мы выбрались отсюда, приподняли головы и услышали недалеко голоса.

— А-а! Голоса! Голоса!

Они показались нам такими сладостными, как будто

кто-то называл нас по именам. Мы все вместе подошли ближе, чтобы послушать этот братский шепот.

Голоса зазвучали явственней; они раздавались из-за пригорка, открывшегося перед нами, как оазис, а между тем мы не могли разобрать слова. Звуки смешивались; мы ничего не понимали.

— Что это они говорят? — как-то странно спросил один из нас.

Мы бессознательно перестали искать дорогу.

Нас охватило беспокойство. У нас возникло подозрение. Вдруг мы расслышали отчетливо произнесенные слова:

— Achtung!.. Zweites Geschütz! Schuss... [1].

И сзади на этот телефонный приказ отозвался пушечный залп.

Мы остолбенели от удивления и ужаса.

— Где мы? Разрази гром! Где мы?

Мы повернули, но все-таки медленно; мы отяжелели от усталости и сожаления, мы побрели, пронзенные болью, словно множеством пуль; нас притягивала вражеская земля; у нас еле хватало сил отказаться от заманчивой возможности умереть здесь же.

Мы вышли на широкую равнину. Мы остановились, бросились на землю у пригорка и не могли двинуться дальше.

Мы больше не шевелились. Дождь хлестал нас по лицу, стекал по спине и груди, проникал сквозь суконные штаны, наполнял водой башмаки.

На рассвете нас, может быть, убьют или возьмут в плен. Но мы не думали больше ни о чем. Мы больше не могли, больше ничего не знали.

XXIV

ЗАРЯ

На том месте, где мы свалились от усталости, мы ждем рассвета. Он приближается понемногу, ледяной, зловещий; он озаряет свинцовое пространство.

Дождь перестал. В небе его больше нет. Свинцовая равнина с зеркалами потускневшей воды, казалось, вышла не только из ночи, но из моря.

---

[1] Слушай!.. Второе орудие! Огонь... *(нем.)*

Полусонные, мы иногда приоткрываем глаза, цепенеем от холода, изнемогаем; мы присутствуем при зрелище невероятного возвращения света.

Где же окопы?

Видны только озера и среди этих озер линии молочно-белой стоячей воды.

Воды еще больше, чем мы думали. Вода затопила все; она разлилась повсюду, и предсказание встреченных нами солдат сбылось: окопов больше нет. Эти каналы — погребенные окопы. Это всемирный потоп. Поле битвы не спит, оно погибло. Там, вдали, жизнь, может быть, продолжается, но где — не видно.

Чтоб это увидеть, я встаю с трудом, пошатываясь, как больной, и ложусь опять. Шинель страшной тяжестью притягивает меня к земле. Рядом со мной три бесформенные глыбы. Одна из них — Паради; он покрыт необычайно толстой корой грязи, на месте подсумков у пояса что-то раздулось; Паради тоже встает. Остальные спят и не двигаются.

А почему такая тишина? Небывалая тишина. Ни звука; только время от времени, среди этого невероятного оцепенения мира, в воду падает ком земли. Никто не стреляет... Снарядов нет: они не разрываются. Пуль нет: ведь люди...

Люди? Где люди?

Мало-помалу удается их разглядеть. Некоторые спят недалеко от нас; с головы до ног они покрыты грязью почти превращены в неодушевленные предметы.

На некотором расстоянии я различаю других: они свернулись, как улитки, прилипшие к насыпи, округленной и наполовину поглощенной водами. Это неподвижный ряд грубых свертков; по ним течет вода и грязь; эти люди такого же цвета, как и земля, с которой они смешались.

Я стараюсь прервать молчание; я спрашиваю у Паради (он тоже смотрит в их сторону):

— Это убитые?

— Сейчас увидим,— вполголоса отвечает он.— Полежим здесь немножко. Наберемся сил и пойдем к ним.

Мы переглядываемся и смотрим на тех, кто свалился здесь. У всех изможденные лица; это даже не лица; это нечто грязное, стертое, измученное; глаза налились

кровью. С начала войны мы видели друг друга во всех видах, и все-таки никто никого больше не узнает.

Паради всей своей тушей оборачивается и смотрит в другую сторону.

Вдруг я замечаю, что его пробирает дрожь. Он протягивает огромную руку, покрытую корой грязи, бормочет:

— Там... там!..

По воде, выступающей из траншеи, на участке, исполосованном, изрезанном рвами, плавают какие-то круглые рифы.

Мы плетемся к ним. Это — утопленники.

Их головы и руки погружены в воду. Спины с ремнями просвечивают сквозь известковую жижу; голубые полотняные куртки вздулись; черные ступни вывороченны и насажены криво на распухшие ноги, как ступни, прилаженные к ногам уродливых кукол. Волосы торчат дыбом, как водяные травы. Вот на самой поверхности виднеется лицо; запрокинутая голова лежит на краю насыпи; тело исчезло в зыбкой могиле. Мертвец уставился в небо. Желтая, одутловатая кожа этой маски кажется дряблой и сморщенной, как остывшее тесто.

Это — часовые; они стояли здесь. Они не ранены: если бы они были ранены, это было бы видно по цвету воды. Они не могли выкарабкаться из грязи. Они старались вылезти из этой отвесной, вязкой ямы, которая медленно, неизбежно наполнялась водой, но их все больше тянуло на дно. Они погибли, цепляясь за оползающую землю.

Там — наши передовые линии, а там — такие же молчаливые и затопленные окопы немцев.

Мы идем к этим рыхлым развалинам. Мы проходим по равнине, которая еще вчера была областью ужаса; у этой страшной границы, наверно, остановилась в своем порыве наша последняя атака; здесь полтора года пули и снаряды безостановочно бороздили пространство, а на днях их косые линии бешено скрестились над равниной от горизонта к горизонту.

Теперь это — сверхъестественное поле отдыха. Оно устлано людьми: они спят или тихонько шевелятся, приподнимают руку, приподнимают голову, оживают или медленно умирают.

Неприятельская траншея окончательно гибнет, погружается на дно глубоких низин, болотистых воронок, заваленных грязью, и образует полосу луж и колодцев. Местами еще торчащие края движутся, дробятся и опускаются. В одном месте в эти глубины можно заглянуть.

В этой умопомрачительной грязи нет трупов. Но вот нечто страшней трупа: рука, одинокая, голая, белая, мертвенная, словно камень; она торчит из дыры, которая смутно обозначается в стене сквозь воду. Здесь солдат был заживо погребен в убежище; он только успел высунуть руку.

Подойдя совсем близко, замечаешь, что кучи земли, наваленные в ряд на остатки укреплений этой засыпанной бездны,— человеческие существа. Они умерли? Спят? Неизвестно. Во всяком случае, отдыхают.

Это немцы или французы? Неизвестно.

Один из них открыл глаза и смотрит на нас, покачивая головой. Мы его спрашиваем:

— Француз?

Потом по-немецки:

— Немец?

Он не отвечает, опять закрывает глаза и возвращается в небытие. Мы так и не узнали, кто он.

Невозможно определить происхождение этих существ ни по их одежде, покрытой пластами грязи, ни по головному убору (голова не покрыта или повязана шерстяной тряпкой под мокрым вонючим капюшоном), ни по оружию (в руках не винтовка, а что-то длинное, липкое, похожее на странную рыбу).

Перед нами и за нами — люди с мертвенными лицами, лишенные дара речи и воли, люди, отягченные землей, облекшей их в черный саван,— все они похожи друг на друга, словно голые. Из этой ужасающей ночи со всех сторон появляются выходцы с того света, облаченные в одинаковые мундиры беды и грязи.

Это конец всего, конец всему. Это огромная передышка на одно мгновение, это эпическое прекращение войны.

Раньше я думал, что страшнейший ад войны — пламя снарядов; потом я долго думал, что это — удушливые, вечно суживающиеся подземелья. Но оказалось, ад — это вода.

Поднимается ветер. Ледяной ветер. Нас пронизывает его ледяное дыхание. На затопленной равнине, усеянной телами, между червеобразными безднами вод между островками неподвижных людей, слипшихся, как пресмыкающиеся, над этим хаосом, который распластывается и тонет, чуть обозначается какое-то движение. Здесь медленно перемещаются отряды, звенья караванов, составленных из существ, согнувшихся под тяжестью касок и грязи; эти существа плетутся, рассеиваются и исчезают в тусклых далях. Заря так грязна, что кажется: день кончился.

Уцелевшие люди переселяются, кочуют по этой опустошенной степи, гонимые, изнуренные, устрашенные великой несказанной бедой, жалкие; некоторые ужасающе смешны: засасывающая грязь, от которой они бегут, их почти раздела.

Проходя, они озираются, вглядываются, узнают в нас людей и кричат сквозь ветер:

— Там еще хуже, чем здесь! Наши ребята падают в ямы, их уже нельзя вытащить. Кто этой ночью ступил ногой на край ямы, погиб... Там, откуда мы идем, из земли торчат голова и плечи; они еще шевелятся, а все тело уже засосала грязь. Там есть дорога с плетеным настилом; кое-где он подался, прорвался, и теперь это западня... А там, где больше нет настила, теперь озеро в два метра глубины... А ружья! Некоторые ребята так и не смогли их вытащить. Поглядите на этих: пришлось отрезать до пояса полы их шинелей (черт с ними, с карманами!), чтобы вызволить людей, но у них и сил больше не хватало тащить эту тяжесть... С нашего Дюма едва удалось снять шинель: она весила не меньше сорока кило, мы вдвоем еле-еле подняли ее... А вот с этого голоногого земля сорвала все: штаны, кальсоны, башмаки. Неслыханное дело!

Они рассыпаются в разные стороны, а за этими отставшими солдатами плетутся еще другие; все спасаются, охваченные ужасом; из-под ног летят тяжелые комья грязи. Беглецы мало-помалу исчезают; закутанные громады всё уменьшаются.

Мы встаем. Под ледяным ветром мы качаемся, как деревья.

Мы подвигаемся мелкими шажками. Вдруг мы сворачиваем в сторону — нас привлекает странное зрели-

ще: две фигуры странно переплелись; они стоят плечом к плечу, обняв друг друга за шею. Что это? Поединок двух врагов, застигнутых смертью? Они застыли в этом положении и больше не могут отпустить друг друга? Нет, они оперлись друг о друга, чтобы поспать. Они не могли лечь на землю; она уходила из-под них и сама хотела на них лечь; они нагнулись, обхватили друг друга за плечи и, увязнув по колени, заснули.

Мы не нарушаем их покоя и уходим прочь от этого памятника беспомощной братской любви.

Скоро мы и сами останавливаемся. Мы слишком понадеялись на свои силы. Мы не можем идти дальше. Это еще не кончено. Мы опять сваливаемся в размякший угол траншеи и шлепаемся о землю, как сбрасываемый навоз.

Мы закрываем глаза. Время от времени мы их приоткрываем.

К нам, шатаясь, идут какие-то люди. Они нагибаются и тихо, устало говорят между собой. Один из них бормочет:

— Sie sind tot. Wir bleiben hier [1].

Другой отвечает «Ja» [2]. Это слово звучит, как вздох.

Но они замечают, что мы шевелимся. Они сейчас же подходят к нам. Человек чуть слышно говорит:

— Мы поднимаем руки.

Они с облегчением вздыхают, ложатся на землю, и, словно это конец их мучениям, один из них, разрисованный грязью, как дикарь, пытается улыбнуться.

— Оставайся здесь! — отвечает ему Паради, не поворачивая головы: он положил ее на бугорок.— Если хочешь, можешь пойти с нами.

— Да,— говорит немец.— С меня довольно.

Мы ему не отвечаем.

Он спрашивает:

— А другим можно?

— Да,— отвечает Паради,— если хотят, пусть тоже остаются.

Все четверо растянулись на земле.

Один из них начинает хрипеть. Из его груди вырывается какая-то рыдающая песнь. Тогда другие привстают, становятся на колени вокруг него, глаза их широко

[1] Они умерли. Останемся здесь (*нем.*).

[2] Да (*нем.*).

открыты. Мы приподнимаемся и смотрим на них. Хрип затихает, и черноватое горло, которое трепетало, как птичка, больше не двигается.

— Er ist tot! [1] — говорит кто-то из немцев.

Он начинает плакать. Другие опять укладываются спать. Плачущий тоже засыпает.

Подходят несколько солдат; они шатаются, внезапно останавливаются, как пьяные, или ползут, как черви; они хотят укрыться здесь в углублениях, куда мы уже забились, и мы засыпаем вповалку в этой братской могиле.

* * *

Мы просыпаемся. Переглядываемся. Мы с Паради вспоминаем. Мы возвращаемся к жизни, к дневному свету, к кошмару. Перед нами опять пустынная равнина с мелкими затопленными бугорками, местами как бы заржавленная равнина цвета стали; здесь блестят канавы и ямы, полные воды, и на всем пространстве, как нечистоты, валяются тела; они еще дышат или истлевают.

Паради говорит мне:

— Это и есть война!

— Да, это и есть война,— глухо повторяет он.— Именно это, а не что-нибудь другое.

Я понимаю, что он хочет сказать: «Война — это не атака, похожая на парад, не сражение с развевающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война — это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела и трупы, всплывающие над прожорливой землей и даже не похожие больше на трупы. Да, война — это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»

Для Паради это ясно; он вспоминает нашу прогулку в городе и ворчит:

— Помнишь ту бабенку в кафе? Она болтала об

---

[1] Он мертв! *(нем.)*

атаках, пускала слюни и говорила: «Ах, это, наверно, очень красиво...»

Стрелок, который лежит на животе в гнусной грязи, распластавшись, как плащ, поднимает голову и восклицает:

— «Красиво»! Да, черта с два! Нечего сказать! Может быть, корова тоже говорит «красиво», когда на бойни в Ла Вийет гонят стадо быков.

Он сплевывает грязью; рот у него выпачкан, лицо мертвенное.

— Пусть говорят: «Так надо!» — бормочет он прерывистым, надорванным голосом.— Ладно. Но «красиво»! Черта с два! — Он отмахивается от этой мысли. И бешено восклицает: — Потому и говорят, что им на нас начхать!

Он опять сплевывает, но, обессилев, падает в свою грязевую ванну и кладет голову на собственный плевок.

* * *

Преследуемый своими мыслями, Паради окидывает взглядом неописуемую картину местности и, не отрываясь от нее, говорит:

— Это и есть война!.. И так везде! Кто мы такие и что здесь такое? Ничего. Все, что мы видим, это только одна точка. Помни, что сегодня утром в мире на протяжении трех тысяч километров происходят такие же, или приблизительно такие же, несчастья или еще похуже!

— И, кроме того,— говорит товарищ (он лежит рядом с нами, а мы его не узнаем даже по голосу),— завтра начнется то же самое. Ведь все это уже началось сызнова позавчера и несколько дней тому назад!

Стрелок с усилием, как будто разрывая грязь, отдирается от земли, где под ним образовалось углубление, похожее на мокрый гроб, и садится в этой яме. Он моргает, встряхивает головой, чтоб очистить лицо от комьев прилипшей грязи, и говорит:

— На этот раз мы еще выживем! И кто знает, завтра, может быть, тоже! Кто знает!

Паради, покрытый тяжелыми пластами черной и желтой грязи, старается выразить мысль о том, что

войну трудно даже представить и измерить во времени и пространстве.

— Когда говорят о войне вообще,— размышляет он вслух,— как будто не говорят ничего. Слова застревают в горле. Мы здесь смотрим на это, как слепые...

Немного дальше гудит бас:

— Да, все это невозможно себе представить.

При этих словах кто-то внезапно разражается смехом.

— Да и как это представить себе, не побывав здесь?

— Для этого надо рехнуться! — говорит стрелок.

Паради нагибается к телу, лежащему рядом с ним.

— Спишь?

— Нет, но никуда не двинусь,— сдавленным испуганным голосом отвечает комок, покрытый илистым чехлом, таким бугорчатым, как будто его истоптали.— Вот что я тебе скажу: у меня, наверно, пробит живот. Но я в этом не уверен, а посмотреть боюсь.

— Давай поглядим...

— Нет, пока не надо,— отвечает раненый.— Я еще немножко полежу.

Другие слабо шевелятся, шлепают, ползут на локтях; сбрасывают с себя адский липкий, давящий покров. Понемногу у этих мучеников оцепенение холода проходит, хотя дневной свет больше не разгорается над болотом. Вид равнины становится все безотрадней.

Раздается голос, печальный, как похоронный звон:

— Сколько ни рассказывай потом, все равно не поверят. Не по злобе, не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а так; просто не смогут поверить. Если будешь еще жив, и сможешь ввернуть словечко, и когда-нибудь скажешь: «Мы ходили на ночные работы, нас обстреливали, мы чуть не утонули в болоте», тебе ответят: «А-а» и, может быть, прибавят: «Небось, невесело было, туго вам пришлось!» Вот и все. Никто не узнает. Знать будем мы одни.

— Нет, мы сами забудем, даже мы сами! — восклицает кто-то.

— Конечно, забудем... Мы, брат, уже забываем!

— Мы всего натерпелись!

— И каждая новая беда переполняет чашу. Мы не так устроены, чтобы все это вместить... Мысли растекаются, мы слишком малы.

— Конечно, все забывается! Не только все великие и неисчислимые беды за все время, что это продолжается: переходы, когда стонет земля, ноги стерты в кровь, кости болят, а ноша как будто растет до небес, или дни, когда от усталости забываешь даже свое имя, когда приходится топтаться на месте, когда приходится стоять, не двигаясь, и уже не держишься на ногах; непосильный труд, бесконечные ночи, когда борешься со сном, подстерегаешь врага (а он везде) или когда ложишься спать, а вместо подушки навоз и вши. Забываешь даже снаряды, пулеметы, мины, удушливые газы и контратаки. Мы видим все, как оно есть, только в те минуты, когда это происходит. Но все это забывается, уходит неизвестно как, неизвестно куда, и остаются только имена, только названия, как в военной сводке.

— Это правильно,— говорит человек, не поворачивая головы, которая словно торчит из ошейника для пыток.— Когда я был в отпуску, я заметил, что забыл немало вещей из моей прежней жизни. Несколько своих писем я перечитал, как новую книгу. И все-таки, несмотря на это, я забыл, как мучился на войне. Люди и думают-то немного, но больше всего забывают. Они ведь машины забвения. Вот что такое люди.

— Значит, никто, даже мы сами этого не запомним! Значит, все это горе окончательно забудется!

Ко всем их страданиям прибавляется еще весть об этом неизбежном великом бедствии; люди сгибаются еще ниже и приникают к жалкому клочку земли, уцелевшему от потопа.

— Эх! Если б об этом помнили!

— Если бы об этом помнили,— говорит другой,— войны больше не было бы!

Третий, в заключение, произносит прекрасные слова:

— Да, если б об этом помнили, война не была б так бесполезна.

Но вдруг кто-то привстает, стряхивает с обеих рук грязь и, черный, как большая увязшая летучая мышь, глухо кричит:

— После этой войны больше не должно быть войн!

В этом углу нас, еще слабых, беспомощных, ветры хлещут и треплют так сильно, что поверхность почвы сотрясается, словно обломок среди потопа, и этот крик человека, как будто желающего улететь, вызывает такие же крики:

— После этой войны больше не должно быть войн!

Мрачные, гневные возгласы этих людей, прикованных к земле, вросших в землю, раздаются все громче и разносятся ветром:

— Довольно войн! Довольно войн!

— Да, довольно!

— Воевать глупо! Глупо! — бормочут они.— Да и что это все означает, все это, о чем нельзя даже рассказать?

Они ворчат, рычат, как звери, столпившись на клочке земли, который хочет отнять у них стихия. На их лицах висят изодранные маски. Их возмущение так велико, что они задыхаются.

— Мы созданы, чтобы жить, а не околевать здесь!

— Люди созданы, чтобы быть мужьями, отцами, людьми, а не зверьми, которые друг друга ненавидят, травят, режут!

— И везде, везде — звери, дикие звери, загнанные, загубленные звери. Погляди, погляди!

...Я никогда не забуду этих беспредельных полей; грязная вода смыла все краски, срыла все выступы, смешала все очертания; изъеденные жидкой грязью поля расползаются и растекаются во все стороны, заливая искромсанные сооружения из кольев, проволок, балок, и среди этих мрачных стиксовых просторов сила рассудка, логики и простоты вдруг потрясла этих людей, как безумие.

Их явно волнует и мучает мысль: попробовать зажить настоящей жизнью на земле и стать счастливыми. Это не только право, но и обязанность, и конечная цель, и добродетель; ведь общественная жизнь создана только для того, чтобы облегчать каждому личную внутреннюю жизнь.

— Жить!

— Нам!.. Тебе!.. Мне!.. Всем!..

— Довольно войн! Эх!.. Воевать глупо!.. Больше того... Хуже...

Эта смутная мысль, этот отрывистый ропот порождает отклик... Кто-то поднимает голову, увенчанную грязью, и, открыв рот на самом уровне земли, произносит:

— Сражаются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия!

* * *

— Да и кто мы такие вот уже два года? Несчастные, невообразимо несчастные люди, да еще и дикари, бандиты, мерзавцы, скоты!

— Хуже!— бормочет солдат, не находя другого выражения.

— Да, согласен!

В это скорбное утро люди, измученные усталостью, иссеченные дождем, потрясенные целой ночью грохота, уцелев от ураганного огня и наводнения, начинают постигать, до какой степени война и физически и нравственно отвратительна; она не только насилует здравый смысл, опошляет великие идеи, толкает на всяческие преступления, но и развивает все дурные инстинкты: себялюбие доходит до жестокости, жестокость — до садизма, потребность наслаждаться граничит с безумием.

Они представляют себе все это, как недавно смутно представляли свои бедствия. Их гнев рвется наружу; они пробуют выразить его словами, стонут, орут. Они как бы силятся освободиться от заблуждения, от невежества, которое пятнает их душу, как грязь — тело, и хотят наконец узнать, за что эта кара.

— Так как же? — восклицает кто-то.

— Как же? — повторяет другой еще настойчивей. Ветер потрясает затопленные пространства и человеческие глыбы, простертые или коленопреклоненные, неподвижные, словно камни и плиты.

— Войн больше не будет, когда не будет больше Германии! — кричит какой-то солдат.

— Нет, не так надо сказать! — восклицает другой.— Это еще не все.

Завывание ветра почти заглушает эти слова, тогда солдат поднимает голову и повторяет их.

— Германия и милитаризм одно и то же! — яростно отчеканивает другой.— Это немцы захотели воевать и подготовили войну. Германия — это милитаризм.

— Милитаризм...— повторяет другой.

— А что это такое? — спрашивают его.

— Это... это значит быть разбойниками.

— Да. Ты вот говоришь, что сегодня милитаризм зовется Германией. А завтра как его будут звать?

— Не знаю,— отвечает кто-то низким голосом, звучащим, как голос пророка.

— Надо... Надо...

— Надо драться! — хрипло бурчит какая-то глыба, которая со времени нашего пробуждения каменела во всепожирающей грязи.— Надо! (Это тело грузно переворачивается.) Надо отдать все, что у нас есть, наши силы, нашу шкуру, наше сердце, всю нашу жизнь, все радости, что нам еще остались! За это каторжное существование надо еще хвататься обеими руками. Надо все вынести, даже несправедливость, которая царит кругом, и позор, и всю мерзость, надо целиком отдаться войне, чтобы победить! Но если надо принести такую жертву,— в отчаянии прибавляет человек-глыба, повернувшись еще раз,— то потому, что мы воюем ради всеобщего блага, а не ради какой-нибудь страны, против заблуждения, а не против какой-нибудь страны.

— Нет,— возражает первый собеседник,— надо убить войну во чреве всех стран!

— А все-таки,— бурчит стрелок, сидя на корточках,— некоторые воюют, и у них в голове другая мысль. Я видел молодых, им плевать было на идеи. Для них главное — национальный вопрос, а не что-нибудь другое; для них война — вопрос родины: каждый хочет возвеличить свою родину за счет других стран. Эти парни воевали, и хорошо воевали.

— Эти ребята молоды. Они молоды! Их надо простить.

— Можно хорошо работать и не знать хорошенько, что делаешь.

— А правда, люди — сумасшедшие! Это всегда нужно помнить!

— Шовинисты — это вши...— ворчит какая-то тень.

Они повторяют несколько раз, словно продвигаясь ощупью:

— Надо убить войну! Да, войну! Ее самое!

Тот, кто вобрал голову в плечи и не поворачивался, упорствует:

— Все это одни разговоры. Не все ли равно, что думать! Надо победить, вот и все!

Но другие уже начали доискиваться истины. Они хотят узнать, заглянуть за пределы настоящего времени. Они волнуются, стараясь зажечь в себе свет мудрости и воли.

В их голове роятся разрозненные мысли, с их уст срываются нескладные речи:

— Конечно... Да... Но надо понять самую суть... Да, брат, никогда нельзя терять из виду цель.

— Цель? А разве победить в этой войне — не цель? — упрямо говорит человек-тумба.

Двое в один голос отвечают ему:

— Нет!

* * *

В эту минуту слышится глухой шум. Вокруг раздаются крики; мы вздрагиваем.

Целая глыба земли оторвалась от пригорка, к которому мы кое-как прислонились, и обнажила чей-то труп. Он сидит, вытянув ноги.

От обвала вода, скопившаяся на верхушке бугра, прорвалась, потоками полилась на труп и на наших глазах омыла его.

Мы кричим:

— У него совсем черное лицо!

— Что это за лицо? — задыхаясь, спрашивает кто-то.

Живые собираются в кружок, как жабы. Эту голову, выступающую, словно барельеф, на стене, обнаженной обвалом, невозможно разглядеть.

— Лицо? Да ведь это не лицо!

Вместо лица — волосы.

Вдруг мы замечаем, что этот как будто сидящий труп лежит на животе, согнут и вывернут.

Молча, в ужасе мы глядим на эту вертикальную спину вывихнутого трупа, торчащую вместо груди, на

повисшие, закинутые назад руки и вытянутые ноги, упирающиеся в мокрую землю кончиками пальцев.

Наш спор, прерванный появлением этого страшного мертвеца, возобновляется. Кто-то яростно кричит, как будто труп его слушает:

— Нет! Надо одолеть не бошей, а войну!

— Что ж, ты не понимаешь, что надо раз навсегда покончить с войной? Если это откладывать, все, что мы сделали, пойдет прахом. Окажется ни к чему. Пройдут еще два или три года, или еще больше, а мы все будем мучиться понапрасну.

* * *

— Эх, брат, если все, что мы вынесли, еще не конец этой великой беды, лучше умереть. Я дорожу жизнью: у меня жена, дети, дом, у меня виды на будущее после войны... И все-таки уж лучше умереть.

— Я умру сейчас,— как эхо, отзывается сосед Паради (он, наверно, взглянул на свою рану),— мне жалко умирать, ребят жалко!

— А мне,— шепчет другой,— не жалко умирать: я умираю ради своих детей. Я умру; значит, я знаю, что говорю, и я говорю: «Им не придется воевать!»

— А я, может быть, не умру,— говорит третий, весь трепеща от надежды, которую не может скрыть даже перед обреченными,— но я буду мучиться. Так вот, я говорю: «Тем хуже», я даже говорю: «Тем лучше»; я готов страдать еще больше, если буду знать, что это на что-нибудь пригодится!

— Значит, после войны придется еще воевать?

— Да, может быть...

— А ты хочешь еще драться?

— Да, потому что я больше не хочу войны,— ворчит кто-то.

— И придется драться, может быть, не с иностранцами.

— Да, может быть...

Налетает порыв ветра, сильней других; мы закрываем глаза и задыхаемся. Но шквал уносится, подхватывая, подбрасывая комья грязи, взбаламучивая воду в траншеях, зияющих, как могила целой армии. Мы продолжаем:

— В конце концов, в чем величие войны?

— В величии народов.

— Но ведь народы — это мы!

Солдат, сказавший это, вопросительно смотрит на меня.

— Да,— отвечаю я,— да, друг, правильно! Сражаются только нашими руками. Материал войны — это мы. Война состоит только из плоти и душ простых солдат. Это мы образуем целые равнины мертвецов и реки крови, все мы, но каждый из нас незаметен: ведь нас великое множество. Опустошенные города, разрушенные деревни, вся эта пустыня — мы. Да, все это мы, только — мы!

— Война — это народы; без них не было бы ничего, ничего, кроме какой-нибудь перебранки на расстоянии. Но решают войну не народы, а хозяева, которые ими правят.

— Теперь народы борются за то, чтоб избавиться от этих хозяев! Нынешняя война как бы продолжение нашей революции.

— Значит, мы работаем и на пруссаков тоже?

— Да, надо надеяться, что и на них,— отвечает кто-то из этих несчастных солдат.

— Ну нет, черта с два! — заскрежетав зубами, восклицает стрелок.

Он покачивает головой и замолкает.

— Позаботимся о себе! Не надо совать нос в чужие дела,— сердито бурчит упрямец.

— Нет, надо... Ведь те, кого ты называешь «чужими», совсем не чужие, а такие же люди, как и мы!

— Почему это всегда мы работаем на всех и за всех?

— Да так,— отвечает кто-то и повторяет: «Тем хуже или тем лучше!»

— Народы — ничто, а они должны стать всем,— говорит солдат, вопросительно глядевший на меня; он произнес, не подозревая этого, историческую фразу, которой больше ста лет, но придал наконец этим словам великий всемирный смысл.

И человек, спасшийся от бури, встает на четвереньках в грязи, поднимает голову; лицо у него обезображено, как у прокаженного. Он жадно вглядывается в беспредельные дали.

Он глядит, глядит. Он старается открыть врата неба.

* * *

— Народы должны столковаться через головы тех, кто так или иначе их угнетает. Одно великое множество должно столковаться с другим.

— Все люди должны наконец стать равными.

Эти слова приходят к нам на помощь.

— Равными... Да... Да... Существуют великие начала справедливости, истины. В них веришь, обращаешься к ним, как к свету. И главное начало — равенство.

— Есть еще свобода и братство.

— Но главное — это равенство!

Я говорю им, что братство — мечта, смутное чувство, лишенное содержания; человеку не свойственно ненавидеть незнакомца, но так же не свойственно его любить. На братстве ничего не построишь. На свободе тоже; она слишком относительна в обществе, где все неизбежно зависят друг от друга.

Но равенство всегда остается самим собой. Свобода и братство — только слова, а равенство — это нечто существенное. Равенство — это великая истина людей.

Эти люди из народа провидят еще неведомую им Революцию, превосходящую все прежние; они сами являются ее источником: слово уже поднимается, поднимается к их горлу, и они повторяют:

— Равенство!..

Они как будто по слогам произносят это слово: они ясно читают его везде, и любой предрассудок, преимущество и несправедливость рушатся от одного соприкосновения с ним. Это ответ на все, это — величественное слово. Они повторяют его на все лады и находят его совершенным. И даже взрывы снарядов сверкают для них ослепительным светом.

— Это было бы прекрасно! — восклицает один.

— Это слишком прекрасно и потому несбыточно! — говорит другой.

Но третий возражает:

— Это прекрасно потому, что это — истина. Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота не

в ходу, как и любовь. Это неизбежно потому, что это — истина.

— Что ж, раз народы хотят справедливости и раз народы — сила, пусть же они установят царство справедливости.

— За это уже принялись! — говорит кто-то.

— Это дело не за горами,— возвещает другой.

— Когда все люди станут равными, им придется объединиться.

— И тридцать миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления.

Это правда. Тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелятся противопоставить словам: «И тридцать миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления»?

Я слушаю, слежу за развитием мысли этих людей, заброшенных на это поле скорби; эти слова исторгнуты раной, болью, эти слова истекают кровью.

И вот небо мрачнеет. Внизу от тяжелых туч оно синеет и покрывается броней. Вверху, на небольшой светящейся полоске, его пересекают вихри водяной пыли. Погода портится. Опять польет дождь. Буря и страдания все еще не кончились.

Кто-то говорит:

— Нас спросят: «В конце концов для чего воевать?» Для чего, мы не знаем; но для кого, это мы можем сказать. Ведь если каждый народ ежедневно приносит в жертву идолу войны свежее мясо полутора тысяч юношей, то только ради удовольствия нескольких вожаков, которых можно по пальцам пересчитать. Целые народы, выстроившись вооруженным стадом, идут на бойню только для того, чтобы люди с золотыми галунами, люди особой касты, могли занести свои громкие имена в историю и чтобы другие позолоченные люди из этой же сволочной шайки обделали побольше выгодных делишек, словом, чтоб на этом заработали вояки и лавочники. И как только у нас откроются глаза, мы увидим, что между людьми существуют различия, но не те, какие принято считать различиями, а другие; тех же, что принято считать различиями, не существует.

— Слушай! — вдруг прерывают его.

Мы замолкаем и слушаем вдали грохот пушек. От гула сотрясаются слои воздуха, и эта далекая пальба слабо доносится до нас, а вокруг вода заливает и заливает землю и медленно достигает высот.

— Опять начинается!..

Один из нас говорит:

— Эх, с чем только не придется бороться! Все будет против нас!

В трагической беседе этих затерянных людей, которая разворачивается здесь, словно шедевр великого драматурга — судьбы, чувствуется беспокойство, колебание. Они предвидят не только страдания, опасности, бедствия, но еще враждебность явлений и людей правде, нагромождение преимуществ, невежество, глухоту, злую волю, предвзятую мысль и черствость хорошо устроившихся людей, и грозные общественные положения, и неприступные твердыни, и непроходимые преграды.

И в ходе смутных мыслей возникает видение: вечные противники выходят из мрака прошлого и вступают в грозовой мрак настоящего.

* * *

Вот они!.. Кажется, будто в небе, на гребнях туч, облекших мир в траур, показалась кавалькада ослепительных воинов. Они мчатся на великолепных боевых конях, мечут молнии, сверкают оружием, доспехами, галунами, султанами, коронами... Эта воинственная, старомодная кавалькада прорезает облака, повисшие в небе, как грозные театральные декорации.

А внизу солдаты, покрытые пластами грязи с земного дна и с опустошенных полей, лихорадочно следят, как эти призраки появляются со всех концов горизонта, и оттесняют беспредельное небо, и заслоняют синюю даль.

Имя им — легион. Там не только сословие воинов, которые призывают к войне и обожествляют ее, не только те, кого всемирное рабство облекло волшебной властью, не только потомственные властители, которые высятся над простертым у их ног человечеством и по собственной прихоти направляют ход истории, предвкушая крупный барыш; там их целая толпа; сознательно

или бессознательно состоящая на службе у обладателей этих отвратительных привилегий.

— Там,— восклицает один из мрачных собеседников, вытягивая руку, словно видя это воочию,— там те, кто говорит: «Как они прекрасны!»

— И те, кто говорит: «Народы друг друга ненавидят!»

— И те, кто говорит: «От войны я жирею, мое брюхо растет!»

— И те, кто говорит: «Война всегда была, значит, она всегда будет!»

— И те, кто говорит: «Дети рождаются в красных французских или синих немецких штанах!»

— И те, кто говорит: «Опустите голову и верьте в бога!»

* * *

Да, вы правы, бедные бесчисленные труженики битв, вы проделали всю эту войну, вы — всемогущая сила, которая пока еще не служит добру, вы — земная толпа, где каждый ваш лик — целый мир скорби, вы мечтаете под небом, где разрываются и развеваются большие черные тучи, взлохмаченные, как злые ангелы, вы грезите, согнувшись под ярмом какой-то мысли! Да, вы правы! Все это против вас. Против вас и вашего великого общего блага, а оно вполне совпадает со священной логикой. Против вас не только вояки, размахивающие саблей, дельцы и торгаши.

Против вас не только чудовищные хищники, финансисты, крупные и мелкие дельцы, которые заперлись в своих банках и домах, живут войной и мирно благоденствуют в годы войны, упершись лбом в тупую доктрину, замкнув свою душу, как свой несгораемый шкаф.

Против вас и те, кто восхищается сверкающими взмахами сабель, кто любуется, как женщины, ярким мундиром. Те, кто упивается военной музыкой или песенками, которыми угощают народ, как стаканчиками вина; все ослепленные, слабоумные, фетишисты, дикари.

Против вас и те, кто погружается в прошлое и говорит только словами былых времен, традиционалисты, для которых злоупотребление приобретает силу закона только потому, что оно освящено обычаем; те, кто хо-

чет жить по воле мертвецов и старается подчинить власти привидений и нянькиных сказок живое, страстное движение вперед.

С ними все священники, которые стараются возбудить или усыпить вас морфием своего рая, лишь бы ничто не изменилось.

Они извращают великое нравственное начало: сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав ее национальной! Они искажают даже истину. Вечную истину они подменяют каждый своей национальной истиной. Сколько народов — столько истин, которые исключают одна другую и выворачивают наизнанку настоящую истину.

Все эти люди — ваши враги!

Они вам враги больше, чем немецкие солдаты, что лежат среди нас: ведь это только несчастные, гнусно одураченные бедные люди...

Они вам враги, где б они ни родились, как бы их ни звали, на каком бы языке они ни лгали. Ищите их на небе и на земле! Ищите их всюду! Узнайте их хорошенько и запомните раз навсегда!

* * *

Человек стоит на коленях; он согнулся, уперся обеими руками в землю, отряхивается, как дог, и ворчит:

— Они тебе скажут: «Друг мой, ты был замечательным героем!» А я не желаю, чтоб мне это говорили! Герои? Какие-то необыкновенные люди? Идолы? Брехня! Мы были палачами. Мы честно выполняли обязанности палачей. И, если понадобится, еще будем усердствовать, чтобы настоящие враги жили припеваючи. Убийство всегда гнусно, иногда оно необходимо, но всегда гнусно. Да, мы были суровыми, неутомимыми палачами! И пусть меня не называют героем за то, что я убивал немцев!

— И меня тоже! — кричит другой так громко, что никто не мог бы ему возразить, даже если бы осмелился.— И меня тоже пусть не называют героем за то, что я спасал жизнь французам! Как? Неужели надо обожествлять пожар, потому что красиво спасать погибающих?

— Преступно показывать красивые стороны войны, даже если они существуют! — шепчет какой-то мрачный солдат.

— Эти сволочи назовут тебя героем,— продолжает первый,— чтобы вознаградить тебя славой за подвиги, а самих себя — за все, чего они не сделали. Но военная слава даже не существует для нас, простых солдат. Она только для немногих избранников, а для остальных она — ложь, как все, что кажется прекрасным в войне... В действительности самопожертвование солдат — только безымённое истребление. Солдаты — толпа, волны, которые идут на приступ: для них награды нет. Они низвергаются в страшное небытие славы. Даже не придется когда-нибудь собрать их имена, их жалкие, ничтожные имена.

— Плевать нам на это! — отвечает другой.— У нас есть другие заботы.

— А посмеешь ли ты хотя бы высказать им это? — хрипло кричит солдат, все лицо которого скрыто под корой грязи.— Если ты это скажешь, тебя проклянут и сожгут на костре! Ведь для них военный мундир — новое божество, но оно — такое же злое, глупое и вредоносное, как и все боги.

Этот солдат приподнимается, падает на землю и опять привстает. Под мерзкой корой у него сочится рана; он пятнает землю кровью; он расширенными глазами всматривается в кровь, которую пожертвовал на исцеление мира.

* * *

Остальные один за другим встают. Туча темнеет и надвигается на обезображенные, измученные поля. День полон ночи. И кажется, там, на гребнях туч, вокруг призрачных варварских крестов и орлов, церквей, бирж и дворцов, и храмов войны, беспрестанно появляются все новые и новые враги; их все больше; они заслоняют звезды, которых меньше, чем людей. И даже кажется, что эти выходцы с того света копошатся во всех выбоинах, среди живых существ, которые брошены сюда и почти зарыты в землю, как зерна.

Мои еще живые спутники наконец встают; они еле держатся на ногах; они закованы в грязную одежду,

втиснуты в страшные гробы из грязи; во всей своей страшной простоте они подымаются с земли, глубокой, как невежество, они движутся и кричат, напрягая взоры, поднимая кулаки к небу, откуда исходит свет и непогода. Они отбиваются от победоносных призраков: ведь они все еще Сирано де Бержераки и Дон Кихоты.

Земля грустно поблескивает; тени шевелятся и отражаются в бледной стоячей воде, затопившей окопы, среди полярной пустыни, где дымятся дали.

Но глаза этих людей открылись. Солдаты начинают постигать бесконечную простоту бытия.

И пока мы собираемся догнать других, чтобы снова воевать, черное грозовое небо тихонько приоткрывается. Между двух темных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все-таки является вестью, что солнце существует.

Декабрь 1915 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первые упоминания о набросках будущего «Огня» встречаются в письме Анри Барбюса с фронта к жене от 13 июля 1915 года. В декабре 1915 года, находясь в госпитале, Барбюс начал писать роман. «Огонь» («Le feu») печатался с 3 августа по 9 ноября 1916 года в издававшейся Гюставом Тери газете «Эвр» («Oeuvre»). Публикация эта сопровождалась рядом купюр, вызванных вмешательством цензуры. На остававшихся благодаря ножницам «Анастасии» (так тогда называли во Франции цензуру) широких белых полосах Гюстав Тери печатал изображение огромной бороды главного цензора Готье.

Но не только цензура искажала текст «Огня». В письмах Барбюса содержится немало резких слов по адресу самого Тери, смягчавшего и сглаживавшего книгу.

Пятнадцатого декабря 1916 года «Огонь» вышел отдельной книгой в издательстве «Фламмарион». В том же году роману была присуждена Гонкуровская премия за 1914 год. К июлю 1918 года во Франции было выпущено двести тысяч экземпляров романа.

В России среди первых откликов на «Огонь» можно указать статью А. Левинсона «Из литературной жизни Франции. «Огонь» А. Барбюса», напечатанную в горьковском журнале «Летопись» (1917, № 5—6, стр. 256—264), и переводы отрывков из романа: «На перевязочном пункте» (перевод З. Венгеровой, газета «Дело народа», 24 сентября 1917 г.) и «Ворота» (перевод Л. Вилькиной двенадцатой главы романа, журнал «Нива», 1918, № 13, стр. 199—202).

В 1919 году в журнале «Коммунистический Интернационал» № 3, появилась статья М. Горького «Замечательная книга», послужившая предисловием к первому русскому переводу «Огня», вышедшему в том же году: «В огне (Дневник одного взвода)». Роман. Перевод Г. Арденина. С предисловием М. Горького. Пгр. 1919; эта статья публикуется в настоящем издании романа.

В 1919 году вышло шесть советских изданий «Огня». За годы с 1927 по 1955-й появилось еще одиннадцать изданий.

Стр. 25. *Марван* — горная область в центре Франции.

Стр. 26. *Брат марист*—монах, член религиозной организации «Общество девы Марии»; монахи этого католического ордена нередко работали в годы войны санитарами на фронте.

Стр 83. *Закон Дальбьеза* — закон, названный по имени депутата-радикала Виктора-Антуана Дальбьеза (1876—1954); принят 17 августа 1915 года; согласно этому закону, пополнение армии ограничивалось набором 1916 года, тогда как военное министерство предполагало призвать наборы 1916—1917 годов.

Стр. 118. *Мильеран* Александр-Этьен (1859—1943) — французский политический деятель. В 1920—1924 годах был президентом Франции. В 1914—1915 годах — военный министр.

Стр. 194. *Римальо* — стопятидесятипятимиллиметровая пушка, названная по имени изобретателя, французского артиллериста Римальо.

Стр. 254. *«Двор чудес»* — квартал нищих и воров, калек и бродяг в средневековом Париже.

А. Наркевич

СОДЕРЖАНИЕ

Анри БАРБЮС

ОГОНЬ

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
С. И. Суровцева

Подписано к печати с готовых матриц 02.01.84.
Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 15,50.
Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—100000). Цена 1 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865. ГСП. Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
Татарского обкома КПСС.
420066, Казань-66, ул. Декабристов, 2.
Заказ № К-7.

1 р. 40 к.


АНРИ БАРБЮС
ОГОНЬ